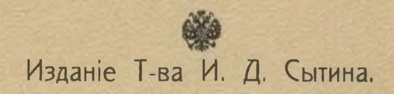
В. М. Дорошевичъ.

Собраніе сочиненій.

Т. II.

Безвременье.



Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

В. М. ДОРОШЕВИЧЪ.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

Томъ II.

БЕЗВРЕМЕНЬЕ.

Изданіе
Т-ва И. Д. Сытина.



Типогр. Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свои домъ.

МОСКВА.—1905.

Сонъ бессарабскаго помѣщика.

„И снится чудный сонъ Татьянѣ“...
Евгеній Онѣгинъ.

Снится бессарабскому помѣщику сонъ. Снится ему, будто его имѣніе на завтра назначено съ торговъ за неплатежъ процентовъ въ банкъ,—а онъ, помѣщикъ, сидитъ на террасѣ и читаетъ въ газетахъ передовую статью „О процвѣтаніи помѣщичьяго землевладѣнія въ Россіи“, гдѣ говорится, что очень ужъ много льготъ и выгодъ предоставлено гг. помѣщикамъ. Тутъ же сидятъ жена, дѣти, гувернантка, двѣ бонны.

Жена разсчитываетъ:

— Завтра имѣнье съ молотка пойдетъ,—гувернантку и боннъ, конечно, отпустить придется. Сама въ гувернантки или, въ крайнемъ случаѣ, хоть въ бонны пойду. То же, слава Богу, кое-чему въ институтѣ училась! А дѣтей можно добрымъ людямъ раздать. Дѣвочекъ мои же портнихи возьмутъ: онѣ шустренькія, а Коленьку по столярной части можно пустить,—у него къ этому пристрастіе. Вотъ, слава Богу, всѣ и устроились!

И среди такихъ-то обстоятельствъ вдругъ слышитъ помѣщикъ: по дорогѣ колокольчикъ звенитъ, бубенцы заливаются.

— Кто бы это могъ быть?

И только что хотѣлъ помѣщикъ распорядиться, чтобы въ погребъ шли и на всякій случай винца нацѣдили,—

какъ къ террасѣ подкатилъ щегольской дормезъ на четверкѣ, кучеръ на козлахъ бокомъ сидитъ, лихо такъ,— а изъ дормеза на террасу вышла свинья.

Самая обыкновенная свинья.

Хотя и идетъ на однѣхъ заднихъ ногахъ.

Жирная такая.

Ветчина у нея на ходу такъ и поворачивается, такъ и поворачивается,— слюнки текутъ даже, вотъ какая ветчина!

Вошла, поклонилась на манеръ Чичикова,— головv немножко на бокъ, но, впрочемъ, не безъ пріятности

Хозяйкѣ къ ручкѣ подошла, дѣтишекъ мимоходомъ по головѣ копытцемъ потрепала.

Изумленному хозяину ножкой шаркнула и вдругъ человѣчьимъ голосомъ спрашиваетъ:

— Имѣю честь видѣть владѣльца селенія Прогорѣшты?

Хозяинъ все больше и больше диву дается, забылъ даже, кто передъ нимъ, самъ поклонился и отвѣтъ держитъ:

— Къ вашимъ услугамъ. Кого имѣю честь?

— Я — свинья!

И такъ это сказала безъ всякой конфузливости, а, напротивъ, съ большимъ достоинствомъ.

Помѣщика даже въ потъ бросило:

„Фу, ты, чѣмъ только нынче люди не гордятся! Ну, времена! Этого, однако, я даже въ Одессѣ не видывалъ“.

— Что же вамъ собственно?

— А вотъ,— говоритъ,— сейчасъ все узнаете. Имѣнье ваше, скажите пожалуйста, въ банкѣ заложено?

— Да вы что же, собственно? Разспросы ваши къ чему же? Вы, можетъ-быть, назначены,— или такъ, по статистикѣ только прохаживаетесь.

— И не назначена,— говоритъ,— и по статистикѣ не балуюсь. Потому что статистика, это — даже съ моей, свиной, точки зрѣнія — есть свинство! Ѣздить по прого-

рѣвшимъ помѣщикамъ и разспрашивать: „а здорово вы прогорѣли?“

— Гмъ... Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ изволили пожаловать?

— Пожаловала я по своей доброй волѣ. А зачѣмъ— объ этомъ будетъ рѣчь впослѣдствiи. Теперь же, будьте добры, на вопросы отвѣчать: ваше имѣнье въ банкѣ заложено?

— И по двѣнадцати закладнымъ еще!

— Это отлично!

„Вотъ и поступки,—думаетъ помѣщикъ,— себѣ прiобрѣла губернскiе, а все-таки сразу видно, что свинья: у человѣка имѣнiе заложено, перезаложено, а она радуется!“

— Да,— говоритъ,— это очень хорошо, что только по двѣнадцати. Съ банковской оно, положимъ, тринадцать закладныхъ составляетъ. Число не хорошее! Но бываютъ числа и похуже. Вонъ я тутъ, у вашего сосѣда, была,— такъ у него, не считая банковской, по семнадцати закладнымъ имѣнiе забухано. И всѣ семнадцать онъ все „вторыми закладными зоветъ“. У меня, говоритъ,— что жъ? Банку долженъ, да по вторымъ закладнымъ. Комики вы, господа! Ну, да это въ сторону. Когда же ваше имѣнье продавать будутъ?

— Не дальше, какъ завтра.

— И это превосходно. У вашего сосѣда вонъ вчера имѣнье продали. А тутъ время, значитъ, еще есть.

— Что же я, по-вашему, до завтрашняго дня сдѣлать успѣю? Если мамалыги хорошенько поѣсть,—такъ хорошiй бессарабскiй помѣщикъ за такое время даже выспаться-то, какъ слѣдуетъ, не успѣетъ. А вы говорите: „время есть“!

— Спасти можно.

— Да кто жъ бы это меня спасать пришелъ? Хотѣлъ бы я этого дурака видѣть!

— Я!

И копытомъ себя въ грудь стукнула.

— Я — свинья!

„Экъ,— думаетъ помѣщикъ,— ей это званіе какъ понравилось!“

Однако, спохватился и даже въ движеніяхъ суету обнаружилъ:

— Да вы, можетъ-быть, винца красненькаго или бѣленькаго съ дороги не пожелаете ли? Порастрясло васъ,— закусить, можетъ, чего? Я сейчасъ мамалыги велю сварить, брынзы дадутъ. Слава Богу, пока до завтра еще все это есть.

— Благодарствую,— говоритъ,— вина я не пью, потому что состою въ одесскомъ обществѣ трезвости, а мамалыги съ брынзой потомъ не откажусь, съѣмъ. А пока присядемъ, о дѣлѣ поговоримъ!

„Чортъ ее знаетъ,— думаетъ помѣщикъ,— въ первый разъ со свиньей о дѣлѣ говорить приходится“.

Присѣли.

— Вы, можетъ-быть, не денегъ ли мнѣ предложить взаймы желаете? — вкрадчиво и издалека началъ помѣщикъ.— Такъ тринадцатую закладную можно хоть сейчасъ... на вашихъ же лошадяхъ и въ городъ... тутъ недалеко!

— Нѣтъ,—говоритъ,—не денегъ! Деньги что? Вздоръ— деньги!

И даже вздохнула, словно правильной жизни человѣкъ, поучающій другихъ безкорыстію.

— Деньги — тлѣнъ.

— Ну, нѣтъ! Этого не говорите. Деньги, это, сколько мнѣ помнится, штука не дурная. Оно, конечно, если съ философической точки зрѣнія — деньги, дѣйствительно, не что иное, какъ тлѣнъ, но тлѣнъ пріятный!

— Деньги — вздоръ! Я вамъ кое-что получше дамъ, чѣмъ деньги.

— Что жъ это такое, что получше денегъ?

— Поросятъ вамъ дамъ. Вотъ что, батенька!

Тутъ помѣщикъ даже со стула вскочилъ, какъ ужаленный.

— Да на кой же чортъ, позвольте васъ спросить, мнѣ ваши просята дались? Съ кашей я ихъ, что ли, ѣстьбуду?

Даже побагровѣлъ весь: такая насмѣшка! А свинья хоть бы что!

— На что вамъ,— говоритъ,— поросята, это я вамъ потомъ объясню. А теперь будьте добры отведите меня въ такое мѣсто, гдѣ бы я опороситься могла. Потому мнѣ время пришло. Я это въ одну минуту,— а потомъ опять за прерванный разговоръ примемся.

Помѣщикъ повелъ свинью на свою постель. Дѣйствительно, какъ говорила свинья, такъ и случилось: не успѣла свинья лечь, какъ двѣнадцать поросятъ появилось. Да какихъ поросятъ, одинъ къ одному, розовыхъ, румяныхъ, „пятачки“, словно только что съ монетнаго двора вышли,— такъ и горятъ! Ну, прямо, каши поросята просятъ! Взглянешь, такъ и хочется крикнуть:

— Человѣкъ, сметаны и хрѣну!

— Не надо ли вамъ чего?— помѣщикъ заботливо спрашиваетъ.

За свиньей ужъ ухаживаетъ: этакое на домъ благополучіе видимо снизошло. Двѣнадцать! По числу закладныхъ какъ разъ. А сама — тринадцатая, какъ долгъ банку. Да жирная такая, здоровая,— совсѣмъ капитальный долгъ.

— Нѣтъ,— говоритъ,— ничего. Умыться только дайте. Мы, свиньи, чистоту любимъ.

„Не слыхалъ,— думаетъ помѣщикъ,— про такую вашу добродѣтель!“

Однако, изъ жениной уборной все, что полагается, далъ.

— Ну-съ,— свинья говоритъ,— теперь мы мамалыги поѣдимъ. Я, признаться, послѣ трудовъ проголодалась. А потомъ имѣнье осматривать поѣдемъ. А дѣтишки мои

пусть пока съ вашими ребятишками поиграютъ, куда ихъ брать?

Закусили. Велѣлъ помѣщикъ свою коляску новую четверней и съ бубенчиками заложить,— и поѣхали.

— Это что у васъ?—спрашиваетъ свинья.

— Кукуруза.

— Долой! Гарбузами засѣите, я гарбузы люблю. А это что такое?

— Пшеница:

— И пшеницу долой! Тоже подъ баштанъ пойдетъ!

Словомъ, все, что ни увидитъ,— все долой. Вездѣ однѣ тыквы велитъ сѣять.

Только одни виноградники позволила оставить.

— Это,— говоритъ,— пусть. И вамъ будетъ что пить и я, признаться, виноградныя выжимки страхъ какъ люблю! Ну, а теперь: камень у васъ есть?

— Чего другого, а камня у меня въ имѣньѣ сколько вамъ угодно. Хоть пирамиду строить.

— Ну и начинайте сегодня же сарай строить.

— Что жъ это, однако, будетъ? Для чего въ концѣ-концовъ сараи, когда и класть-то въ нихъ нечего?

— Что будетъ?

Свинья посмотрѣла на помѣщика сбоку, выдержала для важности здоровую паузу и медленно отчеканила:

— Свиной заводъ!

Тутъ помѣщикъ такъ себя со всего размаха во снѣ по лбу хлопнулъ, что даже на другой бокъ перевернулся.

„Какъ же это я раньше, простота я этакая, не додумался. Свинья — вотъ гдѣ спасеніе! Да и дѣло-то, главное, знакомое! Сколько со свиньями возиться приходилось. Поссессоры — свиньи, кредиторы — свиньи, да развѣ мало еще свиней и кромѣ арендаторовъ съ кредиторами. Ахъ, я простота, простота!“

И снится помѣщику чудный сонъ. Нѣтъ у него ни кукурузныхъ полей ни пшеничныхъ,— все одни баштаны,

баштаны да сараи, сараи да баштаны. И хрюканье идетъ отъ его имѣнья такое,—въ Кишиневѣ слышно.

На всю Бессарабію его свиньи хрюкаютъ. Да что на Бессарабію,—на весь міръ.

Въ англійской какой-то иллюстраціи даже два портрета напечатано: его, помѣщика, и его свиньи. Такъ рядышкомъ и напечатаны, какъ это всегда бываетъ: авторъ и произведеніе.

Какія свиньи!

По восемнадцати пудовъ свинья!

А все ѣдятъ.

А положенный срокъ пройдетъ,—глядь двѣнадцать поросятъ на свѣтъ появилось.

И какіе старательные поросята! Еще и подрасти не успѣютъ, а ужъ и отъ нихъ поросята идутъ.

Веселыя свиньи! Жить любятъ.

Веселы свиньи, но веселѣе всѣхъ помѣщикъ. Ходитъ себѣ да пятачки считаетъ,—а пятачки-то на солнцѣ, какъ жаръ, горятъ. Прямо монетный дворъ какой-то. Безъ-устали все новые да новые пятачки чеканятся.

Эпидемія какая-то.

Пришлось даже мѣры противъ нея принимать.

Но свиньи даже и противъ принимаемыхъ мѣръ ничего не имѣютъ: такого хорошаго поведенія свиньи.

И снится помѣщику, что свиньи за хорошее поведеніе даже награды удостоились: за добропорядочность позволено имъ за границу ѣздить,—для дальнѣйшаго образованія — въ колбасы.

Снится ему, будто въ Бессарабіи расплодилось свиней столько, что даже телеграммы въ Румынію и въ Австрію полетѣли:

„Свиньями земля наша богата и обильна, а дѣвать ихъ некуда. Отворите границу и кушайте нашу ветчину на доброе здоровье“.

И будто бы открыли границу.

Черезъ Унгени, черезъ Волочискъ, идутъ, ѣдутъ, все свиньи, свиньи, свиньи... Пассажирамъ даже мѣстъ нѣтъ. Свиньи въ третьемъ классѣ, во второмъ, даже въ первомъ.

И всѣ за границу.

Австрійскіе таможенные еле допрашивать успѣваютъ.

— Табаку и водки нѣтъ? Водки и табаку не имѣется?

А помѣщикъ смотритъ на мелькающіе мимо поѣзда и изъ „Ревизора" цитату, глядя на окна вагоновъ, съ удовольствіемъ вспоминаетъ:

— Ничего не вижу! Какія-то свиныя рыла вмѣсто лицъ.

И снится ему, что всѣ заграницы калбасой прямо объѣдаются.

А цѣны-то все растутъ и растутъ, и нѣтъ этому ни конца ни предѣла! Да что! На пшеницу и на ту даже цѣны поднялись, потому что бѣлый хлѣбъ на бутерброты началъ очень требоваться.

Нѣмцы—изобрѣтательный народъ! Надоѣло имъ просто колбасу ѣсть, такъ они даже затѣи начали выдумывать!

Liebenwurst — выдумали!

Термометръ любви, изволите ли видѣть!

Сосиски для любящихъ сердецъ.

Мужъ начинаетъ ѣсть сосиску съ одного конца, а жена одновременно — съ другого.

Доѣдятъ, пока губы не встрѣтятся,—и поцѣлуются.

Для новобрачныхъ, конечно, мелкія сосиски. Имъ вновѣ-то это интересно. Для тѣхъ, кто годъ пожилъ,— такъ съ полфунта. Послѣ двухъ лѣтъ — фунтовая, а тамъ больше, больше, длиннѣе, длиннѣе, чтобы разъ въ годъ поцѣловаться, не больше.

И многимъ эта игра такъ понравилась, что свиньи еще больше въ цѣну вошли.

Сидитъ себѣ помѣщикъ и надъ нѣмецкими выдумками похохатываетъ:

— Дѣлать-то имъ нечего!

Вдругъ — телеграмма.

Отъ экономки самого Бисмарка.

„Вышлите срочно наложеннымъ двѣ свиньи самыхъ крупныхъ, юбилею нужны сосиски, Бисмаркъ желаетъ непремѣнно вашихъ свиней“.

Тутъ ужъ помѣщикъ окончательно не выдержалъ, барыши сосчиталъ и прямо въ Одессу.

Остановился въ „Сѣверной“, весь бельэтажъ занялъ, въ англійскій клубъ пошелъ, 10 тысячъ одесситамъ проигралъ:

— На-те! Долго ждали!

Въ ресторанъ явился, съ итальянкой познакомился, да не съ какой-нибудь, а съ такой, что съ голосомъ, и пѣть, дѣйствительно, можетъ, да какъ крикнетъ по этому случаю:

— Шампанскаго!!!

Да такъ крикнулъ помѣщикъ спросонья „шампанскаго“, что даже жена, спавшая рядомъ, вскочила:

— Что это ты, душечка, такое выдумалъ? Имѣнье черезъ недѣлю съ молотка продаютъ, а ты вдругъ „шампанскаго“, да еще ночью!

А помѣщикъ лежалъ съ выпученными глазами, молча, смотрѣлъ куда-то и думалъ, что ему дѣлать: кукурузу продолжать сѣять, или и впрямь лучше на все плюнуть и свиной заводъ завести?



Купэ для плачущихъ.

— Сударыня, потрудитесь перестать плакать!

— Сударыня, я вамъ говорю, — перестаньте плакать,

— Кондукторъ! Кондукторъ!.. Гдѣ жъ кондукторъ! чортъ побери? Предложите этой дамѣ сейчасъ же перестать плакать!

— Позвольте! Да эта дама кто же? Ваша супруга?

— Если бы она была хоть моей супругой. А то въ томъ-то и дѣло, что совершенно незнакомая мнѣ женщина.

— Да какое же право вы имѣете?

— А какое же право она имѣетъ плакать? Пусть идетъ въ купэ для плачущихъ и плачетъ тамъ, сколько угодно!

— Да такого и купэ нѣтъ.

— И очень жаль, что нѣтъ. Во-первыхъ, ни въ одной странѣ столько не плачутъ, сколько у насъ. А во-вторыхъ...

— Да если дама чувствуетъ горе?

— Пусть сдерживается. Вѣдь вотъ же мнѣ смертельно хочется курить, а я сдерживаюсь, — потому что здѣсь купэ для некурящихъ. И не безпокою сосѣдей!

— Да это произволъ, деспотизмъ!

— А это не деспотизмъ—заставлять сосѣдей выслушивать хныканье и смотрѣть на покраснѣвшій носъ. Довольно-съ! Я не для этого ѣду по желѣзной дорогѣ. Мнѣ этотъ красный носъ и дома надоѣлъ-съ!

— Господа! Это же возмутительно! Онъ обижаетъ даму.

— А если мужчину обижаютъ, это ничего-съ? Я не такой же человѣкъ?

— Господа, это возмутительно!

— Возмутительно! Возмутительно!

Дама заплакала сильнѣе.

— Перестаньте плакать, сударыня!!!

— Нѣтъ, плачьте! Плачьте, сударыня... Сударыня, плачьте!

— Ахъ, вотъ какъ! Отлично! Въ такомъ случаѣ я тоже начинаю плакать!

И затѣявшій весь этотъ споръ, огромный, толстый мужчина поднесъ платокъ къ глазамъ и заревѣлъ прямо благимъ матомъ на весь вагонъ;

— Бѣд—ный я, си—ро—та кру—гла—а—а—я! Въ ран—немъ дѣт—ствѣ е—ще ли—шил—ся от—ца, ма—а—а—а—а—те—ри!

— Послушайте, перестаньте дурачиться!

— Это, наконецъ, Богъ знаетъ что!

— Позвольте! Позвольте! Она имѣетъ право плакать, потому что разсталась съ мужемъ, а я не имѣю права плакать о родномъ отцѣ и матери?

— Да вѣдь вы сами кричите, что это давно было!

— Мало ли что давно, а мнѣ сейчасъ вспомнилось. Наконецъ, у меня раньше свободнаго времени не было. У меня, я думаю, другія дѣла есть. А теперь мнѣ дѣлать нечего, я и плачу. Бѣ—ѣ—ѣдна—а—а—ая мо—я го—ло—ву—у—ушка!

— Да перестаньте! Это дѣйствуетъ на нервы!

— А мнѣ не дѣйствуетъ на нервы ея ревъ? Я такой же пассажиръ, какъ и она! Какое она имѣетъ право плакать? Я буду плакать объ отцѣ съ матушкой. Вы кто? Адвокатъ? Вы начнете плакать, что дѣлъ мало. Вы докторъ? О томъ, что больные домашними средствами поль-

зуются. Вы еще о чемъ-нибудь. Вѣдь это будетъ не вагонъ, а Бедламъ! Отдѣленіе сумасшедшаго дома какое-то! Э-э, да что я съ вами время попусту теряю! Она плачетъ, и я буду ревѣть!

Но „ревѣть“ не пришлось.

Поѣздъ подошелъ къ полустанку.

Плачущая дама, какъ бомба, вылетѣла изъ вагона, и на платформѣ зазвенѣлъ ея пронзительный истерическій голосокъ:

— Кондукторъ! Кондукторъ!

Вслѣдъ затѣмъ появился кондукторъ, собралъ и унесъ всѣ барынины вещи.

— Вотъ такъ-то лучше! — довольнымъ тономъ произнесъ огромный пассажиръ, съ удовольствіемъ потягиваясь.

— Но согласитесь, что вы были съ дамой слишкомъ суровы и даже жестоки!

— Ничего подобнаго. Просто небрежность желѣзнодорожнаго начальства. Разъ у пассажировъ, а особенно у пассажирокъ, есть такая привычка — плакать, должны устраивать особыя купэ: „для плачущихъ“ и „для неплачущихъ“. Есть же купэ для курящихъ и для некурящихъ. Эта съ мужемъ на цѣлый мѣсяцъ разсталась, тотъ за женой въ погоню гонится, у третьяго — бабушка недавно померла, — ну, ну, и пусть себѣ ревутъ хоромъ. А неплачущихъ сосѣдей безпокоить зачѣмъ же? У меня вотъ, можетъ-быть, и поважнѣе причина есть плакать, — а вѣдь не плачу же.

— Это объ отцѣ и объ матери, которые умерли, когда вы были еще маленькимъ?

— Нѣтъ, не объ отцѣ, объ матери. А причина поважнѣе!

— Потеряли вы кого-нибудь?

— И не терялъ и не находилъ никого!

— Какая же тогда можетъ быть у взрослаго человѣка причина плакать?

— А вотъ хотя бы о томъ, что я дуракъ? Не причина?

— Какъ вы сказали?..

— Да вы, можетъ-быть, меня еще разубѣждать въ этомъ вздумаете. Такъ я, милостивый государь, самъ про себя долженъ лучше знать, дуракъ я или нѣтъ!

— Но, позвольте, однако, что же заставляетъ васъ прійти къ такому... къ такому безрадостному для васъ заключенію?

— Многое. Во-первыхъ, хотя бы ужъ то, что я не знаю даже, гдѣ находится Россія. Ну, вотъ! Вы умный человѣкъ, — а скажите мнѣ, гдѣ находится Россія?

— Это даже странно... Россія, какъ это всякому, я думаю, извѣстно, расположена...

— А вотъ ничего и не знаете, а туда же „расположена". Расположена она позволять иностранцамъ въ ней хозяйничать и больше ничего! „Расположена"! „Расположена"! Я вотъ побольше васъ ѣздилъ, да и то не знаю, гдѣ и къ чему она „расположена"! Я, сударь вы мой, по глупости моей, гдѣ-гдѣ только не былъ. Въ Сибири былъ, — по своей волѣ, спѣшу сдѣлать необходимую оговорку, — а то нынче на желѣзныхъ дорогахъ жулья много развелось.

Вы улыбнулись.

— Нечего улыбаться! Правда. Въ Царствѣ Польскомъ былъ, на Кавказѣ, въ Туркестанскомъ краѣ, въ Финляндіи, Малороссію всю объѣздилъ, въ Бессарабіи я и родился, въ землѣ войска Донского побывалъ. И вездѣ, куда ни заѣдешь, только и слышишь: Онъ въ Россію поѣхалъ", „онъ изъ Россіи пріѣхалъ". Да что! Казань — на что городъ, на Волгѣ стоитъ, и то спрашиваютъ: „вы не изъ Россіи пріѣхали?" Фу ты, думаю, да гдѣ же эта самая Россія, наконецъ, находится? Надо же узнать. И махнулъ сдуру...

— Въ Москву?

— Угадали. Въ нее въ самую! Здѣсь, думаю, она и собиралась, Россія-то, вокругъ... Иванъ Калита, — ну, и все прочее. Пріѣзжаю, вижу въ газетахъ про англійскія каверзы читаютъ и вслухъ думаютъ: „Нужно,—говорятъ,— изъ Петербурга телеграммъ подождать: что-то Россія по этому поводу скажетъ!“ Эге, — думаю себѣ, вонъ она гдѣ теперь, значитъ! Отправился. Поразспросилъ у того, у другого изъ свѣдущихъ людей, — говорятъ: „Дѣйствительно, тамъ“. Тамъ и департаменты такіе выстроены, чтобъ объ ней заботиться. Махнулъ въ Питеръ. Пріѣзжаю въ одинъ департаментъ. „Здѣсь Россія?“ — „Никакъ нѣтъ — говорятъ, — здѣсь департаментъ неокладныхъ сборовъ“. Я въ другой: „Здѣсь Россія?“ Опять: „Никакъ нѣтъ, здѣсь департаментъ окладныхъ сборовъ. И никакой Россіи тутъ нѣтъ“. Куда жъ это, — думаю себѣ, — она запропастилась? Да спасибо, столоначальникъ одинъ объяснилъ. „Россія? — говоритъ. — А, знаю, знаю! Это просительница такая. То купцы отъ нея пріѣдутъ, то помѣщики, — и всѣ всегда о чемъ-нибудь просятъ. Надоѣли даже“. Тутъ-то, милостивые государи, я и понялъ, что Россія при пересылкѣ изъ Москвы въ Питеръ затерялась гдѣ-нибудь по дорогѣ. Ну, скажите, — не дуракъ я послѣ этого? Если я даже, гдѣ мое собственное отечество находится не знаю! Не дуракъ?

— Гмъ... А еще какія же вы основанія имѣете къ такому заключенію?

— Къ тому, что я дуракъ-то? Цѣлыхъ два основанія. Во-первыхъ, я не знаю, что такое рубль. Ну, вотъ, вы умный человѣкъ, а скажите-ка мнѣ, что такое рубль? Анъ, опять не знаете?

— Рубль!.. Рубль!.. Ну, натурально, что рубль...

— „Рубль — рубль“. Нешто это отвѣтъ? Я за отвѣтомъ-то, можетъ, весь свѣтъ объѣздилъ, кругосвѣтное плаваніе сдѣлалъ, — а вы: „Рубль — рубль“. Спрашиваю у одного: „Что такое рубль?“—„Рубль, — говоритъ, — это

сто копеекъ". Ясно! „Ну, а что такое копейка?" —„Сотая часть рубля". Ничего не понятно. Обращаюсь къ другому: „Что такое рубль?"—„Рубль, это,— говоритъ,— 133 копейки".—„Какъ сто тридцать три?" Батюшки, думаю, въ одну минуту разбогатѣлъ! То сто копеекъ въ карманѣ было, то, вдругъ, сто тридцать три сдѣлалось! Вотъ хорошо-то! Прямо, ушамъ не вѣрю. „Откуда мнѣ сіе?" думаю. „Какъ,— говорю,— 133 копейки? Можетъ ли быть?" —„Натурально,— говоритъ,— 133 копейки на серебро по курсу. Вѣдь у насъ счетъ на серебро".— „Отлично, думаю, а провѣрить все-таки не мѣшаетъ". Отыскалъ еще одного знающаго человѣка. „Правда,— спрашиваю,— что рубль, это 133 копейки серебромъ?" Засмѣялся. „Кто жъ это,— говоритъ,— вамъ сказалъ? Рубль, это — 66 съ небольшимъ копеекъ". Батюшки,— думаю,— да что жъ это съ небесъ да въ подземелье. То разбогатѣлъ, то чуть не нищій. Духъ перехватило, голосу нѣтъ: „Какъ,— спрашиваю,— 66 копеекъ?" —„На золото,— говоритъ,— кто жъ нынче на серебро считаетъ? Что такое серебро? Теперь ложки,— и тѣ томпаковыя дѣлаются. Вонъ,— говоритъ,— одинъ нашъ знакомый недавно въ Парижъ ѣздилъ, полдюжины ложекъ оттуда привезъ, на всѣхъ надпись: „Грандъ-Отель", „Грандъ-Отель", Грандъ-Отель". Онъ-то думалъ, что онѣ серебряныя, потому и взялъ,— а онѣ томпаковыя. На серебро,— такого и счета нынче нѣтъ". Прямо голова кругомъ пошла. Опять въ Петербургъ махнулъ. Тамъ должны знать! Являюсь къ одному знакомому столоначальнику, спрашиваю: „Облегчите вы мою душу, объясните мнѣ, дураку, что такое рубль?" — „Рубль,— говоритъ,— есть часть жалованья, которое мы получаемъ каждое 20 число аккуратно, и на который я получаю опредѣленное количество съѣстныхъ и прочихъ необходимыхъ для поддержанія жизни продуктовъ,— впрочемъ, количество это не всегда одинаковое, ибо иногда на рубль даютъ продук-

товъ больше, иногда меньше“. Вижу, что онъ больше съ колбасной точки зрѣнія смотритъ. „Ну, — говорю, — а если на колбасную валюту перевести, сколько этотъ самый рубль составитъ?“ — „А это, — говоритъ, — сказать трудно, ибо это зависитъ отъ многихъ причинъ и, между прочимъ, отъ того, съ какимъ усердіемъ въ центральныхъ губерніяхъ свиньи будутъ производить себѣ подобныхъ. А также, какъ этимъ дѣломъ займутся австрійскія свиньи? Будетъ ли Австрія довольствоваться своимъ собственнымъ мясомъ или и нашей ветчины захочетъ. Нынѣ, — говоритъ, — колбаса лучшая стоитъ въ цѣнѣ — 40 копеекъ за фунтъ. И въ переводѣ на колбасную валюту, рубль есть не что иное, какъ два съ половиной фунта лучшей колбасы. А можетъ въ зависимости, какъ я уже вамъ объяснилъ, отъ свиней нашихъ и заграничныхъ курсъ на колбасу подняться и до 50 копеекъ, — и тогда рубль будетъ представлять собою два фунта колбасы, и то не лучшаго качества. А можетъ и такъ быть, что свиньи позаймутся своимъ дѣломъ, какъ слѣдуетъ, и рубль будетъ представлять собою три фунта колбасы съ третью“. Тфу ты! Тарабарщина какая-то. То два фунта съ половиной, то два только, то цѣлыхъ три съ третью! Махнулъ къ другому столоначальнику: за границу въ командировку собирается. „Рубль,—говоритъ,—что такое? Пока славная штука! 37 съ половиной стоитъ. А дальше не знаю, что будетъ. Теперь самое время за границу ѣхать. Чѣмъ глупыми вопросами заниматься, поѣзжайте-ка, батенька, за границу, да радуйтесь, что курсъ такъ стоитъ. Мѣры вѣдь принимали“. Что же вы думаете? Поѣхалъ и всю дорогу радовался: курсъ, молъ, поднимается. Даже шампанское за завтракомъ и обѣдомъ пилъ. Чего же мнѣ при этакомъ курсѣ стѣсняться? Мнѣ за границу-то и по моему дѣлу, насчетъ рубля, кстати нужно. Должны же вѣдь хоть за границей наши дѣла знать, — и мнѣ все толкомъ объяснить. Пріѣзжаю во Францію, — друзья! Я къ

одному французу: „Другъ, поясни, что такое рубль?“ Только французъ-то попался глупый: „Рубль, — говоритъ, — это четыре франка“. Да, къ счастью, тутъ же при разговорѣ умный французъ присутствовалъ, тотъ, спасибо ему, поправилъ: „И вовсе, — говоритъ, — не четыре франка, а два франка пятьдесятъ пять сантимовъ съ дробью!“ — „Ну, слава Тебѣ, Господи, — говорю, — если съ дробью! Курсъ, значитъ, высоко стоитъ“. Онъ на меня и глаза вытаращилъ: „Да вамъ-то, — спрашиваетъ, — чего жъ радоваться? Это намъ нужно радоваться, а не вамъ“. — „Да какъ же мнѣ въ Петербургѣ сказали? „Мало ли, — говоритъ, — что вамъ въ Петербургѣ кто скажетъ! Да вотъ я вамъ сейчасъ примѣромъ поясню: вы заняли у нашихъ банкировъ въ неурожайный годъ 10.000 рублей по курсу, допустимъ, два франка“. — „Ну?“ — „Значитъ, 20.000 франковъ“. — „Такъ!“ — „Ну, а уплатили, конечно, въ урожайный, когда курсъ поднялся, допустимъ, до 3 франковъ“. — „Ну-съ?“ — „Значитъ, вы уплатили 30.000 франковъ. Взяли 20, а заплатили 30, — итого десять тысячъ франковъ переплатили лишнихъ, не считая процентовъ. Чему жъ тутъ радоваться?“ Нѣтъ, вы посудите по совѣсти, если бъ я такимъ вотъ ревой, какъ эта барыня, былъ, долженъ былъ бы я тутъ же разревѣться, или нѣтъ? Узнавши, что я и радовался даромъ, и на повышенiи курса теряю, и шампанское напрасно пилъ. Долженъ былъ я плакать?

— Положимъ...

— Такъ и уѣхалъ ни съ чѣмъ. И до сихъ поръ не знаю, что такое рубль: 100 копеекъ, 133 или только 66 съ дробью, — не знаю даже, радоваться мнѣ, когда онъ повышается, или нѣтъ. Ничего не знаю. Ну, не дуракъ ли я послѣ этого? У меня вонъ въ карманѣ цѣлыхъ 10 рублей осталось, а я даже не знаю, что такое и одинъ-то рубль.

— А вы далеко ѣздить изволили?

— Въ Петербургѣ былъ.

— По дѣламъ или такъ, опять по вопросамъ?

— Какіе вы, однако, глупые вопросы задаете! Зачѣмъ можетъ бессарабскій помѣщикъ въ самую горячую рабочую пору въ Петербургъ ѣздить? Конечно, съ прожектомъ!

— Ну, и что жъ?

— Приняли. „Еще прожектъ?“ говорятъ, и номеръ поставили. Кажется, 2.475.893-й. „Поѣзжайте, — говорятъ, — съ Богомъ. Когда очередь дойдетъ, посмотримъ. Въ свое время обо всемъ черезъ мѣстнаго земскаго начальника извѣститесь, какъ и что!“ А прожектъ-то неотложный, насчетъ тарифовъ. Потому что ежели и въ этомъ году на хлѣбъ такой же тарифъ будетъ, то должно мое имѣніе съ молотка итти: на желѣзную дорогу только и работаемъ.

— Какъ же вы теперь?

— А вотъ въ этомъ-то и заключается третья причина, почему я заключаю, что я несомнѣнный дуракъ. Не знаю, что сѣять. Хлѣбъ при нынѣшнихъ условіяхъ невыгодно...

— Ну, а въ Петербургѣ какъ на этотъ счетъ говорятъ?

— Разное. Былъ я у одного опять столоначальника. „Удивляюсь я, — говоритъ, — вамъ, гг. помѣщики, что вамъ за охота хлѣбъ сѣять, если невыгодно. Сѣяли бы что-нибудь другое. Напримѣръ, резеду. Очень выгодное растеніе. Я вотъ въ горшкѣ немножко посѣялъ, — какъ разрослась, четыре раза разсаживать пришлось. А резеда, это — хорошо: во-первыхъ, ароматъ, а во-вторыхъ — выгода. Трава можетъ итти на кормъ скоту, а цвѣтъ у васъ парфюмерныя фабрики съ восторгомъ покупать будутъ. Опять же сѣмена пойдутъ. А это не хлѣбъ-съ. Вы знаете, — сѣмена-то, они почемъ? Пятачокъ золотникъ стоятъ. Вѣдь вонъ, — говоритъ, — Голландія, цѣлая страна

одними тюльпанами существуетъ. Вотъ бы и вы за разведеніе цвѣтовъ взялись. А то „хлѣбъ“, „хлѣбъ“. Предпріимчивости у васъ, господа, нѣтъ, — только клянчить умѣете“. Такъ отчиталъ, — ужасъ!

— Ну, а вы?

— Что я! У меня земли-то экъ ея сколько, въ два дня не объѣдешь. Столько и дамъ-то на свѣтѣ нѣтъ, чтобъ всѣхъ передушить, если я резеду сѣять начну. Прямо всемірный резедовый кризисъ въ одинъ годъ устрою. „Кризисъ-резеда!“ Этого еще только недоставало.

Поѣздъ, между тѣмъ, стоялъ.

Толстый помѣщикъ взглянулъ на проходившаго мимо начальника станціи и вдругъ вскочилъ, какъ угорѣлый:

— Батюшки, да это Петръ Ивановичъ! Чуть было по глупости своей станціи не пропустилъ.

И, еле выскочивъ съ чемоданомъ на платформу, онъ крикнулъ намъ въ окно, когда поѣздъ ужъ тронулся:

— А если кто изъ васъ, господа, узнаетъ, гдѣ въ настоящее время Россія, или что такое рубль, или что нужно сѣять, такъ будьте добры телеграфировать на мой счетъ на станцію Забытую, селеніе Прогорѣшты, Ивану Алексѣевичу...

Фамиліи мы уже не разслышали.

— Это у нихъ отъ кризиса! — замѣтилъ кто-то.

— Просто, брынзы много ѣдятъ! — небрежно отвѣтилъ господинъ съ петербургской физіономіей.



Поѣздка русскаго патріота на финляндскій водопадъ Иматру.

Его наблюденія надъ природой, нравами и самимъ собой, изложенныя въ видѣ дневника.

Означенный „патріотъ“, какъ видно изъ приложеннаго къ его произведенію curriculum vitae, состоитъ годовымъ подписчикомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, полугодовымъ —„Новаго Времени“ и недавно подписался въ разсрочку на „Гражданинъ“.

Іюля 15-го.

Рѣшилъ ѣхать въ Финляндію.

Перечиталъ нѣсколько корреспонденцій „Московскихъ Вѣдомостей“, купилъ кастетъ, два кинжала, пару револьверовъ, двѣ берданки, четыре нагайки, щитъ, два копья, шесть коробокъ съ патронами простыми, двѣ съ пулями „думъ-думъ“.

Въ виду сепаратной нравственности Финляндіи, весьма не одобряемой извѣстнымъ писателемъ г. Скальковскимъ, думаю поѣхать вмѣстѣ съ женою.

Іюля 16-го.

Былъ въ гостяхъ Иванъ Ивановичъ, тоже полугодовой подписчикъ „Новаго Времени“. Услыхавъ, что ѣду въ Финляндію, прослезился.

— Перенесете ли вы эти ночевки подъ открытымъ небомъ? Холоднымъ, финляндскимъ небомъ? На прони-

зывающемъ вѣтру, въ жестокой стужѣ, подъ проливнымъ безпрерывнымъ дождемъ!

— Какъ подъ открытымъ небомъ?!

— Неужели же вы думаете, что финляндцы пустятъ васъ въ гостиницу?!

Рѣшилъ купить брезентъ, раскину на берегу Иматры вигвамъ и поселюсь. Время распредѣляется такъ: три часа спать, три на караулѣ. Я сплю,—караулитъ жена. Жена спитъ,—я съ берданкой хожу. При первомъ приближеніи финляндцевъ—стрѣлять. Драться до послѣдней крайности. При сдачѣ выстрѣлить другъ въ друга.

Учу жену стрѣлять. Боится. Плачетъ, но стрѣляетъ.

Іюля 17-го.

Приходилъ Петръ Петровичъ. Человѣкъ основательный. Вмѣсто разговоровъ читаетъ наизусть статьи „Московскихъ Вѣдомостей“. Узнавъ, что ѣду въ Финляндію усомнился:

— Обезпечены ли вы провіантомъ? Я совѣтовалъ бы ѣхать лучше зимою: мясо въ замороженномъ видѣ дольше сохраняется. Хотя и теперь можно взять съ собою консервы, какъ то дѣлаютъ путешественники къ сѣверному полюсу и въ другія тому подобныя мѣста. Только консервы возьмите англійскіе, а не русскіе. Русскіе консервы слѣдуетъ поощрять, но ѣсть слѣдуетъ англійскіе.

— А если финляндскую ѣду ѣсть?

— Не дадутъ или отравятъ.

Купилъ солонины, дичи, масла въ консервахъ, сдѣлалъ запасы хлѣба; не хватитъ—настрѣляю дичи на мѣстѣ, убью медвѣдя и сдѣлаю ветчину.

Іюля 18-го.

Видѣлъ во снѣ Грингмута.

Пріѣзжаемъ будто бы мы съ нимъ на Иматру,—и моментально насъ окружаетъ толпа раскрашенныхъ въ

разные цвѣта финляндцевъ. Кинулись, привязали насъ къ дереву и начали вокругъ насъ танецъ танцовать.

— Какъ,—спрашиваемъ,—танецъ называется?

— Куоккала!

И, отплясавъ, начали говорить, что вотъ сейчасъ насъ зарѣжутъ и съѣдятъ. Ножи у насъ передъ самымъ носомъ и надъ ухомъ точили.

Грингмута рѣшили изжарить съ кашей, а меня приготовить со сметаной и хрѣномъ.

Былъ освобожденъ отъ этого унизительнаго сновидѣнія супругой.

— Что это ты, мой другъ, такія страшныя слова кричишь?

— Посмотрѣлъ бы я, матушка, что бы ты стала кричать, если бы тебя сметаной заливать начали! Всякій человѣкъ, когда его сметаной заливаютъ, кричитъ!

Сонъ пророческій.

Рѣшилъ усилить вооруженіе двумя штуцерами.

Іюля 19-го.

Застраховалъ свою жизнь.

Іюля 20-го.

Поѣхали.

Финляндецъ-кондукторъ, съ ненавистью посмотрѣвъ на наши билеты, указалъ въ вагонѣ мѣста, довольно удобныя.

— Ага! Заманить хотите, а потомъ убить!

Держу револьверъ наготовѣ

Озерки.

Удивительно удачная поѣздка. Не успѣлъ до финляндской границы доѣхать,—а ужъ измѣну открылъ.

Оказывается, что Финляндія имѣетъ цѣлую огромную партію въ самомъ Петербургѣ. И что партію эту составляютъ не кто иные, какъ гг. чиновники!

Открытіе сдѣлалъ случайно, въ бесѣдѣ съ сосѣдомъ, канцелярскаго вида господиномъ.

— Помилуйте, — говоритъ, — сущая благодать! Собственную заграницу имѣемъ! Во-первыхъ, заграничнаго паспорта брать не нужно,—взялъ 28-дневный отпускъ и за пять рублей девять копеекъ черезъ полтора часа „иностранцемъ“ сдѣлался! Развѣ не лестно? Все былъ русскій, русскій—и вдругъ „иностранецъ“. И все-то удовольствіе 10 рублей 18 копеекъ туда и обратно, съ превращеніемъ въ иностранца и обратной натурализаціей, стоитъ. Деньги другія, разговоръ кругомъ—слова не поймешь, границу переѣзжаешь! Прямо чиновничья заграница, заграница на сумму менѣе трехсотъ рублей. Вотъ если бы еще на обратномъ пути на границѣ построже смотрѣли, совсѣмъ была бы прелесть. Русскій человѣкъ—контрабандистъ по природѣ. Хоть сигарочку безпошлинно провезти. Положимъ, сигары въ Финляндіи дрянь, но все-таки контрабандную выкурить какъ-то пріятнѣе. А теперь не то. Смотрятъ такъ, для проформы, никакихъ строгостей, никакой иллюзіи!

Мысли столь зловредныя, что рѣшилъ о нихъ телеграфировать въ „Новое Время“

Куоккала.

Вотъ она Куоккала-то:

Переѣхали „границу“, и начались оскорбленія.

Чухонская морда, кондукторъ, безпрестанно проходитъ по вагону и бормочетъ какія-то непонятныя слова.

Такъ и кажется, что онъ, какъ тогда во снѣ, сейчасъ „куоккалу“ танцовать примется.

Не выдержалъ, спросилъ сосѣда:

— Что это онъ зловредное про себя говоритъ?

— Названія станцій выкликаетъ.

Ахъ, животное!

Теріоки.

Странное названіе!

И произносятъ, сколько я замѣтилъ, зловредныя морды, особенно:

— Тери оки!

Какъ бы на что-то намекая!

Я тебѣ потру оки!

Надо будетъ объ этомъ написать въ „Московскія Вѣдомости“ и „Новое Время“. Предложу переименовать загадочныя „Тери оки“ просто въ „Теркино“.

Опять проходила чухонская морда, буркнула что-то себѣ подъ носъ и добавила:

— Остановка ри минуты.

И какимъ тономъ! Словно хвастается:

— Вотъ, молъ, у насъ какъ! Цѣлыхъ три минуты стоимъ!

Я тебѣ похвастаюсь, чортова перечница!

Былъ истинно взбѣшенъ, но мыслей этихъ вслухъ не выразилъ,—по причинѣ сепаратнаго воспрещенія въ Финляндіи высказывать вслухъ свои искреннія мнѣнія о людяхъ. А то сейчасъ въ кутузку. Мошенники!

Произошло недоразумѣніе.

Думалъ о чухонскихъ тайныхъ желаніяхъ, какъ вдругъ входитъ кондукторъ, чухонская морда, и, въ упоръ глядя на меня, говоритъ:

— Усикирка!

— На какомъ основаніи?!

Оказалось,—названіе станціи.

Выборгъ.

Чухонцы—народъ пустой и хвастливый.

Выхожу на станцію. Выборгъ. По-нашему, одинъ Выборгъ,—а по ихъ сейчасъ во множественномъ числѣ:

— Випури!

Гляжу,—аптека, одна аптека, а на вывѣскѣ:

— Appeteki.

Словно у нихъ подъ одной вывѣской чортъ знаетъ, сколько аптекъ помѣщается. Какъ же! Нельзя! Надо похвастаться передъ русскимъ человѣкомъ:

— У насъ, молъ, всего много! И Випури и аптеки! Тфу!

Иматра.

Пріѣхали въ гостиницу.

— Пустите переночевать?

— Позялуйте!

У-у, подлецы! Буквы „ж" выговорить не хотятъ!

Вигвама разбивать не придется. Для оружія и склада припасовъ пришлось взять другую комнату. Только въ расходы вводятъ! Черти! Чухны!

Еще за версту до насъ донесся могучій аккордъ водопада.

Бѣгутъ года, столѣтія мелькаютъ, какъ минуты, тысячелѣтія рождаются и гаснутъ, какъ день. Люди родятся, люди страдаютъ, люди умираютъ. А этотъ аккордъ, разъ взятый природой, звучитъ, вѣчно звучитъ, какъ вѣчно все въ природѣ.

Когда въ первый разъ зашумѣла Иматра?

Это было въ часъ великаго переворота, великаго ужаса, когда земля вздымалась, какъ волны, и эти волны застывали въ горы, протестующе поднимаясь къ небесамъ, закутаннымъ въ черныя тучи. Изъ расщелинъ земли, словно кровь изъ ранъ, лилась горячая масса и въ холодномъ, въ ледяномъ, въ дрожащемъ воздухѣ превращалась въ гранитъ, въ огромные сгустки крови земли. Пѣнящіяся, многоводныя руки въ ужасѣ метались, среди этого хаоса, не находя своихъ озеръ.

Тогда, словно пальцами по клавишамъ рояля, ударила природа рѣкой по гранитамъ,—и, словно изъ огромнаго рояля, вырвался изъ земли этотъ могучій аккордъ — Иматра.

Страшный и грозный, словно отголосокъ того великаго переворота, того ужаса, который царилъ на землѣ въ часы мірозданія.

И звучитъ онъ...

Это все отъ лососины.

Отлично, подлецы, варятъ лососину. И тѣмъ насъ подкупаютъ! И мы даже чуть не стихи начинаемъ писать изъ-за этого!

У-у, хитрыя шельмы!

Описанія Иматры не пошлю никуда. У себя оставлю А въ газетахъ напишу:

— Дрянь! И водопада - то никакого нѣтъ, — пороги! Одно мошенничество!

Тотъ же день вечеромъ.

Отъ лососины, которую ѣлъ, ждалъ смерти. Смерти не послѣдовало. Ѣлъ по этому поводу форель.

Какая форель!

Ѣлъ на террасѣ между двумя парочками.

Одна — мужъ съ женой. Другая, чортъ ихъ знаетъ, должно-быть, какіе-нибудь негодяи.

Водопадъ ревѣлъ, и они говорили громко, думая, что ихъ не услышатъ. Но нѣтъ! У подписчика „Московскихъ Вѣдомостей“ слухъ изощренный!

Мужъ съ женой бесѣдовали.

Онъ говорилъ ей:

— Жри форель!

Она отвѣчала ему:

— Не хочу я твоей форели. Самъ подавись.

Онъ говорилъ ей:

— Дрянь! Вѣдьма! Змѣя! Отелло говоритъ: „Больше всего на свѣтѣ я ненавидѣлъ кошку,— и теперь этотъ человѣкъ для меня кошка!“ — Ты для меня теперь — кошка, кошка съ кошачьей начинкой, кошка въ интересномъ положеніи, кошка, полная котятъ!

Она шипѣла ему:

— Носоррроготъ! Тарррраканъ! Къ сепаратистамъ жену завезъ?! Ты у меня запоешь дома! Если эта чухонская морда посмѣетъ еще разъ ко мнѣ подойди и взять у меня тарелку, я пущу тарелкой и въ васъ и въ его сепаратную голову!

У другой парочки, чортъ ихъ знаетъ—кого, я ничего не могъ разслышать. Они оба были молоды, любили, чортъ ихъ побери, шептали что-то другъ другу, съ улыбкой смотрѣли на чухну, подавшаго имъ форель, которой они не ѣли, и, какъ музыку, слушали шумъ водопада. Съ тихимъ шопотомъ любви, имъ было хорошо: этотъ шумъ водопада скрывалъ отъ другихъ ихъ слова любви, звучавшія только для нихъ.

И я думалъ: пусть ваше сердце будетъ полно любви, одной любви, къ человѣку или къ людямъ, — это все равно. И міръ покажется вамъ свѣтлымъ и прекраснымъ. Жизнь хороша. Берите ее такой, какая она, лучезарная и радостная, кипитъ вокругъ васъ. И ваше сердце, жадно, какъ губка, пусть впитываетъ въ себя радости жизни. Берите впечатлѣнія такими, какими вы ихъ воспринимаете сразу, въ первый моментъ, — безъ предвзятыхъ взглядовъ, безъ злобной подозрительности. Не пугайтесь того, что эти впечатлѣнія хорошія и добрыя...

Это все отъ форели.

Нарочно хорошо варятъ, негодяи, форель. Масломъ ее поливаютъ,— чтобъ только насъ къ себѣ расположить. Лукавыя шельмы!

Іюля 21-го.

Ничего хорошаго въ водопадѣ нѣтъ.

Цѣлую ночь не могъ заснуть отъ его рева. Словно какой-то кошмаръ. Доходилъ до неистовства, выбѣгалъ на балконъ, топалъ ногами и кричалъ:

— Замолчи!

Водопадъ сепаратно шумѣлъ.

Заснулъ подъ утро и видѣлъ во снѣ, будто я — околоточный надзиратель и составляю на водопадъ протоколъ за нарушеніе общественной тишины и спокойствія.

— Какъ зовутъ?

— Иматра.

— И не стыдно? Дама и такой шумъ поднимаете!

А г. Грингмутъ будто подписывался свидѣтелемъ:

— Не забудьте упомянуть, что она поднимаетъ шумъ около ресторана! Вотъ вамъ и хваленая финляндская нравственность.

Проснулся съ тяжелой головой и до обѣда гулялъ по берегу, разсуждая о ничтожествѣ финляндскаго водопада.

Финляндцы хвастливо преувеличиваютъ силу своего водопада.

Финляндцы говорятъ, будто бы бревно, будучи брошено въ Иматру, превращается въ щепки. Столь, будто бы, велика ея сила!

Сіе неправда. Бревно, будучи брошено въ Иматру, такъ бревномъ и выплываетъ. Зачѣмъ врать на бревна?

Финляндцы пугаютъ, будто отъ человѣка, попавшаго въ Иматру, остаются одни клочья.

И сіе неправда. Если человѣкъ попадетъ въ Иматру, то выплывутъ не клочья, а цѣлый трупъ, что для человѣка, попавшаго въ Иматру, весьма утѣшительно.

Зачѣмъ такъ врать?

Передъ вечеромъ ловилъ рыбу. Ничего не поймалъ. Финнъ-рыболовъ, который правилъ лодкой, былъ, кажется, очень радъ. Хотя наружно этого не показывалъ.

Продукты, сложенные въ сосѣднемъ номерѣ, начали загнивать. Пришлось выбросить. Только даромъ 72 руб. 75 копеекъ истратилъ!

Вотъ тебѣ и хваленая финляндская дешевизна!

Іюля 22-го.

Водопадъ осточертѣлъ.

Шумитъ, шумитъ,—и безо всякаго толка. Не есть ли сіе ясное доказательство безплодности всякаго шума?

Ѣздилъ въ Рауху.

Возилъ туда туземецъ на какой-то сепаратной бричкѣ, и когда ему сказалъ:

— Рауха. Назадъ.

Отвѣтилъ мнѣ:

— Ять марка!

И что-то пробурчалъ на своемъ сепаратистскомъ нарѣчіи.

Очевидно:

— Убью я этого человѣка въ лѣсу и трупъ его отдамъ на съѣденіе знакомому медвѣдю.

Но намѣренія своего въ исполненіе не привелъ — вѣроятно, изъ жадности: не хотѣлъ потерять пяти марокъ.

И только поэтому доставилъ меня въ Рауху благополучно.

И кто сказалъ, что въ Раухѣ хорошо?

Не люблю я Раухи съ ея Саймскимъ озеромъ.

Угрюмыя сосны и ели наклонились къ водѣ и слушаютъ. А темное озеро, никогда не видавшее горячихъ солнечныхъ лучей, говоритъ имъ холодныя, безрадостныя сказки.

Отъ этой идилліи вѣетъ холодомъ, почти морозомъ.

Предавался литературнымъ воспоминаніямъ.

Здѣсь, въ Раухѣ, жилъ Георгъ Брандесъ и очень хвалилъ русскихъ писателей, къ сожалѣнію, ни слова не зная по-русски. А, впрочемъ, можетъ-быть, это было и къ лучшему!

Въ Раухѣ любовался, какъ дипломаты наслаждаются природой.

Дипломаты, подобно камергерамъ, рѣдко наслаждаются природой.

Смотрѣлъ одному гулявшему дипломату въ лицо и читалъ.

Дипломатъ, что естественно при ихъ профессіи, ничего со мной не говорилъ. Но тотъ, кто читалъ г. Месароша, можетъ читать и въ сердцахъ.

Дипломатъ глядѣлъ на это серебристое небо, на всплески волнъ, на сосны, стволы которыхъ рдѣли, словно горѣли подъ темною шапкою хвои, и думалъ:

„Зачѣмъ на свѣтѣ существуетъ дипломатія, когда есть на свѣтѣ и ширь, и воздухъ, и просторъ? Стоитъ ли вся дипломатія этого мягкаго свѣта блѣдныхъ и милыхъ лучей, этой шири, этихъ тихихъ всплесковъ волнъ, этихъ сосенъ, которыя дышатъ здоровымъ смолистымъ воздухомъ? Міръ такъ хорошъ, а мы его отравляемъ дипломатіей. Міръ такъ великъ, всѣмъ есть на немъ мѣсто. Дипломатія, какъ и армія, родилась изъ представленія: „намъ тѣсно".

Но дипломатъ тутъ же спохватился:

Не было бы дипломатіи,— не былъ бы и я въ Раухѣ. Нѣтъ, дипломатія нужна!

И, дойдя до пансіона, приказалъ человѣку приготовить яйца всмятку.

— Не то, чтобы очень круто, не то, чтобы очень жидко, а такъ... средне...—добавилъ онъ дипломатично.

Бѣжать, бѣжать отъ этой природы, на лонѣ которой даже у дипломатовъ является мысль:

— А нужна ли на свѣтѣ дипломатія?

Бѣжать!

23-го іюля.

Бѣжалъ.

Чухны выдержали-таки себя до конца. Этакій упорный народецъ!

Подали счетъ. Хотѣли, вѣроятно, ограбить, взять двѣ тысячи, а взяли сорокъ марокъ всего!

Миновавъ рядъ станцій съ преувеличенными, во множественномъ числѣ, или крайне оскорбительными для уха названіями,— пріѣхалъ, наконецъ, въ Бѣлоостровъ и немедленно отправилъ телеграммы во всѣ газеты, подписчикомъ которыхъ состою:

„Поѣздка Финляндію сопряжена опасностями. Едва не былъ ограбленъ. Боялся быть отравленнымъ. Хорошо, что былъ съ оружіемъ. На станціяхъ написаны такія слова, что, подъѣзжая къ станціи, приходится говорить такъ:

— Душенька, отвернись и не гляди окно!“



Культуртрегеры.

На-дняхъ я получилъ очень интересную телеграмму изъ мѣстъ весьма отдаленныхъ.

Изъ мѣстъ, столь отдаленныхъ отъ всяческой культуры, что мы являемся тамъ культуртрегерами.

Изъ города Никольска, Уссурійскаго края.

Телеграмма „гласитъ слѣдующее":

„Одесса. Сотруднику „Одесскаго Листка" Дорошевичу. Прошу помѣстить гдѣ слѣдуетъ въ газетѣ о неурядицахъ, происходящихъ на окраинѣ Приморской области, въ новомъ городѣ Никольскѣ-Уссурійскѣ, по поводу закрытія въ немъ 4 ресторановъ-трактировъ, причинившаго содержателямъ болѣе 100 тысячъ убытка и вообще послѣдовавшаго тормоза по общей торговлѣ. Несмотря на разрѣшеніе, полученное на право торговли отъ его высокопревосходительства, управленіе новаго города не обращаетъ на это вниманія и продолжаетъ дѣйствовать вопреки. Сущій произволъ!

„Теперь вопросъ по этому возникаетъ: кто старше,— генералъ ли губернаторъ, или городское управленіе, состоящее изъ крестьянъ-земледѣльцевъ и приказчиковъ-аршинниковъ. — Одесситы Илашвили, Забиранскій, Алексѣевъ, Боровиковъ, Швидиченко".

Развѣ не прелесть эта телеграмма культуртрегеровъ, „оскорбленныхъ въ лучшихъ своихъ мечтахъ".

Еще полтора года тому назадъ города „Никольска-Уссурійска" не существовало, а было большое село Никольское.

Городъ еще только-только народился, а на него ужъ налетѣли „культуртрегеры" въ чаяньи „споить новорожденнаго".

Въ ихъ воображеніи ужъ рисовалась чарующая картина.

Затерянный въ тайгѣ новорожденный городокъ, невинный, какъ всѣ новорожденные, никогда не видавшій кабака.

И вдругъ въ немъ открываются сразу * „ресторана-трактира“.

Экая благодать!

Городъ накидывается на невиданное доселѣ „благо цивилизаціи“.

„Культуртрегеры“ ужъ давились слюною отъ предвкушенія.

— Споимъ! Развратимъ!

Быть-можетъ, имъ уже мерещились „усовершенствованные кабаки“ съ женскими хорами.

И вдругъ... Городское управленіе...

Люди ѣхали, чтобъ споить и развратить.

И имъ споить и развратить не даютъ.

Имъ! Культуртрегерамъ! Пріѣхавшимъ просвѣтить далекую окраину любезнаго отечества! Мѣшаютъ въ этомъ. И кто же?! Кто?!

Все великолѣпно въ этои разуваевской телеграммѣ гг. „просвѣтителей“.

И это презрѣніе пришлыхъ хищниковъ къ мѣстному населенію.

Презрѣніе кабатчиковъ къ „крестьянамъ-земледѣльцамъ и приказчикамъ-аршинникамъ“, составляющимъ городское управленіе.

И это обвиненіе городского управленія чуть ли не въ сопротивленіи предержащимъ властямъ.

Цѣлая картина жизни далекихъ окраинъ!

Культуртрегеры, явившіеся спаивать и развращать, считаютъ всякое сопротивленіе ихъ кабацкимъ стремленіямъ колоссальнымъ преступленіемъ.

Они считаютъ, что окраины отданы имъ на растленіе.

Кабакъ, построенный „просвѣтителемъ“ на окраинѣ, это—нѣчто священное и неприкосновенное.

Всякое посягательство на кабакъ есть бунтъ.

„Просвѣтители“ такъ увѣрены въ своемъ правѣ „спаивать“ и „развращать“, что полагаютъ, что даже печать обязана вступиться за ихъ право.

Печать должна бить въ набатъ, должна вопіять:

— Ужасно! Куда мы идемъ! Смирить непокорное городское управленіе! Какъ смѣютъ ставить препоны просвѣтителямъ?

Много я видалъ наглости.

Но такой наглости, чтобы кабатчики обращались къ печати за защитой своихъ „правъ“, еще не встрѣчалъ.

Такой наглый типъ могъ развиться только на далекой окраинѣ, гдѣ кабатчикъ считаетъ себя „носителемъ идеи“, а свой кабакъ—„установленіемъ“.

О, эти бѣдныя „далекія окраины“, нынѣ переполненныя этими „культуртрегерами“.

Съ нѣкотораго времени въ Одессѣ по два раза въ мѣсяцъ передъ отходомъ парохода Добровольнаго флота начали появляться какіе-то странные „типы“.

Смотришь и радуешься:

— Слава Богу, что только проѣздомъ.

И сердце сожмется за ту страну, гдѣ эти „типы“ поселятся на жительство.

Люди, словно отправляющіеся куда-то „скандалить“. Видъ отчаяннаго.

Пріѣдутъ, попьянствуютъ, побезобразничаютъ по дешевымъ ресторанамъ и куда-то словно провалятся.

— Что за народъ?—спрашиваю.

— Артуровцы!

Такъ зовутъ теперь въ Одессѣ всѣхъ, кто ѣдетъ „просвѣщать и насаждать“ далекія окраины.

Отправьтесь къ отходу любого парохода Добровольнаго флота, и вы увидите среди пассажировъ двѣ разновидности типа просвѣтителей и насадителей.

Одну разновидность я уже описалъ.

На лицѣ ея написано:

— Ррасшибу!

Другая разновидность во время временнаго пребыванія въ Одессѣ не замѣтна. Эта разновидность „просвѣтителя и насадителя“ не пьетъ и не скандалитъ.

Она „объявляется“ только на пароходѣ за нѣсколько часовъ до отхода.

Человѣкъ спокойный, сосредоточенный, губы плотно сжаты, въ глазахъ алчность, на всемъ лицѣ написано:

— Вопьюсь!

У клеща, когда онъ хочетъ впиться въ мясистое мѣсто, вѣроятно, такое выраженіе.

Отъ представителя первой категоріи вѣетъ „запальчивостью и раздраженіемъ“.

Отъ представителя второй—заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ.

Первый, вѣроятно, будетъ бить дубьемъ, второй — рублемъ.

Первый считаетъ себя носителемъ достоинства, второй — культуры.

И вмѣстѣ оба считаютъ себя „представителями идеи“.

У перваго на лицѣ написано:

— Въ кабакъ пойду!

У второго:

— Кабакъ открою!

Бѣдная, бѣдная окраина, куда везутъ „культуру“ такіе „типы“!

Мнѣ вспоминаются тѣ вопли, которые я слышалъ на Дальнемъ Востокѣ:

— Да вѣдь кого, кого къ намъ везутъ! Кто сюда ѣдетъ!!! Вѣдь сюда нужны лучшіе элементы, а это...



Еврейскій погромъ въ Николаевѣ.

(1899 г.).

Южные города на Пасхѣ живутъ всегда немножко на вулканѣ. Передъ праздниками расклеиваются объявленія, въ которыхъ запрещаются скопища народа. По улицамъ ходятъ патрули. Чтобы „меньшая братія" чувствовала себя въ эти дни подовольнѣе жизнью, устраиваются розговѣны для „босяковъ". Въ пожертвованіяхъ на эти розговѣны принимаютъ очень большое участіе евреи. Это, такъ сказать, страхованіе отъ погромовъ.

Въ этомъ году страховка не помогла.

Въ Николаевѣ, — 100 тысячъ жителей, изъ нихъ 30 тысячъ евреевъ, — вспыхнулъ погромъ.

Эта грозная болѣзнь обладаетъ страшной заразительностью.

— Въ Николаевѣ погромъ! — Это пронеслось, какъ раскаты грома надъ югомъ.

— Николаевъ! Николаевъ! Николаевъ! — только и говорятъ въ Одессѣ, Херсонѣ, окрестныхъ городахъ.

По рукамъ ходитъ нумеръ „Южанина", гдѣ на первой страницѣ жирнымъ шрифтомъ отпечатано:

„Приказъ и. д. николаевскаго военнаго губернатора. Апрѣля 21-го дня 1899 г. № 2173.

„Въ виду появленія въ городѣ Николаевѣ уличныхъ безпорядковъ и насилій надъ имуществомъ гражданъ, объявляю для всеобщаго свѣдѣнія:

„1) Сборища народа на улицахъ, тротуарахъ и площадяхъ воспрещаются.

„2) Ворота и двери на улицу должны быть заперты и открываемы лишь въ случаяхъ крайней необходимости.

„3) Магазины, лавки и погреба, въ которыхъ продаются вино и водка, а также трактиры со спиртными напитками должны быть заперты, и

„4) Виновные въ неисполненіи вышеозначеннаго будутъ подвергнуты мною отвѣтственности на основаніи положенія объ усиленной охранѣ".

Николаевъ, за послѣднее время быстро-растущій, шумный, оживленный городъ, неузнаваемъ.

Пріѣзжаю, — гостиницы переполнены.

— Пріѣзжими?

— Нѣтъ, мѣстными жителями. Еврейскія семьи, нагруженныя узлами, переселяются въ гостиницы „до среды". Такъ и платятъ впередъ, какую угодно цѣну, до среды Ѳоминой недѣли. Въ подметныхъ письмахъ говорится, что 25, 26 и 27 апрѣля погромъ будетъ возобновленъ.

Всѣ банки заперты.

У отдѣленія государственнаго банка караулъ съ ружьями.

Около привознаго рынка сталъ бивуакомъ казачій патруль.

Около думы — казаки.

На городскомъ рынкѣ ружья въ козлахъ. Стоитъ пѣхотный караулъ.

На Соборной улицѣ, — „Невскомъ проспектѣ" Николаева, — большинство магазиновъ закрыто. Въ тѣхъ, которые открыты, желѣзныя шторы надъ дверьми и окнами подняты наполовину: словно вотъ-вотъ готовы закрыться при первой тревогѣ.

Мало прохожихъ.

Словно въ городѣ чума!

Вѣетъ печалью, уныніемъ, паникой.

Ужасомъ вѣетъ отъ оконъ, повсюду закрытыхъ ставнями, отъ образовъ, выставленныхъ въ окнахъ, отъ маленькихъ образовъ, словно умоляющихъ о пощадѣ.

Вотъ большой, новый, красивый, трехъэтажный домъ, которыхъ теперь много растетъ въ быстро богатѣющемъ Николаевѣ. Его фасадъ напоминаетъ иконостасъ. Въ каждомъ окнѣ, на воротахъ — образа.

Всѣ ставни закрыты. Тишина. Домъ точно замеръ. Только ярко горятъ на солнцѣ золотыя ризы иконъ.

Этотъ огромный домъ словно въ ужасѣ осѣняетъ себя крестнымъ знаменіемъ.

Такія картины на каждомъ шагу.

На городскомъ базарѣ, охраняемомъ солдатами, изъ десяти лавокъ открыта развѣ одна. На каждомъ шагу развороченныя желѣзныя шторы,— слѣды погрома. Надъ дверьми открытыхъ лавочекъ образа. Онѣ рѣшаются торговать только подъ охраной иконъ. Какое странное впечатлѣніе производитъ крошечная лавчонка готовой обуви съ повѣшенной надъ нею Неопалимой Купиной, охраняющей это маленькое, жалкое достояніе.

Вотъ лавка готоваго платья. На вывѣскѣ на двухъ черныхъ фигурахъ, изображающихъ „фрачника“ и франтовитаго „сюртучника“, большими буквами мѣломъ написано:

— Христосъ воскресе!

На дверяхъ, на вывѣскахъ всѣхъ запертыхъ русскихъ лавокъ мѣломъ поставлены кресты. Иконы зачастую и въ еврейскихъ домахъ. Кресты и на запертыхъ еврейскихъ лавкахъ.

Вотъ какой-то крупный бакалейщикъ поставилъ на всѣхъ вывѣскахъ своей запертой лавки крупные кресты. Бѣдняга, видимо, растерялся и забылъ, что на вывѣскѣ еще крупнѣе написано:

„Ааронъ Израилевичъ“.

Или что-то въ этомъ родѣ.

Вѣтеръ носитъ надъ городомъ пухъ, словно цвѣтутъ тополи.

Цѣлыя улицы, гдѣ сплошь перебиты окна. Разбитыя маленькія лавчонки, съ заколоченными обломками досокъ дверьми и окнами. Свороченныя и лежащія на боку будки, гдѣ торговали сельтерской водой. Полуразобранные штабели камня, заготовленнаго для мостовой. Мѣстами разобранные тротуары.

Кварталы, въ которыхъ происходилъ погромъ, словно подъ снѣгомъ. Мѣстами на нѣсколько вершковъ летитъ пухъ. „Снѣгъ“ этотъ сверкаетъ на солнцѣ; тротуары покрыты осколками стеколъ.

Какъ будто какой-то ураганъ пронесся надъ городомъ. И надъ всей этой картиной разрушенія — уныніе, ужасъ, ожиданіе новаго погрома.

„Morituri“ — евреи робко выходятъ на улицу узнать, что новаго, обмѣниваются вѣстями, отъ которыхъ морозъ пробѣгаетъ по кожѣ.

— Въ Доброе отправлены двѣ роты солдатъ.

— И въ Березниковатомъ тоже!

— И въ Новомъ Бугѣ.

„Доброе“ — земледѣльческая еврейская колонія, въ четырехъ станціяхъ отъ Николаева, туда, дѣйствительно, отправили солдатъ.

Березниковатое и Новый Бугъ — богатыя мѣстечки, гдѣ тоже, говорятъ, начались погромы.

— А что будетъ у насъ?

- Полиція велитъ запираться. Совѣтуютъ на три дня запасаться провизіей.

И всѣ эти вѣсти съ быстротой молніи разносятся по городу. И 30 тысячъ человѣкъ съ ужасомъ ждутъ, что ихъ вотъ-вотъ пустятъ нищими.

И воспоминанія о пережитыхъ бѣдствіяхъ, сплетаясь съ ожиданіями грядущихъ, создаютъ ужасную, мучительную атмосферу паники.

Безпорядки въ Николаевѣ продолжались три дня,— изъ нихъ первый день былъ днемъ озорства, второй— днемъ безобразій и третій — днемъ грабежа. Это обычный порядокъ еврейскихъ погромовъ, которые начинаются всегда съ озорства, переходятъ въ разрушеніе имущества и заканчиваются обязательно грабежомъ.

На второй день Пасхи, 19 апрѣля, подъ вечеръ, часа въ четыре, на захолустной Глазенаповской улицѣ отдѣльныя группы, человѣкъ по пяти, начали сворачивать будки, гдѣ торгуютъ сельтерской водой.

Какъ и во всѣхъ южныхъ городахъ, въ Николаевѣ такія будки на каждомъ перекресткѣ. Торгуютъ въ нихъ почти исключительно евреи.

Это было простое озорничество. Человѣкъ пять рабочихъ, совершенно трезвыхъ, „принимались“ за будку, срывали крышу, разбивали посуду, сифоны, съ гиканьемъ, улюлюканьемъ, смѣхомъ сворачивали будку и шли дальше.

Такъ длилось до вечера.

Въ это же время на Сѣнной площади обычная большая толпа гуляла около балагановъ. Мальчишки начали привязываться къ проходившимъ евреямъ. Въ двоихъ начали кидать камнями, разбили имъ лица.

Тѣмъ кончились происшествія этого дня. Никто не былъ арестованъ. Въ центральныхъ частяхъ города даже не знали о томъ, что происходило на Глазенаповской улицѣ.

Городъ спокойно заснулъ, и въ уличныхъ безобразіяхъ никто не увидалъ начинающагося погрома.

Ночь прошла спокойно.

Раннимъ утромъ 20 апрѣля на Сѣнной площади начала собираться толпа. Къ десяти часамъ собралось около 5000 человѣкъ.

Въ Николаевѣ до 7000 заводскихъ рабочихъ. Ихъ было очень мало въ толпѣ. Немного было и мѣстныхъ „слобо-

жанъ", жителей слободки, отчаяннаго народа, большихъ пьяницъ и озорниковъ. Большинство состояло изъ пришлаго люда, крестьянъ Орловской губерніи, каменщиковъ, мостовщиковъ, плотниковъ, землекоповъ. За послѣднее время Николаевъ привлекаетъ массу пришлаго чернорабочаго элемента.

Они живутъ артелями, — такъ артелями и явились на площадь. Во всѣхъ безпорядкахъ эти орловцы шли „въ первую голову".

Толпа была совершенно трезвая. Подгулявшихъ и „празднично настроенныхъ" было очень мало.

На площади появилась полиція и 150 казаковъ. Но, конечно, они были безсильны противъ пятитысячной толпы.

Въ десять часовъ пріѣзжалъ военный губернаторъ и обращался къ толпѣ съ увѣщаніемъ. Толпа не расходилась, но и не буянила. Она толкалась на площади.

Такъ длилось до 12 часовъ, когда небольшая партія парней принялась громить еврейскую лавку готоваго платья на углу Сѣнной площади.

Толпа заволновалась.

Кинувшіеся къ мѣсту погрома полицейскіе и казаки, были встрѣчены градомъ камней.

— Полицейскій, такой - сякой, не подступайся! Убьемъ! — кричали въ толпѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, крики, хохотъ, улюлюканье, все сильнѣе и сильнѣе раздавались на площади, — и около часа пополудни толпа, раздѣлившись на двѣ части, ринулась — одна часть по направленію къ Католической и Херсонской улицамъ, другая бросилась по Песчаной.

Трудно понять, почему избраны были именно эти кварталы, — вовсе не богатые, скорѣе бѣдные. Но, очевидно, въ тотъ день еще не имѣлось въ виду заняться спеціально грабежомъ.

Какъ на зло, Николаевъ теперь дѣлаетъ новыя мостовыя. И около Сѣнной и по всѣмъ улицамъ сложены огромные „штабели“ камня. Толпа моментально была вооружена.

Бѣжали отдѣльными группами, человѣкъ по пятидесяти, мальчишки впереди.

Проходя теперь по этимъ разгромленнымъ улицамъ, поражаешься тѣмъ тщательнымъ выборомъ, который дѣлался между русскими и еврейскими домами.

Мнѣ говорили, что дома были заранѣе помѣчены коноводами. На воротахъ многихъ домовъ, дѣйствительно, написаны какія-то цифры мѣломъ. На однихъ ноль, на другихъ единица, на третьихъ двойка.

Значатъ ли примѣтки что-нибудь, или нѣтъ, но только толпа тщательно выбирала еврейскіе дома.

Въ окна одного изъ русскихъ домовъ полетѣли камни. Хозяйка дома выбѣжала къ толпѣ:

— Что вы дѣлаете? Мы русскіе, православные!

— Такъ чего жъ вы заставляетесь ставнями?!

И градъ камней моментально прекратился.

Домовладѣлецъ-еврей Корсунскій, на углу Херсонской и Малой Морской, имѣющій огромный, новый трехъэтажный домъ, встрѣтилъ нахлынувшую гурьбу, человѣкъ въ пятьдесятъ, у воротъ поклонами. Онъ пригласилъ буяновъ къ себѣ въ квартиру, приказалъ подать въ столовую все, что было въ домѣ съѣстного.

— Угощайтесь!

И предложилъ 25 рублей на чай:

— Только не трогайте моего дома!

Буяны выпили, съѣли все, что было поставлено, взяли 25 рублей и сдержали слово: въ домѣ не разбито ни одного стекла.

Вообще погромъ не носилъ особенно злобнаго характера. Это было скорѣе озорство, „баловство“ расходившейся толпы.

Тутъ было больше издѣвательства, чѣмъ злобы.

Громили нищенскія мелочныя лавочки и лавочки бѣдныхъ ремесленниковъ.

Бѣжали отъ лавочки къ лавочкѣ и мимоходомъ колотили стекла. Въ толпѣ, очевидно, были коноводы.

Раздавался свистъ.

— Ребята, стой, лавочка!

Мальчишки пускали каменьями въ стекла. Взрослые выламывали рамы, двери, и все, что было въ лавочкѣ,—табакъ, спички, пуговицы, свертки чая—летѣло въ окна „на шарапъ".

Стойки, мебель ломали, били посуду, распарывали перины, подушки и бѣжали дальше, кидая камни въ окна, пока не останавливала новая команда:

— Ребята, стой, лавочка!

Попрятавшихся евреевъ никто не искалъ. Обычныхъ при прежнихъ погромахъ случаевъ истязаній, тяжкихъ побоевъ, насилій надъ женщинами не было.

Встрѣчавшихся на пути евреевъ хватали и били. Но это не были жестокіе побои озвѣрѣвшей черни. Это было скорѣе издѣвательство надъ беззащитнымъ. Надававъ пощечинъ, толпа съ руганью отпускала побитаго. Въ этомъ больше глумленія, чѣмъ желанія причинить тяжелый вредъ.

За весь день былъ только одинъ случай ограбленія на улицѣ. Одну проходившую по улицѣ еврейку встрѣчная толпа заставила снять 6 колецъ.

Только въ одномъ мѣстѣ я видѣлъ слѣды жестокой, неукротимой злобы.

Это—въ домѣ крупнаго городского подрядчика еврея Либина. Либинъ—крупнѣйшій въ городѣ, почти милліонеръ, подрядчикъ по мостовой части.

Въ толпѣ, громившей его домъ, было много мостовщиковъ, рабочихъ его конкурентовъ.

У Либина была обстановка, стоившая тысячъ двадцать. Не осталось щепки въ цепкѣ.

Его домъ представляетъ страшную картину разрушенія.

Всѣ комнаты завалены обломками дерева и осколками посуды. Въ одной изъ комнатъ валяется остовъ рояля, съ разбитой крышкой, съ оборваными струнами. Не мало нужно трудовъ, чтобъ такъ искромсать несчастный инструментъ! Разоряли дочиста. Обрывали даже грошевыя, тростниковыя шторы на окнахъ.

Когда вы идете по полу,—чувствуете, какъ половицы пляшутъ подъ ногами. Поднимали полы, отдирали доски, ища, не спряталъ ли гдѣ Либинъ деньги. Разбили все даже въ подвалѣ подъ домомъ.

Большую несгораемую кассу вытащили во дворъ, колотили большими камнями, желѣзными ножками отъ кроватей — и ничего не могли подѣлать.

Быть-можетъ, видъ этой неподдающейся кассы и озлобилъ такъ толпу. Толпа искала Либина, допрашивала у его рабочихъ:

— Гдѣ хозяинъ?

Рыла и шарила вездѣ. Но, къ счастью, не нашла спрятавшихся въ сараѣ несчастнаго подрядчика съ семьей.

Это, кажется, единственный случай истинно-злобнаго погрома. Во всѣхъ остальныхъ толпу, видимо, просто развлекали звонъ стеколъ и летящій по воздуху пухъ.

Это безобразіе продолжалось до четырехъ часовъ, когда толпа разошлась небольшими группами по разнымъ сторонамъ, на ходу продолжая бить стекла.

Такъ перебили стекла въ обѣихъ еврейскихъ синагогахъ, еврейской дешевой столовой, опрокинули много будокъ съ сельтерской водой.

Второй день погрома кончился. Пострадало 79 еврейскихъ помѣщеній. Убытка, — не считая убытковъ г. Либина,—заявлено на 25 тысячъ.

Николаевъ охватила паника. Въ окнахъ появились иконы, пасхи, ночью многіе нарочно открыли ставни и

зажгли лампады, чтобы толпа въ случаѣ ночного погрома видѣла, что здѣсь живутъ христіане. Иконы, какъ я говорилъ, появились и во многихъ еврейскихъ домахъ. Николаевъ не спалъ.

Но ночь снова прошла какъ нельзя болѣе спокойно.

Утро 21 апрѣля застаетъ Николаевъ на военномъ положеніи.

Въ районѣ Сѣнной площади и новаго базара съ каменными лавками разъѣзжаютъ патрули.

Часовъ съ семи утра въ рабочихъ кварталахъ около Сѣнной начинается движеніе. По угламъ улицъ сходятся большія группы. Толпа собирается и на Сѣнной. Появились бабы,—вѣрный признакъ, что предстоитъ грабежъ.

Толпа собирается именно для грабежа. На всѣхъ почти задержанныхъ въ этотъ день найдено по нѣскольку надѣтыхъ одна на другую рубахъ. По три, по пяти, даже по восьми.

— Зачѣмъ это?

— Всѣ такъ ношу!.. Для здоровья! — объясняютъ одни.

— На случай казаковъ. Ежели нагайками разгонять будутъ, чтобъ не такъ больно было!—болѣе чистосердечно сознаются другіе.

Это одинъ изъ обычныхъ пріемовъ при погромахъ.

Въ половинѣ десятаго эта толпа съ криками: „идемъ бить лавки!“ — устремляется на базаръ.

Съ половины десятаго до полудня длится разгромъ базара.

Бьютъ почти исключительно еврейскія лавки, торгующія, по большей части, готовымъ платьемъ, но мимоходомъ разбиваютъ и сапожную лавку одного изъ старѣйшихъ русскихъ торговцевъ Николаева.

Лавки заперты. Желѣзныя шторы спущены. Толпа разбиваетъ камнями, влѣзаетъ въ лавки, наскоро тутъ же переодѣвается.

Многіе изъ пойманныхъ имѣли курьезный видъ.

На одномъ, напримѣръ, было надѣто, одинъ на другой, шесть пиджаковъ, пять панталонъ. „Слоеный джентльменъ" едва могъ ходить, не въ состояніи былъ согнуть руки.

Одного „босяка", рабочаго изъ порта, поймали съ поличнымъ потому, что онъ не только не могъ бѣжать, — не могъ итти. Въ участкѣ онъ молилъ, чтобъ прежде всего съ него сняли обувь. Ноги у него совсѣмъ посинѣли. Пришлось разрѣзать обувь, чтобъ ее снять. Оказалось, что злосчастный человѣкъ грабилъ лавку обуви и надѣлъ женскіе полусапожки!

Ловили изумительно толстыхъ бабъ, у которыхъ изъ-подъ накинутыхъ новешенькихъ ротондъ вынимали по штукѣ фая, сукна, миткаля, по шести фуражекъ, по пяти съ половиной паръ разрозненныхъ ботинокъ,— все это вмѣстѣ!

Толпа не подпускала полиціи. Камни летѣли градомъ.

— Приставъ, не подходи! — кричали въ толпѣ.

Между тѣмъ подошли войска. Они окружили базаръ. Казаки съ двухъ сторонъ въѣхали на базаръ, — толпа бросилась вразсыпную.

Отдѣльныя группы были окружены и задержаны.

Разбѣжавшаяся толпа устремилась въ слободку,—тамъ громили мелкія еврейскія лавочки и разбивали стекла.

Такъ кончился третій день погрома.

Вѣсть о Николаевскомъ погромѣ разнеслась по ближайшимъ посадамъ.

И вотъ 22 апрѣля утромъ на привозномъ рынкѣ появилось необыкновенное количество телѣгъ.

Это были „посадскіе люди" изъ Калиновки, изъ Гороховки, изъ Богоявленска, жители котораго считаются отчаянными головорѣзами и готовы на грабежъ во всякое время дня и ночи, изъ Водопоя, знаменитаго своими конокрадами.

Они понаѣхали въ городъ въ телѣгахъ, нагруженныхъ заготовленными „для всякаго добра“ пустыми мѣшками, — на каждой телѣгѣ парней по шести, по восьми.

Если бъ не успѣли предупредить, — образовалась бы толпа тысячъ въ пятнадцать. Но какая толпа!

Къ счастью, пріѣздъ „посадскихъ людей“ былъ грандіозенъ до курьеза.

— Передъ пасхой такого базара не было!

Прискакали казаки и „посадскихъ людей“ съ ихъ телѣгами и заготовленными мѣшками, выпроводили изъ города.

„Посадскіе люди“ сорвали злость на еврейскомъ кладбищѣ, мимо котораго они ѣхали: разбили домъ сторожа и исковеркали много памятниковъ.

И живымъ, какъ видите, досталось и мертвымъ.

Въ итогѣ, не считая застоя въ дѣлахъ, эти три дня стоили Николаеву, вѣроятно, около 300 тысячъ. Дорогъ былъ третій день грабежа.

Въ двухъ тюрьмахъ Николаева, — городской и морской, — содержится около 400 арестованныхъ.

Около двадцати человѣкъ получили тяжелыя раны камнями.

Убитъ единичнымъ, неизвѣстно пока кѣмъ сдѣланнымъ, выстрѣломъ одинъ. Достовѣрно только, что стрѣлялъ не еврей. Убитый кидалъ камнями и кричалъ:

— Бей живѣе!

Онъ оказался... евреемъ!.. Извѣстный въ городѣ воръ, думавшій, очевидно, „попользоваться“ при грабежѣ единовѣрцевъ.

Участки Николаева переполнены „поличнымъ“, — вещами, найденными у грабителей.

Чего тутъ нѣтъ! И измазанныя въ грязи, изорванныя штуки шелковой матеріи, и пачки махорки по пяти копеекъ, и дѣтскія соломенныя шляпы, и лисьи салопы, и грошевые леденцы, и даже коробки шведскихъ спичекъ.

Подводя итоги безпорядкамъ, слѣдуетъ еще разъ отмѣтить этотъ фактъ: толпа все время была трезвая. Винныхъ лавокъ не разбивали.

На одной изъ слободскихъ улицъ перепуганный сидѣлецъ казенной винной лавки хотѣлъ было запереть лавку, но буяны его остановили:

— Стой. Не надо!

И заставили продавать имъ водку, расплачиваясь совершенно аккуратно.

Хотя, вообще, пили мало. Въ одной, напримѣръ, изъ винныхъ лавокъ около Сѣнной въ одинъ и тотъ же день Пасхи торговали: въ прошломъ году на 600 рублей, въ этомъ около 150-ти. То же замѣчалось въ другихъ лавкахъ.

Толпа была безобразна, но не пьяна.



Элементы жизни.

Г. Кирѣевъ, чтобы искоренить проявленія взаимнаго неуваженія, рекомендуетъ радикальное средство: подстрѣливать людей.

И подстрѣливать „не какъ-нибудь“, „балаганнымъ“ способомъ, на сорока шагахъ, а:

„По строгимъ правиламъ искусства,
По всѣмъ преданьямъ старины“.
(„Что похвалить мы въ васъ должны!“)

„Шаговъ этакъ на десять и до первой крови.

Г. Кирѣевъ, извѣстный сторонникъ „правильно организованной дуэли“, искренно радуется, что комиссія вырабатываетъ теперь, наконецъ, правила смертной казни за проявленіе недостаточнаго уваженія къ личности.

Правила эти вырабатываются на основаніи „лучшихъ дуэльныхъ кодексовъ“.

Воля сражающихся этими правилами будетъ доведена до нуля.

Хочешь — не хочешь, а умирай.

Это ужъ именно не дуэль, а смертная казнь.

Средство, конечно, радикальное.

Но какъ же сильна, значитъ, болѣзнь, — разъ „радикальныя потребны тутъ лѣкарства: желудокъ больше не варитъ“.

Какъ, слѣдовательно, великъ этотъ „недостатокъ уваженія къ личности“, разъ потребовались столь радикальныя средства?!

„Недостатокъ уваженія“? Только „недостатокъ уваженія“?

Говоря высокимъ штилемъ, мы—камни, изъ которыхъ слагается зданіе—общество.

Какой же цементъ связываетъ камни? Und welche Leben's Elementen giebt es?

* * *

Какъ-то разъ въ Парижѣ проѣзжавшій мимо извозчикъ предложилъ мнѣ:

— Буржуа, хотите я васъ подвезу?

Я посмотрѣлъ на него съ величайшей подозрительностью.

Не хочетъ ли меня оскорбить этотъ „ситуайенъ“, называя „буржуа“?

Но извозчикъ смотрѣлъ такъ добродушно:

— Садитесь, буржуа!

Точка въ точку такъ же, какъ въ Москвѣ извозчикъ предлагаетъ:

— Купецъ, желаете, прокачу?

Желая даже польстить вамъ. Городъ купеческій,—купцами и титулуютъ.

Я успокоился.

Вѣдь я не въ Россіи!

Въ Россіи это было бы оскорбительно. Въ Россіи нѣтъ словъ не оскорбительныхъ.

„Буржуа“—оскорбительно, „мужикъ“—оскорбительно, „дворянчикъ“—оскорбительно, „князекъ“ — оскорбительно, „графчикъ“ — оскорбительно, „генералъ“ — оскорбительно:

— Ну, еще бы, вѣдь вы генералъ!

„Солдатъ“—оскорбительно:

— Ты, толкайся! Чисто солдатъ!

„Мѣщанинъ“ это ужъ страхъ какъ оскорбительно:

— Мѣщанство какое въ этомъ человѣкѣ!

„Аристократъ“, „аристократчикъ“, „аристократишка“— оскорбительно. „Купецъ“, „купчишка“,—тоже. „Чиновникъ, чиновничья душа, чинодралъ“—это одно изъ самыхъ оскорбительныхъ словъ. А „ремесленникъ“ это оскорбительно даже и для „чиновника“:

— Какіе это чиновники, это ремесленники какіе-то!

И даже слово „человѣкъ“ у насъ самое оскорбительное изо всѣхъ существующихъ словъ.

Что мы будемъ говорить о „недостаткѣ уваженія“, когда главный элементъ русской жизни, цементъ, который проходитъ между камнями, это—презрѣніе.

Вся русская жизнь состоитъ изъ взаимнаго презрѣнія.

Всѣ презираютъ всѣхъ и каждый каждаго.

Консерваторы презираютъ либераловъ. И если хотятъ дискредитировать какую-нибудь идею, какой-нибудь проектъ,—достаточно сказать:

— Либеральныя идеи! Измышленія гг. либераловъ!

Презрительнѣе слова ужъ нѣтъ.

Либералы презираютъ консерваторовъ.

— Ретрограды. Мракобѣсы!

Престижъ консерваторовъ чуть-чуть было поднялъ кн. Ухтомскій. Кажется, это единственный консерваторъ, котораго не презираютъ либералы. Но зато въ консервативныхъ газетахъ о кн. Ухтомскомъ пишутъ въ „уничижительномъ тонѣ, прозрѣвая въ немъ „либеральныя поползновенія“.

Консерваторы и либералы презираютъ радикаловъ:

— Безусая молодежь! Желторотые юнцы!

А если радикалъ „въ возрастѣ“, его презираютъ за то, что:

— Поддѣлывается къ желторотымъ! На ихъ круглыхъ головахъ ножи точитъ!

Радикалы, въ свою очередь, презираютъ не только,— это ужъ, конечно!—консерваторовъ, но особенно презираютъ „либералишекъ“.

— Либеральные кисляи! Постепеновцы! Мазиловщина!

Не успѣли народиться марксисты, а ужъ ихъ обдали невѣроятной уймой презрѣнія, наворотили на нихъ чортъ знаетъ чего:

— А, истинныя „дѣти вѣка“! Капиталу въ ножки кланяться? Безсердечіе проповѣдуете-съ! Народъ-пахарь пусть съ голоду дохнетъ? Помогать ему не нужно? Такъ по-вашему?

Ихъ обвиняли въ томъ, что они „радуются народнымъ бѣдствіямъ“.

— Вотъ, каковы голубчики!

Зато и марксисты, не успѣли народиться, „народниковъ“, и даже самыхъ заслуженныхъ и „почтенныхъ“, такимъ ушатомъ облили!

— Тупицы! Отсталый народъ! Сентиментальные плюнькисляи.

Такая ужъ страна.

Не успѣетъ младенецъ родиться, всѣмъ съ презрѣніемъ „дулю“ показываетъ. И не успѣлъ еще младенецъ пальчики въ „дулю“ сложить, его ужъ всѣ презираютъ.

Штатскій на языкѣ военныхъ называется „шпакомъ“ или „штафиркой“.

„Шпакъ“ по-польски значитъ скворецъ. Птица, вѣроятно, чѣмъ-нибудь предосудительная. А „штафирка“, это—что-то въ родѣ гоголевскаго „моветона“.

— Чортъ его знаетъ, что это слово обозначаетъ!

Хорошо, если только „дрянь“, но, можетъ, и того хуже.

Но зато и штатскіе отвѣчаютъ военнымъ тѣмъ же.

— Военщина!

Это стоитъ „шпака“ и „штафирки“.

И не только касты враждуютъ между собой, какъ въ Индіи,—внутри самихъ кастъ тотъ же цементъ, который раздѣляетъ всѣ камни общественнаго зданія, тотъ же элементъ, который разъѣдаетъ всю русскую жизнь.

„Отдѣльныя части“ такъ же относятся другъ къ другу.

Еще Скалозубъ издѣвался надъ:

„Предубѣжденіемъ Москвы къ любимцамъ: къ гвардіи, къ гвардейцамъ, къ гварррдіонцамъ“.

А гвардія создала кличку:

— „Глубокая армія“.

„Глубокая“ армія,—какой эпитетъ! Словно „глубокое“ ничтожество, „глубокое“ невѣжество.

Армейская кавалерія, обгоняя пѣхоту и обдавая ее тучами пыли, насмѣшливо кричитъ:

— Пѣхота, не пыли!

Это обиднѣйшая и презрительнѣйшая изъ насмѣшекъ. Почитайте писателей изъ военнаго быта, и вы увидите, какъ на пѣхотномъ языкѣ называются кавалеристы:

— „Франтики“, „щеголи“, „моншеры“.

По Невскому проспекту идетъ маленькій армейскій штабсъ-капитанъ, пріѣхавшій въ Петербургъ изъ глубокой провинціи по дѣламъ. Штабсъ-капитанъ, живущій съ семьей на 75 рублей въ мѣсяцъ Въ порыжѣвшей шинели, въ выцвѣтшей фуражкѣ. А кругомъ носятся на собственныхъ — офицеры въ фуражкахъ краснаго сукна, въ фуражкахъ бѣлаго сукна, въ сверкающихъ каскахъ.

Навстрѣчу военный писарь. „Идетъ и словно не видитъ“.

Маленькій штабсъ-капитанъ вскипаетъ:

— Стой!

Вотъ онъ сейчасъ ему покажетъ! Нѣтъ, не ему! Всѣмъ „петербургскимъ“ покажетъ, какъ нужно относиться къ арміи. На немъ вымѣститъ.

— Ты что жъ это? А? Офицеръ идетъ, а ты чести не отдаешь? А?

— Виноватъ, ваше высокоблагородіе, не замѣтилъ.

„Не замѣтилъ“! А по глазамъ видно, что именно „замѣтилъ“.

— Кто дежурный по полку?

Вотъ онъ сейчасъ отправитъ его къ дежурному по полку. „Штабсъ-капитанъ, молъ, такой-то, прислалъ не отдавшаго чести“...

— Дежурный по полку...

И сообразительный писарь называетъ такого дежурнаго по полку, что маленькій штабсъ-капитанъ дѣлается еще меньше ростомъ, порыжѣвшая шинель рыжѣетъ еще больше, выцвѣтшая фуражка окончательно вянетъ на головѣ. Онъ говоритъ:

— Ну, хорошо, иди. Только впередъ, братецъ, будь осмотрительнѣе!

— Такъ точно, слушаю, ваше высокоблагородіе.

Писарь дѣлаетъ налѣво кругомъ, а въ глазахъ такъ и свѣтится:

— Что, братъ, ожогся?

Ученые отличаются особой презрительностью. Когда новый академикъ г. Коршъ отвѣтилъ старому публицисту г. Суворину,—это было событіемъ исключительнымъ. Онъ „снизошелъ“ до отвѣта,—но зато какимъ высокомѣрнымъ слогомъ заговорилъ „снизошедшій до отвѣта“ ученый. А вѣдь рѣчь шла не о какомъ-нибудь „юсѣ маломъ іотированномъ“, во всемъ своемъ маломъ объемѣ доступномъ только академической учености, а о такой всѣмъ доступной матеріи, какъ поэзія русскаго народнаго поэта.

Не Богъ вѣдь вѣсть, какія свѣтила и столпы учености издаютъ разные спеціальные журналы, врачебные, юридическіе, — а какъ они терпѣть не могутъ, когда „общая пресса“ смѣетъ касаться „спеціальныхъ“ вопросовъ. Считается прегрѣшеніемъ, если какой-нибудь врачъ или адвокатъ обратится съ письмомъ или статьею въ „общую прессу“, а не въ „спеціальный журналъ“.

Какой-нибудь лѣкаришка, виновный въ томъ, что забылъ портсигаръ съ папиросами у больного въ кишкахъ пренаивно пишетъ въ „вынужденномъ объясненіи“:

„Конечно, я считаю несовмѣстимымъ съ своимъ достоинствомъ отвѣчать на обвиненія въ общей прессѣ и дамъ объясненія по существу въ спеціальномъ журналѣ, куда и отсылаю интересующихся этимъ дѣломъ, къ сожалѣнію, поднятымъ въ общей печати".

Зато, если вы хотите что-нибудь дискредитировать въ глазахъ не невѣжественной толпы, а средней, интеллигентной публики,—скажите только:

— Да вѣдь ученые такъ говорятъ!

Довольно.

— Ученые!

Разъ ученые говорятъ, значитъ „ерунда", да еще „на постномъ маслѣ".

— Мало ли, батющка, что ваши ученые говорятъ! Ихъ только послушай! Вонъ для ученыхъ и преступниковъ нѣтъ,—ихъ нужно, видите ли, лѣчить, они больные! Мало ли, что ученые толкуютъ! На то они и ученые.

„Ученый", это — синонимъ „наивнаго", очень часто приближающійся къ „дураку"

Да и среди „ученыхъ".

Аллопаты не считаютъ даже за порядочныхъ людей гомеопатовъ и отказываются принимать ихъ членами даже въ какой-то „велосипедный докторскій кружокъ".

— На одномъ велосипедѣ съ тобой ѣздить не хочу.

Чѣмъ это не индусскій огнепоклонникъ, который выбрасываетъ пищу, если въ котелокъ только взглянулъ человѣкъ другой касты?

Зато гомеопаты не иначе зовутъ въ своихъ писаніяхъ аллопатовъ, какъ:

— Отравителями. Обскурантами. Тупицами, не способными воспринять ни одной новой и здравой идеи.

Университетскіе выдумали себѣ даже значки, чтобы „въ толпѣ" отличать другъ друга, какъ индусы отличаютъ людей своей касты по знакамъ на лицѣ; у того круглое красное пятно на лбу, у того круглое бѣлое

пятно, у того бѣлыя полосы на челѣ, у того на щекахъ, у того на носу полосочка.

И даже не одинъ выдумали значокъ, а два. Сначала жетонъ на цѣпочку. Но не у всякаго университетскаго у насъ впослѣдствіи часы есть. Да и неудобно, встрѣтивъ человѣка, броситься его разстегивать и смотрѣть: есть у него на цѣпочкѣ жетончикъ или нѣтъ. Еще, пожалуй, разговоришься съ человѣкомъ, заговоришь съ нимъ не свысока, а онъ окажется не университетскимъ!

Такъ выдумали значокъ явственный, на лѣвой сторонѣ груди. Сразу чтобы въ глаза бросалось:

— Я университетскій!

Съ этимъ значкомъ упраздняется обычный вопросъ, которымъ „университетскій" человѣкъ въ провинціи обязательно встрѣчалъ „новопредставленнаго":

— Вы какого университета

Въ сущности, ему все равно, какого именно вы университета. Но ему нужно знать, университетскій вы или нѣтъ, чтобы знать, какъ говорить: какъ съ равнымъ или свысока.

Вѣдь до чего доходитъ!

Одинъ очень знаменитый художникъ съ сожалѣніемъ говорилъ о Л. Н. Толстомъ:

— Да, но все-таки онъ не кончилъ университета. Жаль.

Зато нѣтъ ничего подозрительнѣе для публики, какъ „университетскій":

— Знаемъ мы этихъ дипломированныхъ господчиковъ-то!

Человѣкъ безъ диплома меньше внушаетъ недовѣрія. А „дипломированный", это—презрительная кличка.

— Чему они тамъ въ университетахъ учатся! Учатся! Дипломы только бы получить!

Такъ думаютъ девяносто девять сотыхъ всей Россіи.

Интересно, какъ относятся другъ къ другу люди съ высшимъ образованіемъ.

„Университанты“ презрительно относятся къ „привилегированнымъ высшимъ учебнымъ заведеніямъ“, наполненнымъ „барчуками“, „господчиками“ и „карьеристами“.

— Училища, изъ которыхъ выходятъ въ генералы!

„Барчуки“ и „господчики“ смотрятъ на себя и на свои привилегированныя учебныя заведенія, какъ на что-то недосягаемо высшее, чѣмъ университетъ и университанты.

Даже маленькій конторскій писецъ страшно обижается, если ему сказать:

— Ахъ, голубчикъ, вы относитесь къ дѣлу по-чиновничьи.

Онъ спѣшитъ отпарировать такое оскорбленіе:

— Какой же я чиновникъ? Я стараюсь, я думаю о томъ, что дѣлаю!

„Чиновникъ“. Среди безчисленныхъ обидныхъ кличекъ нѣтъ на Руси презрительнѣе и обиднѣе.

Но и чиновники презираютъ всѣхъ и вся.

— Требованія жизни... да, но есть еще и государственныя соображенія! Голосъ печати... Мало ли что мелютъ въ газетахъ! Представители мѣстныхъ нуждъ... Ахъ, они только и знаютъ, что мѣстныя нужды. У насъ есть общія высшія соображенія!

„Что они понимаютъ! Что они знаютъ! Чего они суются!“ — вотъ вѣчныя презрительныя пофыркиванія чиновниковъ, когда посторонніе хотятъ залѣзть „въ ихъ сферу“. А „ихъ сферой“ они считаютъ все. Не много и не мало.

Поэтъ считаетъ своей обязанностью „презирать толпу“.

И для „толпы“ нѣтъ клички презрительнѣе „стихоплета“. Когда происходитъ громкое, шумное чествованіе поэта, писателя—двѣ трети, три четверти, девять десятыхъ Россіи только диву дается:

— Сколько шума! А вѣдь онъ только сочинитель!

— Ну, онъ поэтъ! — говорятъ, когда хотятъ сказать: „на него, молъ, нечего, не стоитъ обращать вниманія.

— Это все сочинители выдумали! — стоитъ роковой надгробный крестъ надъ сотнями, надъ тысячами гуманныхъ идей, плановъ, проектовъ.

— Подлаживается подъ вкусы публики... Угождаетъ вкусамъ публики!—болѣе страшнаго приговора нѣтъ для писателя, художника, артиста.

Онъ за это заслуживаетъ презрѣнія.

Какъ будто у „публики", по мнѣнію литераторовъ, художниковъ, артистовъ,—нѣтъ, не можетъ быть ни вкуса, ни ума, ни вѣрныхъ взглядовъ, ни добрыхъ чувствъ. Какъ будто „публика", это—идіотъ, кретинъ, больной moral insanity, что-то заслуживающее презрѣнія.

Во дни своей юности, увлекаясь сценой, я обратился къ покойному знаменитому артисту И. В. Самарину за совѣтомъ.

— Куда бы мнѣ поступить?

— Право, не знаю!—отвѣчалъ великій артистъ, безпомощно разводя руками.— *Въ театръ васъ не возьмутъ*, въ театръ берутъ изъ школы, а въ провинцію...

Онъ сдѣлалъ такой жестъ, словно отряхивалъ съ своихъ пухлыхъ рукъ что-то, во что нечаянно попалъ:

— Провинціи я совсѣмъ не знаю!

Онъ такъ и сказалъ. Не добавилъ „въ императорскій", въ „столичный", а просто сказалъ „въ театръ", словно не считалъ провинціальныхъ театровъ за театры и провинціальныхъ актеровъ за актеровъ.

Такъ, что-то такое. Чего коснешься,—а потомъ надо отряхнуть руки.

Эта фраза до сихъ поръ звучитъ въ моихъ ушахъ. Да оно, вѣроятно, и до сихъ поръ такъ, разъ на всероссійскомъ актерскомъ съѣздѣ М. Г. Савина, какъ объ особой своей примѣтѣ, говоритъ, что она счи-

таетъ провинціальныхъ собратій „земляками“, своими, равными.

Если бы это было не „особой“, а общей примѣтой, объ этомъ не стоило бы и говорить, — какъ никто, говоря о себѣ, не скажетъ со скромнымъ достоинствомъ:

— У меня есть носъ!

И удивительно, какъ быстро русскій человѣкъ выучивается презирать. Дайте любому пѣшеходу „своихъ“ лошадей, онъ сейчасъ же заведетъ резиновыя шины и начнетъ обдавать грязью съ ногъ до головы пѣшеходовъ. Первое чувство, которое просыпается у русскаго человѣка, когда онъ поднимается ступенью выше, это— чувство презрѣнія къ тѣмъ, кто только что стоялъ на одной ступенькѣ съ нимъ. И гоголевская городничиха была воистину „русской женщиной“, когда, мечтая о генеральствѣ, замѣтила мужу

— Ахъ, Антоша, ты всегда готовъ наобѣщать кому угодно! А тамъ, въ Петербургѣ, развѣ у тебя будетъ время помнить о всей этой мелкотѣ!

Таковы мы.

Десятки артистовъ на моихъ глазахъ изъ провинціальныхъ дѣлались императорскими, и надо было слышать, какимъ тономъ они говорили черезъ мѣсяцъ, черезъ день:

— Это не то, что въ провинціи, гдѣ „Гамлета“ съ двухъ репетицій играютъ. У насъ, на казенной сценѣ...

А одинъ, только что предебютировавъ весной и подписавъ контрактъ, отвѣчалъ на вопросъ, что онъ думаетъ дѣлать до начала службы:

— Поѣду за границу. У насъ, у императорскихъ, это принято! *Намъ* безъ этого нельзя. Освѣжаетъ.

Зато провинціальный актеръ, на вопросъ, почему онъ не старается пробраться на казенную сцену, отвѣчаетъ:

— Мнѣ еще въ *чиновники* рано. Послужить искусству хочется!

И слово „образцовая“ сцена всегда произносится не иначе, какъ въ кавычкахъ.

Дворяне кричатъ про купцовъ, про купчишекъ, про „лавочниковъ“:

— Чумазый идетъ! Колупаевы! Разуваевы!

А купцы, среди которыхъ много вчерашнихъ крѣпостныхъ всѣми силами души презираютъ дворянство:

— Ну-ка! Ну-ка, дворянчики!

Художникъ-импрессіонистъ, художникъ-декадентъ, художникъ-символистъ возбуждаетъ уйму презрѣнія у художниковъ просто, „настоящихъ художниковъ“

— Вы хорошенько ихъ, хорошенько! — говоритъ художникъ журналисту, разсказывая ему анекдотъ про „декадентовъ“

— Да за что же? За что? Ну, ищутъ новыхъ путей,— и пускай. Никому ничего дурного они этимъ не дѣлаютъ. Новыхъ путей въ искусствѣ искать всегда нужно.

— Какіе тамъ „новые пути“. Просто шарлатаны, мальчишки, безграмотная, бездарная, претенціозная дрянь! Карьеристы! Обезьяны! Оригинальничаютъ! Идіоты!

Даже: „мерзавцы!“

Спросите у художниковъ „новаго направленія“ про „стариковъ“:

— Рутинеръ! Выдохся! Ремесленникъ! Шаблонъ! Трафаретъ! Болванъ, которому вы въ голову не втешете никакой идеи!

Куда вы ни пойдете, вездѣ васъ охватитъ эта атмосфера взаимнаго презрѣнія, которой живутъ, дышатъ, въ которой задыхаются люди

Пойдете хоть на репетицію оперы, гдѣ нѣтъ ничего, кромѣ „звуковъ сладкихъ“.

Оркестръ презираетъ пѣвцовъ, „музыкальныхъ неучей“, „безграмотный народъ“; пѣвцы смотрятъ на музыкантовъ оркестра, какъ на лакеевъ, обязанныхъ нести шлейфъ аккомпанемента за ихъ „божественными нотами“.

Что мнѣ сказать о журналистахъ?

Полемизировать у насъ значитъ—ругаться. Но ругаться непремѣнно презрительно.

Полемизируя, журналистъ высказываетъ непремѣнно презрѣніе и желаетъ въ другихъ вызвать именно презрѣніе къ противнику.

Въ роскошнѣйшей изъ лондонскихъ гостиницъ „Savoya-Hotel“ я просилъ въ конторѣ поставить мнѣ въ номерѣ письменный столъ.

„Для писанія, сэръ, у насъ есть writting-room! Въ первомъ этажѣ!—отвѣчалъ мнѣ управляющій.

— Да, но тамъ нельзя курить. А я привыкъ курить, когда пишу!

Управляющій улыбнулся съ сожалѣніемъ, какъ на вздорную просьбу маленькаго ребенка, и пожалъ плечами; „Что жъ, молъ, дѣлать! Надо отвыкать!“

— Да вѣдь мнѣ не письма писать надо!—съ отчаяніемъ воскликнулъ я.—Мнѣ статьи! Я журналистъ!

— Журналистъ!

Управляющій моментально измѣнился:

— Это другое дѣло. Вы къ какому столу привыкли, сэръ? Дать вамъ бюро или конторку? Поставить прямо передъ окномъ или бокомъ къ окну? Какъ вамъ удобнѣе?

И когда я вернулся часа черезъ 2 домой, у меня въ номерѣ стоялъ отличнѣйшій письменный столъ съ прекраснымъ приборомъ, съ массой бумаги, перьевъ, ручекъ, карандашей.

Когда я выходилъ, управляющій поймалъ меня. Все ли такъ устроено, какъ я привыкъ, какъ я люблю.

— Благодарю васъ! Благодарю васъ! Вы слишкомъ безпокоитесь.

— О, нельзя! У васъ, у литераторовъ, есть масса привычекъ, нарушать которыя нельзя.

А около Владивостока туземный милліонеръ, принимая меня въ своемъ имѣніи и не зная, конечно, что я

журналистъ, спросилъ, когда я заговорилъ съ его дочерью объ одномъ знаменитомъ русскомъ писателѣ:

— А его не бьютъ?

— За что?!

— А вотъ... Зачѣмъ пишетъ?

Это два полюса.

Между ними расположена страна, гдѣ родился этотъ чудный разсказъ о двухъ пріятеляхъ, которые, узнавъ, что подъ окномъ бьютъ корреспондента, сказали:

— Знаешь, что! Допьемъ сначала чай!

Пишешь каждый день, ничего другого не дѣлаешь, только пишешь, и часто думаешь:

— Что я дѣлаю: добро или зло? И вдругъ я „какъ разъ наоборотъ": частица силы той, которая, стремясь къ добру, творитъ одно лишь зло?

Хотите откровеннаго мнѣнія?

Желаете, чтобы кого-нибудь законопатили въ каторгу, — попросите журналиста за него заступиться.

И чѣмъ горячѣе онъ будетъ за него заступаться, тѣмъ вѣрнѣе человѣка законопатятъ.

— Развѣ можно поступать такъ, „какъ желаютъ гг. журналисты!"

Хотите провалить какой-нибудь проектъ, — просите журналистовъ, чтобы они во-всю защищали его въ печати.

Успѣхъ несомнѣнный!

Проснется гордость, проснется протестъ.

— Чтобы подумали, что мы идемъ по указкѣ прессы?!

Есть ли что-нибудь оскорбительнѣе предположенія, „что слушаютъ какихъ-то писателишекъ", что „словно боятся какихъ-то литераторишекъ".

Вѣдь это „обыватели" даже будутъ смѣяться! Ибо, что для обывателя писателишка?

Зато среди журналистовъ нѣтъ обвиненія ужаснѣе:

— Фи, батюшка, какая у васъ „обывательщина!" Какіе у васъ „обывательскіе" взгляды!

Какъ будто этотъ бѣдный, налоги платящій, всѣ тяготы несущій, всѣхъ насъ содержащій, „обыватель“ и не имѣетъ права требовать, чтобы мы занялись его интересами. Какъ будто у этого „обывателя“ не можетъ даже быть другихъ взглядовъ, кромѣ подлыхъ, глупыхъ,—какъ будто ужъ преступленіе высказать то, что думаютъ тысячи добрыхъ, честныхъ, трудящихся людей.

Но „обыватель“ для писателя такой же предметъ величайшаго презрѣнія, какъ „писателишка“ для обывателя.

* * *

Мы далеко ушли отъ темы г. Кирѣева о „надлежащемъ“ подстрѣливаніи людей, недостаточно уважающихъ чужую личность.

Но мы все время говорили о ней же.

Г. Кирѣевъ говоритъ только объ офицерской средѣ, и объ этой болѣзни — о „недостаточности уваженія“ только въ офицерской средѣ.

Но мы думаемъ, что спеціально офицерскихъ болѣзней нѣтъ, какъ есть, напримѣръ, болѣзни спеціально дамскія.

И въ офицерской средѣ сказывается только та же самая болѣзнь, которая свирѣпствуетъ во всемъ русскомъ обществѣ.

И не подстрѣливаніемъ, хотя бы и самымъ „надлежащимъ“, отдѣльныхъ субъектовъ исцѣлится эта болѣзнь...

Что ужъ тутъ говорить о „недостаткѣ взаимнаго уваженія“, когда главнѣйшій элементъ русской жизни, это— взаимное презрѣніе.

Я люблю мою родину, какъ можно любить темную, душную, но родную хату, и, любя, не смѣю ей льстить.

Если бъ меня спросили, что за страна Россія, — я смолчалъ бы, но подумалъ:

„Это страна, гдѣ всѣ другъ друга презираютъ“.

Почему?

Темная Русь.

Темная Русь... Какая обширная, печальная, какая горькая тема. Но я не хочу, чтобъ въ моихъ чернилахъ была хоть капля желчи и не желаю васъ обидѣть, сказавши:

— Петербургъ и Россія далеки другъ отъ друга.

Я скажу:

— Петербургъ и *остальная* Россія такъ далеки другъ отъ друга, словно они стоятъ по сторонамъ какого-то огромнаго-огромнаго оврага.

Тѣ люди, которые стоятъ тамъ, по ту сторону этого оврага, кажутся вамъ такими маленькими, такими ничтожными.

Но вѣдь отъ нихъ до васъ разстояніе такое же, какъ и отъ васъ до нихъ, законъ перспективы одинаковъ и для нихъ и для васъ, и вы имъ кажетесь тоже не такими, каковы вы на самомъ дѣлѣ.

Въ одесской тюрьмѣ я бесѣдовалъ съ Ковалевымъ, несчастнымъ „героемъ“ той страшной трагедіи, которая разыгралась въ Терновскихъ плавняхъ.

Кроткаго, добраго Ковалева полюбила вся тюрьма.

Тихимъ, печальнымъ голосомъ разсказывалъ мнѣ этотъ рябой, простоватый паренекъ, какъ онъ закапывалъ въ землю живыхъ людей.

Это „спасительное“ дѣло было поручено ему, потому что онъ былъ постникомъ и оставался дѣвственникомъ до женитьбы. На „Божье дѣло“ самымъ достойнымъ признали его.

Закопавъ живьемъ въ землю своихъ односельчанъ, онъ долженъ былъ самъ заморить себя голодомъ. Всѣ рѣшили умереть.

Онъ рылъ яму въ погребѣ, и въ нее ложились люди въ саванахъ, съ восковыми свѣчами въ рукахъ.

— Простите меня, православные! — кланялся имъ въ ноги Ковалевъ.

— Насъ прости! Зарой, Бога для! — отвѣчали они.

Онъ подходилъ, трижды цѣловалъ каждаго, прощался съ живыми, какъ съ покойниками, и брался за заступъ.

Они пѣли похоронныя пѣснопѣнія, отпѣвали себя, молясь за себя, какъ за умершихъ.

Ковалевъ начиналъ зарывать ихъ съ ногъ:

— Можетъ, кто раздумаетъ и попроситъ, чтобъ не зарывать.

Но они ни о чемъ не просили, лежа живые въ могилѣ,—они пѣли, пока могли, шептали молитвы, осѣняли себя двуперстнымъ сложеніемъ крестнаго знаменія, пока Ковалевъ медленно засыпалъ ихъ землей, ожидая стона или мольбы.

Ни стона ни мольбы до послѣдней минуты...

И онъ торопился забросать комьями земли почернѣвшія лица, сравнивалъ и утаптывалъ землю надъ погребенными. И шелъ домой молиться и поститься, чтобъ завтра похоронить еще десять живыхъ людей.

— Зачѣмъ?

— Потому началось ужъ исчисленіе *). Пришла бумага, а на ней начертано „Покой“ „Покой“, сирѣчь „печать“. И каждаго надо было прописать, кто такой и сколько годовъ. И сказано было, что исчислять всѣхъ людей въ одинъ день, и каждому значилась на его бумагѣ „печать“. Начали думать, какъ ослобониться: не писаться да не писаться. На томъ и порѣшили. А тутъ

*) Перепись.

разговоръ пошелъ. кто исчисляться не будетъ, тѣхъ въ острогъ сажать будутъ, и въ Питерѣ ужъ, слышно, такая машинка выдумана, чтобы человѣка на мелкія части рубить. Возьмутъ въ острогъ да въ машинкѣ мелко-намелко и изрубятъ. Ну, и рѣшили, чтобъ похорониться.

И онъ зарылъ десятки своихъ односельчанъ, своихъ родныхъ, свою жену, своего ребенка.

— Насчетъ ребенка разговоръ былъ. Рѣшили-то похорониться по доброй волѣ, кто хочетъ. А ребенокъ махонькій, грудной,—у него воли нѣтъ. Какъ быть? Да жалость взяла, рѣшили похоронить: зачѣмъ младенца оставлять, чтобъ его изрубили...

И все изъ-за боязни машинки, которую выдумали и прислали изъ Петербурга.

— Ну, хорошо. Ну, вотъ теперь ты который мѣсяцъ сидишь въ острогѣ. Видишь вѣдь, что никакой такой машинки, „чтобъ людей рубить", нѣтъ?

— Теперь-то вижу!

Его лицо поблѣднѣло, въ глазахъ, полныхъ слезъ, засвѣтилось столько страданія, его голосъ такъ задрожалъ, когда онъ тихо сказалъ: „Теперь-то вижу", что ужасъ сжалъ сердце.

Я коснулся самаго больного мѣста его души.

Заживо похоронивъ десятки людей, жену, ребенка,— онъ узналъ, что все это было не для чего, что десятки жизней онъ погубилъ напрасно.

И все это узнать послѣ того, какъ преступленіе уже совершено. Узнать такъ поздно.

Когда я выходилъ изъ тюремнаго замка, мнѣ слышалась фраза Митрича изъ „Власти тьмы".

— „Мужикъ.—тотъ въ кабакѣ или зàмкѣ что-нибудь да узнаетъ"...

И отъ нея вѣяло всѣмъ ужасомъ правды.

На Сахалинѣ, въ тюрьмѣ при селеніи Михайловскомъ для богадѣльщиковъ и подслѣдственныхъ, я познакомился съ Сайфуттиномъ.

Казанскій татаринъ, фанатикъ-мусульманинъ. Онъ принадлежитъ къ сектѣ, которая называется „Вайсовымъ полкомъ", и числится „полковникомъ" этого полка.

Маленькій, тщедушный, съ яснымъ взглядомъ добрыхъ коричневыхъ глазъ,— въ немъ никто не призналъ бы знаменитаго фанатика.

Онъ добродушенъ, мягокъ, уступчивъ, сговорчивъ во всемъ, что не касается его убѣжденій.

Въ отдѣленіе для ни къ чему неспособныхъ каторжанъ-богадѣльщиковъ онъ попалъ, пройдя черезъ длинный рядъ мытарствъ. Онъ посидѣлъ въ кандальныхъ тюрьмахъ, былъ въ больницѣ для умалишенныхъ, подвергался всевозможнымъ наказаніямъ.

Лишь только его привезли на Сахалинъ,— съ перваго же шага онъ началъ оказывать неповиновеніе: ни за что не хотѣлъ снимать шапку ни предъ какимъ начальствомъ.

Его заковывали въ кандалы, его недѣлями держали въ темномъ карцерѣ на хлѣбѣ и на водѣ.

— Снимай шапку!

Ни за что!

— Не могу!

— Полоумный онъ, что ли!

Сайфуттина отдали на испытаніе въ психіатрическое отдѣленіе. Тамъ подержали его и выпустили:

— Совершенно здоровъ!

Опять началась борьба съ „неповиновеніемъ". Кончилось тѣмъ, что Сайфуттина въ карцерѣ вынули полуживымъ изъ петли.

Въ лазаретѣ съ нимъ разговорился заинтересовавшійся имъ докторъ,— и тутъ въ двухъ словахъ выяснилась вся причина „упорнаго неповиновенія" Сайфуттина.

Онъ „не могъ“, не можетъ снимать шапки ни предъ какимъ начальствомъ, потому что, по ученью его секты, обнажать голову можно только передъ царемъ.

И Сайфуттинъ готовъ былъ лучше поплатиться жизнью, чѣмъ воздать кому-нибудь царскую почесть.

Пусть ему прикажутъ броситься въ огонь,—онъ бросится, не задумываясь. Жизнь онъ, несомнѣнно, отдастъ безъ раздумья.

И только вѣра въ Аллаха для него выше.

Сайфуттинъ — участникъ „колокольнаго бунта“, бывшаго въ Казанской губерніи.

Въ татарскихъ деревняхъ поставили столбы и повѣсили колокола, чтобы бить въ набатъ на случай пожара.

Среди темной татарской орды пошли слухи:

— Нехорошо.

Хотятъ крестить всѣхъ татаръ.

— Вонъ ужъ и колоколовъ изъ Питера понаслали!

Начались волненія, сопротивленія властямъ — и Сайфуттинъ попалъ на Сахалинъ, какъ одинъ изъ главныхъ виновниковъ и зачинщиковъ бунта.

— Да вѣдь тебѣ никто и здѣсь не велитъ мѣнять твою вѣру, Сайфуттинъ!

— Нэтъ. Ныкто.

— Ну, и тамъ никто не велѣлъ!

— Хотэлы вэлэть; Питеръ колокола прислалъ.

Знакомясь въ Полтавѣ съ дѣломъ объ убійствѣ Комарова, я выслушивалъ отъ свидѣтелей, простыхъ людей, очень подробныя, очень обстоятельныя, очень точныя объясненія, гдѣ, когда они встрѣтили Скитскихъ въ роковой день.

— Что жъ вы не разсказывали всего этого такъ подробно на судѣ?

Люди только пожимаютъ плечами:

— Развѣ можно?! Изъ Питера приказъ пришелъ, чтобы въ пользу Скитскихъ больше трехъ минутъ никто говорить не смѣлъ!

— Да вы-то этотъ приказъ видѣли?

— Мы—люди маленькіе, намъ приказовъ показывать не станутъ. А только это ужъ такъ! Вся Полтава знаетъ. У кого хотите спросите.

Въ Аккерманѣ я обращался къ людямъ, потерявшимъ при взрывѣ казеннаго виннаго склада способность къ труду:

— Да вы ходатайствовали хоть о пособіи?

Машутъ рукой:

— Куда тамъ!

— Да почему же?

— Говорятъ, изъ Питера запрещено это дѣло поднимать!

Откуда же берется это представленіе о Петербургѣ?

Петербургъ непосредственно сталкивается съ остальной Россіей очень рѣдко, и при каждомъ такомъ столкновеніи пропасть, раздѣляющая ихъ другъ отъ друга, становится все шире и шире.

То, что я хочу разсказать вамъ, случилось „не въ Россіи“, а на далекой окраинѣ, на томъ же Сахалинѣ, но оно такъ типично, что заслуживаетъ быть разсказаннымъ.

На посту Корсаковскомъ, на югѣ Сахалина, проживаетъ ссыльная семья Жакомини. Они были сосланы давно изъ Николаева за убійство, отбыли наказаніе, состоятъ теперь крестьянами и ведутъ торговлю.

Одинъ изъ сыновей Жакомини женился на „свободной дѣвушкѣ“, т.-е. на дочери ссыльно-каторжныхъ. Жена его отравила, и сдѣлала это такъ открыто, что весь Корсаковскъ объ этомъ знаетъ.

Три года тому назадъ на Сахалинѣ еще не было спеціальныхъ слѣдователей. Слѣдствія поручались кому-нибудь изъ чиновниковъ, и тѣ чинили допросы черезъ пи-

сарей ссыльно-каторжныхъ, практически опытныхъ въ уголовныхъ дѣлахъ. Дѣло „молодой Жакоминихи“ попало къ уволенному теперь чиновнику С. Ему приглянулась молодая, смазливая „Жакоминиха“ — и въ результатѣ дѣло ея не двигалось ни на шагъ *).

Напрасно старики Жакомини обращались къ г. С. съ просьбами ускорить дѣло объ отравленіи ихъ сына. Отвѣтъ былъ каждый разъ:

— Молчать. Самихъ еще засажу!

Глупая бабенка „Жакоминиха“ ходила на свободѣ, рядилась и бахвалилась:

— Ничего-то мнѣ старики Жакомини сдѣлать не могутъ! За мной самъ С. каждый день, почитай, посылаетъ! Что ему скажу, то и будетъ!

Каторга, поселенье,— все было возмущено.

На каторгѣ, на поселеньѣ вырабатывается какое-то „помѣшательство на справедливости“. Это такъ естественно. Когда у людей остается очень мало правъ,— они начинаютъ дорожить еще больше этими крошечными остатками. И малѣйшая несправедливость чувствуется съ особою болью. Каторга состоитъ изъ людей, которые сами пришли сюда за убійства, и они хотятъ, чтобы то, что имъ вмѣнено въ вину, вмѣнялось въ вину одинаково всѣмъ, безъ исключенія. Они сами „жертвы справедливости“, и требуютъ, чтобъ справедливость одинакова была для всѣхъ.

— За что же насъ-то посылали, если она сдѣлала то же, что и мы, и ей ничего.

Я былъ тогда въ Корсаковскѣ. Ждали пріѣзда одного лица, и весь Корсаковскъ зналъ, что старики Жакомини подаютъ жалобу на лицепріятіе чиновника С.

---

*) Насколько ясны были улики противъ этой „Жакоминихи“, можно видѣть по слѣдующему: когда слѣдствіе отъ г. С. перешло къ другому чиновнику г. Б., тотъ немедленно счелъ нужнымъ посадить обвиняемую въ тюрьму.

Это лицо, которое должно было пріѣхать, ждали, какъ Бога. И во всемъ Корсаковскѣ не было другихъ разговоровъ.

Въ воздухѣ чуялось:

„Вотъ пріѣдетъ баринъ,
Баринъ насъ разсудитъ“...

Онъ пріѣхалъ.

Когда старикъ Жакомини, въ присутствіи г. С., подалъ пріѣхавшему жалобу,— пріѣхавшій, даже не прочитавъ жалобы, крикнулъ:

— Что? Жалоба на начальство? Въ ноги!

Жакомини стоялъ, какъ пораженный громомъ.

— Въ ноги г. С.! На колѣни! Проси, чтобъ онъ тебя простилъ, что ты на него жалуешься!

Старикъ Жакомини всталъ передъ г-номъ С. на колѣни, поклонился ему въ ноги и сказалъ:

— Простите!

Толпа молча смотрѣла.

Что чувствовалъ каждый,— судите сами.

Это происходило на далекой окраинѣ, „не въ Россіи“.

Но если бы знали всѣ, отъ небольшихъ чиновниковъ, посылаемыхъ для ревизіи, до крупныхъ чиновъ, съ какимъ нетерпѣніемъ ждутъ всегда тамъ, въ этой бѣдной, въ этой темной провинціи пріѣзда каждаго человѣка „изъ Петербурга“.

Сколько надеждъ возлагается на каждый такой пріѣздъ! Какъ волнуются, ожидая этого пріѣзда. Какъ ждутъ облегченія своихъ бѣдъ, своихъ нуждъ, разрѣшенія своихъ жалобъ.

Сколько свѣта ждутъ!

Она темна, она невѣжественна,— эта обширная, эта безпредѣльная неграмотная „провинція“.

Тамъ и до сихъ поръ пишутъ еще жалобы:

— „Его высокоблагородной свѣтлости господину финансову“...

Дѣйствительно, чортъ знаетъ, что такое! И титула такого нѣтъ!

Эти неграмотные люди все еще,—остатокъ старыхъ временъ! — все еще увѣрены, что „бумаги" надо писать „поцвѣтистѣе" да „позаковыристѣй".

Трудно бываетъ добиться толку отъ этихъ цвѣтистыхъ бумагъ, уснащенныхъ еще по-старинному:

— „Посему"... „поелику"... „такъ какъ на точномъ основаніи"... „имѣю честь всепокорнѣйше обратиться съ ходатайствомъ о неостановленіи"...

Трудно бываетъ найти сущность подъ этими грудами цвѣтовъ старинняго канцелярскаго краснорѣчія.

Но подъ этими неграмотными, выраженіями несуществующими титулами, отжившими свой вѣкъ канцелярскими фразами таятся живыя человѣческія страданія, живыя человѣческія надежды.

Много правды и много исканій правды подъ этими грудами исписанной „многословіемъ" бумаги.

Не отталкивайте же отъ себя этихъ грудъ!

Немножко снисходительности, немножко терпѣнія, немножко доброты, вниманія къ этимъ жалобамъ, бѣдамъ и нуждамъ провинціи.

Вѣдь васъ такъ ждали!

Прислушайтесь къ тому, что говоритъ вамъ не совсѣмъ складно, часто запутанно и туманно, этотъ неграмотный человѣкъ. И яснымъ умомъ и добрымъ сердцемъ отгадайте его нужды, его горе.

Немножко доброты, немножко вниманія къ тѣмъ жалобамъ и просьбамъ, которыми „осаждаютъ" въ провинціи. И на первое время и этого будетъ довольно.

И съ каждымъ разомъ будетъ все слабѣе и слабѣе эта туманная туча, поднимающаяся изъ пропасти, отдѣляющей Петербургъ отъ остальной Россіи.

Эта туча, мѣшающая вамъ видѣть ихъ, а имъ видѣть васъ такими, каковы вы есть.

Исторія одного борова.

(Святочный разсказъ).

Это было въ рождественскій сочельникъ утромъ.

Вавочка, забравшись въ кухню, игралъ съ поросеночкомъ.

А кухарка Акулина читала въ „Листкѣ“ про буровъ, плакала и ругательски ругала Чемберлэна:

— Совсѣмъ мой подлецъ! Бабъ колотитъ! А? Не варваръ?

Поплакавъ, она впала въ меланхолическое настроеніе.

Меланхолически и разсѣянно посмотрѣла на часы, сказала:

— Надоть готовить!

Меланхолически и разсѣянно взяла Вавочку и зарѣзала. Меланхолически и разсѣянно его выпотрошила и положила въ кастрюлю вариться.

А поросенку дала шлепка:

— Генеральское дитя, а по куфнямъ шляешьси!

И, несмотря на отчаянный визгъ, отнесла къ нянькѣ:

— Возьми пащенка!

Нянька дала поросенку тоже шлепка и положила въ Вавочкину постельку:

— Лежи, подлый!

Она думала въ это время:

— Подарятъ на праздникъ шерстяного или подлость?

Поросенокъ отъ визга и отъ побоевъ заснулъ въ Вавочкиной постелькѣ.

А Вавочка въ это время ужъ закипалъ въ кастрюлѣ.

Такъ произошла эта замѣна, имѣвшая для поросенка большія послѣдствія.

Какъ никто не замѣтилъ этой замѣны,—можно объяснить только праздничнымъ временемъ, когда всѣмъ „не до того“.

Когда вечеромъ на ужинъ подали Вавочку подъ хрѣномъ и сметаной,—Вавочка возбудилъ всеобщій восторгъ.

Всѣ ѣли его съ удовольствіемъ.

А генералъ Бетрищевъ, съѣвъ ребрышко, попросилъ еще и заднюю ножку:

— Не поросенокъ, а, прямо, младенецъ!

На что матушка Вавочки съ гордостью отвѣтила:

— Свой!

Это слово заставило генерала Бетрищева даже вздохнуть:

— „Свой“! Это напоминаетъ доброе, старое, помѣщичье время!.. Тогда хоть свиньи-то настоящія водились. А теперь что? Что за время? И свиней даже настоящихъ нѣтъ!

На что Вавочкинъ отецъ, большой острякъ, замѣтилъ:

— Свиней нѣтъ,— передъ свиньями!

И взялъ себѣ „переднюю ножку“.

А поросенокъ, между тѣмъ, игралъ съ дѣтьми.

Передъ тѣмъ, какъ съѣхаться дѣтямъ, его разбудили, одѣли въ чистенькое, нарядное платьице.

И одно только было странно: младенецъ ни за что не хотѣлъ стать на ножки, а бѣгалъ по комнатѣ на четвереренькахъ.

Сколько его ни уговаривали:

— Вавочка, не надо на четвереренькахъ бѣгать. Бяка! Вавочка, стыдно мальчику подъ кровать бѣгать. Ляка это! Покажи, какъ Вавочка на ножкахъ ходитъ. Сдѣлай тпруа!

Младенецъ, несмотря на уговоры, бѣгалъ на четвереренькахъ.

— Ахъ, какой онъ потѣшный! — радовалась мать, глядя на него.

Поймала его, осыпала поцѣлуями.

— Ангельчикъ мой! Жизнь моя! Кровь моя!

И прижала къ любящему материнскому сердцу, замиравшему отъ нѣжности и счастья.

Къ гостямъ „Вавочку" вывели подъ ручки.

— Онъ у насъ сегодня капризничаетъ, ляка-бяка!

И поросенокъ сразу имѣлъ колоссальный успѣхъ.

— Херувимчикъ! — воскликнула одна дама. — Прямо херувимчикъ!

— Вылитый, вылитый отецъ!—восторгнулась другая.

А генералъ Бетрищевъ сдѣлалъ ребенку „козу" двумя пальцами и сказалъ:

— Молодчина бутузъ! Я самъ въ его годы такимъ былъ!

Тутъ поросенокъ завизжалъ, и всѣ воскликнули:

— Будущій Мазини!

Дѣти, приглашенныя на елку, были въ восторгѣ отъ представленнаго имъ поросенка.

Вѣдь съ самаго дѣтства мы любимъ больше животныхъ, чѣмъ людей.

Никогда еще у дѣтей не было товарища болѣе занятнаго и веселаго.

Его сразу полюбили всѣ.

А особенно маленькій графчикъ Завихряйскій.

Маленькій графчикъ сразу влюбился въ товарища, бѣгавшаго на четверенькахъ.

— Онъ смѣсной!

И принялся даже самъ бѣгать на четверенькахъ.

И это на всю жизнь! Онъ полюбилъ и привязался сильно.

А это играло огромную роль въ жизненной карьерѣ поросенка,— потому что всѣ, кто соприкасался съ семьей Завихряйскихъ, дѣлались отъ этого дѣйствительными статскими совѣтниками.

Дѣти никогда, ни на одной елкѣ, такъ не веселились, и когда ихъ взяли развозить по домамъ, подняли страшный ревъ:

— Не хотимъ! Съ Вавоськой хотимъ иглать! Мы Вавоську любимъ!

— Ахъ, какой вашъ Вавочка милый! Какой онъ милый!—восторгались родители.

Такимъ образомъ, при первомъ же появленіи въ „свѣтъ" поросенокъ имѣлъ успѣхъ рѣшительный у старыхъ и у малыхъ,— у всѣхъ.

Особенное изумленіе онъ вызвалъ у всѣхъ, когда воскликнулъ вдругъ:

— Хрю!

Всѣ всплеснули руками:

— Геніальный ребенокъ!

— Въ два года. А?—обращались изумленные гости другъ къ другу.

И за „младенцемъ" съ тѣхъ поръ установилось прозвище:

— „Хрю".

— Онъ далеко пойдетъ!—говорилъ отецъ.

А матери уже рисовались тѣ успѣхи, которые будетъ имѣть ея Хрю, ея кровь, у свѣтскихъ дамъ.

Не проходило дня, чтобы Хрю куда-нибудь не отпрашивали.

— Дорогая Екатерина Васильевна! Ради Бога, пришлите къ намъ вашего милаго, милаго „Хрю". Мой Кока прямо не можетъ безъ него жить.

— Голубчикъ Екатерина Васильевна! Просто не знаю что дѣлать со своей Манечкой. Моя крошка прямо влюблена въ вашего Хрю. Ради всего святого, пришлите къ намъ его хоть на полчасика!

Такъ что на Хрю пришлось установить очередь и принимать абонементъ заранѣе.

— Милая и дорогая Анѳиса Яковлевна! Мой Хрю не можетъ быть у васъ раньше слѣдующаго четверга. На всѣ эти дни записанъ.

Такъ онъ сразу завязалъ и укрѣпилъ дружбу съ многочисленнымъ и самымъ лучшимъ обществомъ.

Графъ Завихряйскій, и тотъ, самъ, пріѣзжалъ за Хрю въ каретѣ:

— Мсй балбесъ жить не можетъ безъ вашего Хрю.

Взялъ къ себѣ отца Хрю и тянулъ его изо всѣхъ силъ по службѣ, чтобъ только не разставаться.

— Что подѣлаешь! Когда мой балбесъ безъ его Хрю не можетъ жить!

— Въ такихъ годахъ и уже родителямъ помогаетъ! — со слезами говорилъ отецъ Хрю.

До четырехъ лѣтъ поросенокъ не говорилъ.

— Странно!— обезпокоились родители и повезли его къ профессору въ Берлинъ.

Профессоръ въ Берлинѣ осмотрѣлъ его, подрѣзалъ что-то подъ языкомъ и послалъ къ профессору въ Вѣну.

Профессоръ въ Вѣнѣ посмотрѣлъ, вырѣзалъ какую-то железку и послалъ къ профессору во Франкфуртъ.

Профессоръ во Франкфуртѣ что-то ему прижегъ.

И поросенокъ началъ говорить.

Съ нѣкоторымъ трудомъ. Но на трехъ языкахъ.

Ходить на заднихъ лапкахъ Хрю выучился, конечно, раньше. Такъ что производилъ вполнѣ впечатлѣніе мальчика изъ хорошей семьи.

Хрю взяли сначала двухъ гувернантокъ, потомъ двухъ гувернеровъ.

Всѣхъ, служившихъ раньше въ лучшихъ домахъ.

И всѣ они были въ восторгѣ отъ Вавочки-Хрю.

— Рѣдко попадается такой способный ученикъ!

Правда, Хрю былъ не особенно быстръ въ соображенiѣ. Особенно, если приходилось рѣшать ариѳметическія задачи.

Но онъ всегда сидѣлъ, потупивъ голову, ходилъ, глядя подъ ноги.

— Sehr, sehr ernsthafter Knabe!—говорилъ нѣмецъ-гувернеръ.

— Нда-съ, не верхоглядъ! —съ хвастовствомъ восклицалъ отецъ.—Не верхоглядъ-съ!

Къ десяти годамъ Вавочка-Хрю былъ „подготовленъ", и его отдали въ хорошее закрытое учебное заведеніе.

Тамъ онъ тоже сразу привлекъ къ себѣ всеобщія симпатіи.

Учащихъ—серьезностью и отсутствіемъ верхоглядства. Учащихся — умѣньемъ бѣгать на четверенькахъ и неподражаемо говорить:

— Хрю!

Заведеніе было такое, гдѣ, главнымъ образомъ, обращалось вниманіе на „духъ".

И духъ Вавочки-Хрю приводилъ всѣхъ въ восторгъ.

— Будетъ истинный хранитель нашихъ традицій! Духъ товарищества въ немъ развитъ. Посмотрите! За товарищами такъ и бѣгаетъ. Такъ и бѣгаетъ!

Къ 16 годамъ относится очень важное событіе въ жизни Хрю.

Его родителей давно уже безпокоило одно загадочное обстоятельство.

У ихъ ребенка былъ хвостикъ. Правда, небольшой, но хвостикъ. И притомъ закорючкой.

Отецъ смотрѣлъ на это философски:

— А чортъ съ нимъ, что хвостикъ. Не видать!

Но мать подолгу плакала, думая:

„А какъ же успѣхи у свѣтскихъ..."

Когда Хрю исполнилось 16 лѣтъ, его повезли въ Парижъ къ знаменитому профессору-хирургу,

Знаменитый профессоръ - хирургъ посмотрѣлъ, сказалъ:

— Пустяки! Сейчасъ отрѣжемъ!

И для успокоенія показалъ въ спирту 666 такихъ же хвостиковъ закорючкой, которые онъ отрѣзалъ за послѣднее время.

— Это встрѣчается теперь часто!

Хвостикъ былъ отрѣзанъ, и всякая связь съ прошлымъ была, такимъ образомъ, порвана.

Окончивъ заведеніе, Хрю вступилъ въ жизнь не то кандидатомъ на что-то, не то исполняющимъ какія-то особыя порученія.

Теперь онъ былъ Хрю только для одного графа Завихряйскаго, Вавочка для товарищей, Василій Петровичъ для остальныхъ.

Молодой человѣкъ, пріятной полноты, въ пенснэ. Профиль — не то, чтобъ особенный, но дамы находили, что въ немъ есть что-то, если не римское, то все-таки „noble".

Голова всегда скромно опущена, и глаза скромно въ землю.

Что очень нравилось.

— Рѣдкій молодой человѣкъ! Съ правилами!

Только въ одномъ случаѣ эти скромно опущенные глаза подымались и сверкали даже злымъ огонькомъ.

Василій Петровичъ самъ не понималъ, почему это.

Но когда при немъ произносилось слово „грязь", — ему вдругъ начинало казаться, словно у него хотятъ отнять что-то очень дорогое.

Стоило произнести это слово, какъ Василій Петровичъ вдругъ начиналъ безпокоиться, маленькіе глазки его метали молніи.

— Грязь-съ! Такъ что же такое-съ? Своя грязь, родная-съ! И въ грязи проживемъ-съ. Свое-съ! Свое!

Это производило чрезвычайно пріятное впечатлѣніе.

— Конечно, молодъ, горячая голова, увлекается. Но въ основѣ это имѣетъ хорошую, хорошую подкладку! Все лучше, чѣмъ предпочтеніе чужого своему! На от-

личной дорогѣ молодой человѣкъ! Прекраснаго образа мыслей!

Другое, что смущало Василія Петровича,—это то, что время отъ времени онъ вдругъ почему-то уставалъ ходить, стоять, сидѣть. Ему вдругъ неудержимо хотѣлось стать на четвереньки.

До того неудержимо, что разъ онъ, дѣйствительно, не удержался.

Явившись съ какимъ-то особымъ порученіемъ къ очень важному и утомленному дѣлами лицу, Василій Петровичъ вдругъ сталъ на четвереньки, пробѣжался по кабинету, взвизгнулъ, хрюкнулъ, ткнулъ важное лицо носомъ въ колѣнку и почесалъ спину объ уголъ письменнаго стола.

— Совсѣмъ свинья!—радостно воскликнуло важное лицо и расхохоталось, да такъ, какъ не хохотало лѣтъ двадцать.

До слезъ.

— Да ты, братецъ, забавникъ. А? Спасибо, спасибо тебѣ. Развлекъ старика! Давно такъ весело не проводилъ времени. Это хорошо, это хорошо между дѣлами. Голова потомъ какъ-то свѣжѣе. Молодчинище!

И важное лицо приказало:

— Вы ко мнѣ, пожалуйста, всегда Василія Петровича съ докладами присылайте. Всегда!

И, входя въ кабинетъ, Василій Петровичъ всегда давалъ себѣ волю, бѣгалъ на четверенькахъ, чесался объ углы, хрюкалъ.

А важное лицо хохотало и кричало:

— Будетъ! Будетъ! Умру!.. Ой, батюшки! Смѣяться даже я началъ! Душой молодѣю.

Смущали еще и странные сны Василія Петровича.

Во снѣ никогда ничего, кромѣ свиней, онъ не видывалъ.

Снилась ему всегда свинья, а за ней двѣнадцать поросятъ. Подходила къ нему, толкала пятакомъ и говорила:

— Всѣ твои!

— Жениться надо! — рѣшалъ Василій Петровичъ.

И однажды, когда ему приснилась свинья съ четырнадцатью поросятами, поѣхалъ и сдѣлалъ предложеніе Зизи Звѣздинцевой.

Зизи Звѣздинцева — молодая дѣвушка, съ лицомъ англійской миссъ, съ глазами, ясными, какъ хрусталь, съ улыбкой чистой и, какъ ее называли, „святой",— занималась выжиганіемъ по дереву, помогала матери въ благотворительности, читала Катюлла Мендеса и Армана Сильвестра, спрашивая объясненія наиболѣе „туманныхъ мѣстъ" у гувернантки, отставной парижской кокотки, и часами разсматривала себя въ трюмо „безъ всего", улыбаясь загадочной и многое обѣщающей улыбкой.

Когда подруги спрашивали ее:

— Почему ты идешь за Василія Петровича?

Она отвѣчала:

— Il est très, très cochon!

Эта свадьба была истиннымъ праздникомъ для всѣхъ благомыслящихъ людей въ свѣтѣ.

— Такая пара! Молодой человѣкъ такихъ правилъ и дѣвушка такой добродѣтели!

Многіе даже плакали.

Василій Петровичъ блестяще шелъ по службѣ и блестяще въ денежныхъ дѣлахъ.

Онъ зарабатывалъ огромныя деньги голосомъ.

Конечно, это не былъ голосъ Мазини, голосъ Баттистини, — это былъ просто обыкновенный поросячій визгъ, достаточно звонкій и пронзительный.

Когда „оживлялась" отечественная промышленность и возникало новое нефтяное, золотое, каменноугольное дѣло,— Василій Петровичъ моментально начиналъ всюду и вездѣ визжать своимъ поросячьимъ голосомъ:

— А? Ивановское дѣло! Какъ же, знаю я ихъ!..

Тутъ помогало ему его происхожденіе.

У Василія Петровича была неудержимая страсть къ заднимъ дворамъ и мусорнымъ ямамъ.

Онъ вѣчно копался въ мусорныхъ ямахъ заднихъ дворовъ всѣхъ домовъ и на каждаго имѣлъ по какой-нибудь мерзости изъ мусорной ямы.

— Такой-то. А онъ то-то. Онъ то-то.

Слыша поросячій визгъ, всѣ оглядывались, невольно прислушивались.

А учредители новаго общества кидались къ Василію Петровичу:

— Досточтимый! Не хотите ли нѣсколько учредительскихъ акцій?

Чтобъ не дать ему навязжать всякой мерзости про новое общество.

Такъ Василій Петровичъ оказывался учредителемъ рѣшительно всѣхъ обществъ, какія только кто-нибудь учреждалъ.

Въ свѣтѣ только удивлялись разнообразію его талантовъ:

— Вездѣ онъ! Что за живой, что за отзывчивый человѣкъ! Что ни предпріятіе,—безъ него не обходится! Кто такъ работаетъ на пользу отчизны?

Онъ былъ даже и въ литературѣ.

Съ деньгами и положеніемъ, онъ сталъ посвящать свои досуги писательству.

И тутъ ему помогло происхожденіе.

Любя грязь всей душой, онъ всюду и вездѣ умѣлъ устроить грязную кучу.

Писалъ онъ объ опереточной примадоннѣ или о международномъ конгрессѣ, — онъ всюду умѣлъ приплести грязь и нагромождалъ ея столько, что его читатели захлебывались.

— Вольтеръ!

Такъ говорили болѣе начитанные.

И даже легкомысліе, съ которымъ онъ рылся въ грязи, только украшало Василія Петровича въ глазахъ всѣхъ.

Оно составляло пріятное добавленіе къ его дѣловитости и еще больше оттѣняло его добродѣтели.

И среди этихъ успѣховъ и блеска лишь одно трагическое обстоятельство смутило на секунду Василія Петровича.

Это было, когда умиралъ его отецъ.

Старику оставалось жить нѣсколько минутъ.

По лицу его разливались спокойствіе и мудрость смерти.

Василій Петровичъ сидѣлъ около.

Старикъ открылъ глаза, съ любовью посмотрѣлъ на сына и сказалъ:

— Вавочка! Я доставалъ и копилъ всю жизнь. Все остается тебѣ. Ты самъ достаешь тоже много. У тебя много всего. Вавочка, одно только слово: думай немножко и о душѣ.

И вдругъ у Василія Петровича явилось странное, непреодолимое желаніе хрюкнуть и ткнуть отца въ лицо пятачкомъ.

Онъ вскочилъ, ткнулъ отца пятачкомъ въ холодѣющее, желтое, словно восковое лицо и хрюкнулъ такъ звонко, какъ не хрюкалъ еще никогда. Старикъ поднялся. Глаза его были широко раскрыты.

Онъ взглянулъ на Вавочку съ ужасомъ, такъ, словно въ первый разъ видѣлъ это лицо.

Крикнулъ:

— Свинья!

И упалъ мертвый на подушки.

Гдѣ-то что-то шевельнулось у Василія Петровича.

Онъ вскочилъ отъ этого крика умирающаго.

Подбѣжалъ къ зеркалу, посмотрѣлъ, повелъ плечами и черезъ секунду ужъ спокойно сказалъ:

— Человѣкъ, какъ и другіе!

И полѣзъ въ письменный столъ отца посмотрѣть, въ полномъ ли порядкѣ духовная.

Это была одна трагическая минута среди ряда блестящихъ лѣтъ.

Василій Петровичъ взбирался все выше, выше, взобрался очень высоко, какъ вдругъ...

Какъ вдругъ по Петербургу разнеслась необыкновенная вѣсть.

— Василій Петровичъ, знаменитый Василій Петровичъ, „самъ Василій Петровичъ" легъ въ грязь, лежитъ и ѣстъ изъ корыта.

Это возмутило стариковъ:

— Чортъ знаетъ что такое! До какого свинства дошелъ человѣкъ!

Даже самъ графъ Завихряйскій, и тотъ сказалъ:

— Ну, ужъ это „Хрю" слишкомъ!

Старики были возмущены. Но молодое поколѣніе, всѣ эти кандидаты на должности и исполняющіе порученія, на стариковъ даже прикрикнули:

— Это въ васъ все вольтерьянство говоритъ!

И объявили:

— Какое смиреніе паче мудрости, — а, этакій человѣкъ, и въ грязь легъ! Какое самоуничиженіе: ѣсть не хочетъ иначе, какъ изъ корыта! Онъ, онъ, онъ недостойнымъ себя почитаетъ. Какой примѣръ! Какая сила духа! Да, не отъ міра сего человѣкъ!

И если прежде просто вѣрили Василію Петровичу, то теперь вѣрили въ Василія Петровича.

Время было такое. Воздухъ былъ такой.

Къ Василію Петровичу стекались, Василія Петровича спрашивали о дѣлахъ важныхъ, неважныхъ и важнѣйшихъ.

Были счастливы, если онъ издавалъ одинъ разъ:

— Хрю!

Это принимали, какъ „да“.

А если онъ издавалъ свое восклицаніе два раза:

— Хрю! Хрю!

Принимали это такъ: Василій Петровичъ сего не одобряетъ.

А Василій Петровичъ лежалъ себѣ въ грязи и хрюкалъ.

Какъ это случилось?

Всю жизнь Василій Петровичъ не могъ равнодушно пройти мимо грязи. Всю жизнь у него являлось при видѣ нея безумное желаніе:

— Лечь! Лечь! Лечь!

Но въ молодости Василій Петровичъ цѣной невѣроятныхъ усилій обуздывалъ въ себѣ это желаніе.

Придя въ возрастъ и достигнувъ всего, чего достигнуть могъ, онъ вспомнилъ объ одномъ, чего ему недоставало.

И тутъ ужъ не могъ не доставить себѣ этого удовольствія!

— Лягу!

И легъ. И потребовалъ, чтобы пищу ему давали непремѣнно изъ корыта.

Такъ возникъ этотъ „подвигъ“, который окончательно и безповоротно утвердилъ славу Василія Петровича.

И вотъ Василій Петровичъ умеръ.

Газеты писали:

„Мы потеряли идеалъ человѣка. Знаменитаго дѣятеля, великаго друга отчизны, отца многихъ полезныхъ начинаній, литератора, чье истинно вольтеровское остроуміе составляло такой интересный контрастъ съ дѣловитостью и добродѣтелями покойнаго. Наконецъ, мы потеряли человѣка, возвысившагося до подвига, — человѣка, къ голосу котораго мы прислушивались.“

А Василій Петровичъ лежалъ на столѣ, и его собирались вскрывать.

Тѣло надо было перевезти въ имѣніе, — и чтобъ оно не испортилось, рѣшено было бальзамировать.

Работали два профессора.

Какъ вдругъ одинъ изъ нихъ воскликнулъ:

— Коллега! Да вѣдь это, кажется, не человѣкъ, а свинья! Ей Богу, по всему строенію свинья!

Коллега посмотрѣлъ на него, вздохнулъ и сказалъ:

— Э-эхъ, коллега! Если всѣхъ насъ вскрыть, — сколько бы оказалось свиньями!

Они посмотрѣли другъ на друга, улыбнулись и продолжали работу.



Расплюевскіе веселые дни.

Расплюевъ. — ...Нѣтъ, говоритъ, шалишь, прошло ваше время. А въ чемъ же, Антіохъ Елпидифоровичъ, наше время прошло?

Охъ (*подстегивая шпагу*).—Врешь, купецъ Попугайчиковъ, не прошло еще наше время.

(*Расплюевъ подаетъ ему треуголку,—оба выходятъ въ необычайномъ духѣ*).

Дѣйствіе II, явл. XII.

Я очень радъ подѣлиться съ читателями пріятнымъ извѣстіемъ.

Нашъ старый добрый знакомый Иванъ Антоновичъ Расплюевъ живъ, здоровъ, невредимъ и снова переживаетъ свои „веселые дни".

Онъ состоитъ становымъ приставомъ въ Тамбовской губерніи и снова прогремѣлъ на всю Россію дѣломъ про „оборотня".

Совсѣмъ какъ и въ „Веселыхъ Расплюевскихъ дняхъ".

Остался все тотъ же.

Вы помните Расплюева, когда онъ былъ квартальнымъ?

Двѣ черты составляли его типичныя особенности.

Во-первыхъ, необычайная довѣрчивость ко всякимъ пакостнымъ исторіямъ.

Какую пакость ему ни разсказать.

— Я на это слабъ: всему вѣрю! — говоритъ Расплюевъ.

— Вы мнѣ вотъ скажите, что его превосходительство оберъ-полицмейстеръ на панели милостыню проситъ,— вѣдь я повѣрю. Нравъ такой!

Вторая особенность Расплюева — необузданная фантазія и способность впадать въ административный восторгъ.

— Будемъ свидѣтельствовать! — восклицаетъ онъ, узнавъ про оборотня.—Всю Россію потребуемъ! Я теперь такого мнѣнія, что все наше отечество, это—цѣлая стая оборотней, и я всѣхъ подозрѣваю! А потому и слѣдуетъ постановить правиломъ: всякаго подвергать аресту. Да-съ! Правительству вкатить предложеніе: такъ, молъ, и такъ, учинить въ отечествѣ нашемъ повѣрку всѣхъ лицъ: кто они таковы? Откуда?

— Крестъ мнѣ! Крестъ Георгіевскій!

Въ станѣ, ввѣренномъ Ивану Антоновичу Расплюеву, въ селѣ Болдаряхъ, проживаетъ богатый купецъ Бѣлкинъ.

Вотъ человѣкъ! Самъ Отелло сказалъ бы ему:

— Какой же вы, однако, Отелло!

Отелло, приревновавшій Дездемону къ Эмиліи.

Началось съ водевиля:

— „Отелло-Кузьмичъ и Дездемона-Панкратьевна“.

Дездемона - Панкратьевна получила отъ кого-то два письма безъ подписи.

Отелло-Кузьмичъ перехватилъ ихъ и нашелъ „сумлительными“.

Почеркъ показался ему похожимъ на почеркъ учительницы М. Г. Лавровской, молодой дѣвушки, 8 лѣтъ державшей въ селѣ Бондаряхъ школу.

И вдругъ у Отелло-Кузьмича мелькнула шалая мысль:

— А учительша совсѣмъ не учительша! А есть не кто иная, какъ переодѣтая мужчина!

Отелло-Кузьмичъ рыдалъ на груди у своего племянника купца Егорова.

— Учительшу мнѣ, Яго, учительшу!

Купеческій племяшъ утѣшалъ дяденьку, какъ могъ:

— Ахъ, дяденька! Солидные вы купцы, и столь убиваетесь! „Посмотрѣть" учительшу, да и все.

Отелло-Кузьмича эта мысль обрадовала:

— Посмотрѣть любопытно!

Но и испугала:

— А вдругъ влетитъ?

Племяшъ только руками всплеснулъ:

— Господи! Да неужели жъ мы это сами дѣлать будемъ? На это начальство есть. А Иванъ-то Антоновичъ Расплюевъ на что, нашъ становой? Ужли жъ становой купцу откажетъ? Да ни въ жисть! Примѣра такого въ исторіи, можно сказать, не было. Съ одной стороны — купецъ, съ другой—учительша какая-то! Купецъ! Всякій становой знаетъ, что такое купецъ. „Купецъ есть вещь". А учительша?

„Дрянь такая, которой, по-настоящему, и на свѣтъ-то родиться не слѣдовало бы", какъ говоритъ городничій про клоповъ.

И купеческій племяшъ побѣжалъ къ Ивану Антоновичу Расплюеву.

— Иванъ Антоновичъ, у насъ оборотень появился.

Иванъ Антоновичъ вскочилъ.

— Какъ? Что? Гдѣ?

— Учительша наша! Совсѣмъ не учительша. А оборотень! Мужчина въ женскомъ платьѣ-съ! Съ тетенькой моей романъ имѣетъ. Ребенка даже тетенька отъ учительши прижила! Вотъ и письмо-съ, — про ребенка пишутъ!

Исторія была достаточно пакостна, чтобы Иванъ Антоновичъ Расплюевъ сейчасъ же повѣрилъ.

— А что-съ? Вѣдь весьма возможно! Бываютъ такіе случаи. И даже книжки объ этомъ пишутъ. Господина

Поль де-Кока есть сочиненіе „Мальчикъ, котораго долго принимали за дѣвочку“, или что-то въ этомъ родѣ. Вотъ оно куда пошло!

Иванъ Антоновичъ Расплюевъ уже входилъ въ восторгъ.

— Поль де-Кокомъ пахнетъ!

Онъ былъ въ ажитаціи.

— Кланяйтесь отъ меня вашему дяденькѣ и успокойте эту во всѣхъ отношеніяхъ достойную личность! Слава Богу, на свѣтѣ есть Иванъ Антоновичъ Расплюевъ! Завтра же злодѣяніе будетъ открыто. И сей опасный оборотень, а также вурдалакъ, будетъ преданъ въ руки правосудія!

Иванъ Антоновичъ Расплюевъ горѣлъ, прямо горѣлъ:

— Вѣрно ли? Да какія же, чортъ возьми, могутъ быть сомнѣнія! Учительша! Личность, можно сказать, опасная, вредная и ужъ по самому ремеслу своему подозрительная! Восемь лѣтъ-съ живетъ въ селѣ. Восемь лѣтъ-съ! И не имѣетъ любовника. А па-азвольте васъ спросить, почему такая преступная скромность? Почему не имѣетъ любовника? Ясно! Потому, что она мужчина!

Иванъ Антоновичъ былъ внѣ себя!

— Нѣтъ-съ, дѣльце-то какое, дѣльце-то! Небывалое! Фуроръ! Въ первый разъ въ Россіи! Купеческая жена, учительша, ребенокъ, оборотень. Замыселъ-то какой! Замыселъ-то какой адскій! Лукавство-то какое, сверхъестественное! И кто вдругъ, такъ сказать — эврика? Иванъ Антоновъ сынъ, Расплюевъ—эврика! Всѣ газеты писать будутъ! На заграничные языки переведутъ! Въ Петербургѣ обо мнѣ знать будутъ! Побѣда! Громъ-съ! Слава! Въ исправники произведутъ!

У него духъ захватывало:

— Да что въ исправники! Не исправникомъ тутъ пахнетъ! Крестъ мнѣ за это! Оборотня, нетопыря, вур-

далака, мцыря открылъ! А тамъ и вкатить правительству предложеніе: пересмотрѣть всѣхъ до одного. Всѣхъ подозрѣваю. Нѣтъ въ нашемъ отечествѣ мужчинъ. Нѣтъ женщинъ. Всѣ мужчины переодѣты женщинами. Всѣ женщины одѣты мужчинами. Всѣхъ пересмотрѣть! Никому не вѣрю! Самого себя смотрѣть буду!

Всю ночь не спалъ Иванъ Антоновичъ въ административномъ восторгѣ.

Голова пылала, на груди горѣли какія-то звѣзды.

Передъ глазами носились какой-то Поль де-Кокъ, Лекокъ.

Чортъ знаетъ, что такое.

— Дѣдиньки мои! Доживу ли я до утра-то!

И утромъ, чуть свѣтъ, еще подозрѣваемая учительша спала, Иванъ Антоновичъ Расплюевъ созвалъ всѣхъ своихъ урядниковъ, Шаталъ, Качалъ, сотскихъ, понятыхъ и летѣлъ въ школу:

— Схватить. Связать. Раскрыть. Разоблачить.

Онъ грозилъ и умолялъ:

— Слышь? Хватай, держи его изо всей мочи, дуй, бей, ломай въ мою голову!

Шаталы и Качалы, „радые стараться", только съ удивленіемъ смотрѣли:

— Да кого же?

— Его! Его — то - есть учительшу. Потому что она есть не кто иная, какъ мужчина! Поняли? Оборотень! Государственное дѣло: „Дѣло по обвиненію учительши въ тайной принадлежности къ вредному обществу мужчинъ". Поняли?

Даже на Качалъ и Шаталъ столбнякъ нашелъ:

— Да какая же она мужчина, когда она женщина.

— А ты почемъ знаешь? Ты почемъ знаешь?

— Восемь годовъ живетъ и все была женщина, а тутъ вдругъ мужчиной исдѣлалась! Иванъ Антоновичъ, не быть бы въ бѣдѣ!

— Молчать! Не пикнуть! Не возражать, чортъ побери! А ты знаешь доподлинно, что она женщина? Онъ знаетъ? Кто знаетъ? Женщина, — такъ ты мнѣ покажи любовника, который бы удостовѣрилъ. Любовника имѣешь? Нѣтъ? А почему ты, въ противность законамъ природы, любовника не имѣешь? А?

— Оно дѣйствительно.

— То-то. Хватай оборотня!

Учительница Лавровская лежала въ постели, когда къ ней въ спальню постучалъ сотскій и сказалъ:

— Мнѣ надо передать вамъ письмо. Непремѣнно лично.

Это былъ тонкій планъ, созрѣвшій въ расплюевской головѣ.

Дѣвушка отперла дверь спальни и протянула руку.

Тогда сотскій и урядникъ кинулись въ спальню съ такою силой, что сорвали съ петель дверь.

Несчастная, на смерть перепуганная, дѣвушка кинулась отъ нихъ въ постель.

Урядникъ и сотскій сволокли ее съ постели въ одной рубашкѣ.

Несчастная сопротивлялась, — они хватали ее такъ, что тѣло ихъ жертвы было покрыто темно-багровыми кровоподтеками.

— Которые могли произойти отъ ударомъ палки или только очень сильныхъ нажимовъ руки, — говоритъ протоколъ медицинскаго осмотра.

Шатала и Качала, исполняя въ точности приказаніе Расплюева, колотили и ломали въ борьбѣ мебель.

Скрутили, наконецъ, свою жертву одѣяломъ и торжественно, какъ трофей, принесли въ школьный залъ.

Расплюевъ съ понятыми былъ тамъ.

— Что со мной дѣлаютъ? За что? — рыдала дѣвушка.

Но Расплюевъ былъ величественъ.

Онъ не удостоивалъ даже отвѣтомъ.

— Одѣть ее!

Тутъ ужъ было ясно, что это, несомнѣнно, „она“.

Узнали это, — и отвратительно узнали, — урядникъ и сотскій во время борьбы.

Знали это, — и отвратительно знали, — и всѣ присутствующіе, видя дѣвушку въ разодранной рубашкѣ.

Но Иванъ Антоновичъ Расплюевъ былъ въ восторженномъ умопомраченіи.

— Ничему не вѣрю. Себѣ не вѣрю. Глазамъ не вѣрю. Одѣвать! Волоки къ доктору! Пусть смотритъ!

Напрасно дѣвушка умоляла:

— Такъ дайте мнѣ пойти въ спальню одѣться.

— Нѣтъ! При насъ одѣвайтесь! При всѣхъ! Всѣ смотрѣть будемъ! Не разсуждать! Не я смотрю. Законъ смотритъ!

Сгорая отъ стыда, дѣвушка начала одѣваться подъ любопытствующими взглядами понятыхъ, урядниковъ, Расплюева.

— Одѣта? Шатала, волоки ее къ доктору!

Шатала силой усадилъ дѣвушку въ экипажъ и по селу, на потѣху толпы, повезъ рыдавшую, растерзанную дѣвушку къ доктору.

— Смотрѣть везутъ! Смотрѣть везутъ!

За Шаталой и ополоумѣвшей отъ стыда и ужаса дѣвушкой съ побѣдоноснымъ видомъ „слѣдовалъ“ Иванъ Антоновичъ Расплюевъ.

— Потрудитесь сейчасъ освидѣтельствовать сіе существо неизвѣстнаго мнѣ пола. Ибо сомнѣваюсь!

Докторъ наотрѣзъ отказался.

— Именемъ закона!

Расплюевъ въ эту минуту былъ торжественъ и величественъ.

— Требую именемъ закона!

Докторъ Салтыковъ уступилъ этому величію.

— Хорошо! Освидѣтельствую полъ!

Несчастная сопротивлялась, защищаясь отъ этого новаго поруганія.

Въ борьбѣ на ней изорвали платье и силой ее осмотрѣли.

— Женскаго пола! — объявилъ докторъ.

Расплюевъ извинился передъ дѣвушкой.

— Сейчасъ же извинился! — какъ свидѣтельствовалъ Расплюевъ передъ судомъ.

Извинился!

Расплюевъ бываетъ даже милъ!

Несчастная дѣвушка вернулась домой истерзанная, избитая, опозоренная и разоренная еще, вдобавокъ.

Раньше у Лавровской было 14 учениковъ. Къ „опозоренной“ учительшѣ перестали посылать дѣтей. Осталось 4 ученика.

Но и Расплюевъ былъ невеселъ.

Онъ производилъ обыскъ, но уже безъ увлеченія.

Извиняющійся Расплюевъ былъ похожъ на свѣже высѣченнаго щенка.

У Расплюева тряслись поджилки.

И Расплюевская мысль родилась въ головѣ:

— Сибирь!

Вы знаете, какъ Расплюевъ всегда боялся Сибири. Только Сибири онъ и боится.

— Сибирь! Конечно, Сибирь!

Когда онъ очухался послѣ всего происшествія, онъ схватился за голову:

— Дѣдиньки мои! Что я надѣлалъ!.. И телѣжку ужъ приготовили, чтобъ везти... Сибирь... Сибирь... Батюшки, и прокурора ужъ вижу! И прокурора!

И поднимается передъ нимъ страшный прокуроръ и, указуя перстомъ, говоритъ:

— Сей Иванъ, Антоновъ сынъ, Расплюевъ...

И рыдаетъ Иванъ Антоновичъ.

— Ваше превосходительство... Ваше... за что же? Ей Богу-съ... по долгу службы... объ отечествѣ заботился...

И вдругъ ему приходитъ въ голову геніально-расплюевская мысль:

— Учительша! А что, если насчетъ благонадежности?

И онъ ужъ смѣлѣе говоритъ:

— Отечество спасалъ! Подозрѣвалъ, не укрывается ли важный преступникъ!

И вдругъ Иванъ Антоновичъ снова хватается за голову:

— Батюшки! Мелю-то что, мелю-то! Ну, какой прокуроръ мнѣ повѣритъ, что я отечество спасалъ. А основанія-то къ подозрѣнію какія же были? Нельзя же, скажутъ, чортъ знаетъ что дѣлать, — а потомъ все на спасеніе отечества сваливать! А синяки? Тоже изъ усердія къ отечеству?

И новая расплюевская клевета просыпается въ расплюевской головѣ, и снова ему кажется:

— Вывернуся!

— Ваше превосходительство! Ваше... револьверъ у нея былъ! Ей Богу, револьверъ! Револьверъ, который стрѣляетъ. Потому единственно и подвергъ истязанію чрезъ Качалу и Шаталу, что самъ револьвера боялся. Всякая тварь жить хочетъ. Что жъ, мнѣ на револьверъ, что ли, лѣзть!

И снова ужасъ охватываетъ подбадрившагося было Расплюева.

— Что мелю! Что мелю! Да мнѣ всякій прокуроръ скажетъ: „Да былъ найденъ какой-нибудь револьверъ?“ Никакого револьвера не было! Кто мнѣ повѣритъ? Кто?

И передъ глазами у Ивана Антоновича статья 341 уложенія о наказаніяхъ:

И заключительныя ея слова:

— Ссылка въ Сибирь...

Прямо огненными буквами.

— Словно „мани, факелъ, фаресъ“. Бррр! И напишутъ же люди такую книгу, въ которой ничего утѣшительнаго нѣтъ! Дѣдиньки мои, дѣдиньки!

И вотъ насталъ страшный день.

День суда.

И насталъ самый страшный моментъ.

Поднялся прокуроръ.

Съежился Расплюевъ:

— Погибъ... Солдаты... Телѣжка...

Но что это?

Расплюевъ не вѣритъ своимъ ушамъ.

Это прокуроръ говоритъ?

„Товарищъ прокурора г. Шариковъ просилъ судъ отнестись къ подсудимому снисходительно, потому что онъ дѣйствовалъ въ убѣжденіи, что Лавровская дѣйствительно мужчина, и подъ ея именемъ скрывается важный уголовный или даже государственный преступникъ. Превышеніе обвиняемымъ власти не имѣло, по словамъ товарища прокурора, важныхъ послѣдствій. Почему представитель обвиненія предлагалъ примѣнить 343 статью вмѣсто 341, подъ которую было подведено преступленіе въ обвинительномъ актѣ“.

Послѣ такой рѣчи обвинителя, защитнику, присяжному повѣренному Ивинскому, только и оставалось сказать, что подсудимый дѣйствовалъ вполнѣ нравственно и законно, что никакого преступленія нѣтъ, что если бъ онъ поступалъ иначе, — вотъ было бы преступленіе!

Защитникъ это и сказалъ.

И Расплюевъ даже ущипнулъ себя, — не спитъ ли онъ? — когда услышалъ приговоръ:

— Вычесть шесть мѣсяцевъ изъ времени его службы...

— Только?

Нѣтъ еще!

— Гражданскій искъ Лавровской за сломанную мебель, за изодранное платье — оставить безъ удовлетворенія.

— И это даже?

Когда Расплюевъ выходилъ изъ суда, онъ встрѣтилъ Оха.

— Что, братъ, прошло наше время?— спросилъ Охъ.

— Нѣтъ, братъ! Врешь! Не прошло еще наше время! — радостно отвѣтилъ Расплюевъ. — Не кончились наши „веселые дни!“

Таково происшествіе съ „оборотнемъ“ въ Тамбовской губерніи.

Во всей этой исторіи, надо сознаться, оборотень-то все-таки есть.

Оборотень не умирающій, вѣчно живущій.

И этотъ оборотень — самъ искавшій оборотня становой.

Онъ зовется Алексѣемъ Михайловичемъ Крюковскимъ.

Нѣтъ. Это не кто иной, какъ нашъ старый знакомый — Иванъ Антоновичъ Расплюевъ.

Только подъ другимъ именемъ.



Дворянское гнѣздо.

> „Сдается на лѣто барская усадьба. Чудное мѣстоположеніе. Передъ усадьбой лугъ, позади усадьбы поле. Всѣ удобства. Лѣсъ. Паркъ. Роща. Болото. Цвѣтникъ. Фруктовый садъ. Дичь. Коровы. Прудъ. Рѣка. Озеро. Ключевая вода. Молоко. Яблоки. Груши. Сливы. Малина. Земляника. Лошади. Клубника. Объ условіяхъ узнать тамъ-то“.
>
> *Объявленіе въ газетахъ.*

14-го апрѣля.

На дачу въ этомъ году не поѣдемъ. Чортъ съ ней Одно безпокойство. Сниму гдѣ-нибудь усадьбу — и въ деревню. „Деревня лѣтомъ—рай“. Приказалъ всѣмъ въ домѣ читать объявленія.

15-го апрѣля.

Всѣ въ домѣ читаютъ объявленія. Объявленія даже во снѣ снятся. Жена сегодня ночью вскочила, глаза дикіе: „Мужъ, — говоритъ, — лакей, жена прачка. Каковъ ужасъ!“ И легла. У Коки жарокъ сдѣлался. Бредитъ „Мама! — кричитъ. — Мама! Горничная подняней ищетъ мѣсто!“ Мнѣ самому 22 чистыхъ кухарки снились.

16-го апрѣля.

Нашли! Объявленіе объ отличной усадьбѣ. Вода, молоко, творогъ, лошади и клубника. Все, что требуется. Надо поѣхать узнать.

17-го апрѣля.

Ѣздилъ. Нанялъ. Хозяйка оказалась вдова, дворянка. Благородное такое лицо. Одѣта небогато, но держитъ себя съ достоинствомъ. Вся въ черномъ, на головѣ такая наколочка. На театрѣ такъ преданную кормилицу Маріи Стюартъ изображаютъ. Чрезвычайно пріятная личность. Сдаетъ всю усадьбу, сама въ двухъ комнатахъ сзади будетъ жить.

— Привыкла, — говоритъ, — лѣто въ деревнѣ. Съ дѣтства.

И на глазахъ слезы. Даже трогательно.

— Надѣюсь, — говорю, — уживемся!

— И что вы, — говоритъ, — милостивый государь! Меня только не обидьте!

Оказывается, она въ первый разъ еще только усадьбу сдаетъ.

— И не сдала бы, — говоритъ, — да деньги нужны. Тридцать лѣтъ за мужа, за покойника, долги плачу, — никакъ всѣхъ заплатить не могу!

Запивоха, должно-быть, былъ, царство ему небесное! А она — дама благородная. Гораздо пріятнѣе съ благородной дамой дѣло имѣть, чѣмъ съ какой-нибудь дрянью.

Пріѣхалъ домой, говорю:

— Хозяйка будетъ у насъ почтенная, благородная особа. Радуйтесь!

Всѣ радовались. Кока даже изъ окна отъ радости выпрыгнулъ. Хорошо, что мы живемъ въ первомъ этажѣ.

18-го апрѣля.

Надо ковать желѣзо, пока горячо. Сегодня были у нотаріуса, контрактъ на лѣто сдѣлали. Деньги пришлось дать всѣ впередъ. Вдова просила. Ей очень нужны. Далъ.

— Благодарю васъ, — говоритъ, — каково это на старости-то лѣтъ отъ постороннихъ людей одолженія получать!

И у самой на глазахъ слезы. Фу-у, ты, чортъ! Самъ чуть было не прослезился. Такъ трогательно.

— Усадьба, — говоритъ, — зато полная чаша!

Это и хорошо. Поѣдемъ въ полную чашу.

2-го мая.

Пріѣхали въ полную чашу. Разбираемся. Вдова пріѣзжаетъ завтра.

3-го мая.

Вдова пріѣхала.

— Устроились? — спрашиваетъ.

— Устроились! — говоримъ.

— Ну, вотъ я и рада!

А сама вдругъ какъ разрыдается.

Что это съ ней?

4-го мая.

Вдова вчера весь день плакала и сегодня плачетъ.

5-го, 6-го, 7-го мая.

Вдова все еще плачетъ.

Ходили освѣдомляться, что съ ней.

— Ахъ! Не обращайте, — говоритъ, — вниманія!

Оно, конечно. Хотя ежели за тоненькой перегородкой цѣлый день ревутъ, — трудно не обращать вниманія.

Сегодня ночью со вдовой были истерическіе припадки. Хохотала на весь домъ.

Жена ходила успокоивать.

— Не обращайте, — кричитъ, — вниманія! Не обращайте вниманія! Что вамъ за забота? Вы заплатили деньги, и наслаждайтесь себѣ жизнью!

Гмъ. Насладишься!

8-го мая.

Вдова приходила съ извиненіемъ.

— Я, — говоритъ, — васъ, кажется, обезпокоила. Пожалуйста, не сердитесь. Это все нервы. Тяжело, знаете,

смотрѣть, какъ въ дѣдовскомъ гнѣздѣ чужіе люди хозяйничаютъ. Непривычка!

И опять въ слезы.

— Думала ли, — говоритъ, — гадала ли! Сама, словно изъ милости, въ двухъ комнаткахъ должна жить. Въ этихъ, — говоритъ, — комнаткахъ при матушкѣ покойницѣ Палашка кривобокая да Аграфена дурочка за Христа-ради жили. А при дѣдушкѣ покойникѣ Максимъ-дуралей его, да Афимья-карлица, да старая сука слѣпая лягавая помѣщались. А теперь я должна жить!

Разливается.

Что ей сказать?

— На все, — говорю, — сударыня, воля Божья.

— А все, — говоритъ, — мужъ-покойникъ, не тѣмъ будь помянутъ. Шесть разъ я его только и видѣла. Первый разъ на вечерѣ, когда онъ меня изъ родительскаго дома послѣ мазурки увозилъ. Другой разъ послѣ вѣнца съ недѣлю дома прожилъ, все ружья чистилъ. А потомъ за 20 лѣтъ только три раза домой и наѣзжалъ, все съ цыганами пропадалъ. Одинъ разъ пріѣхалъ, по переносицѣ меня ударилъ, другой разъ пріѣхалъ шелковую фабрику строить, — а у насъ о шелкѣ-то и помину никакого. Не знаю ужъ, откуда онъ хотѣлъ его доставать. Имѣнье для этого заложилъ. А третій разъ — пьяный. Въ четвертый же разъ ужъ его привезли.—„Вотъ, — говоритъ, — Мари, помирать къ тебѣ пріѣхалъ. Много я передъ тобой виноватъ. Жилъ далеко, а помирать, все-таки, къ тебѣ пріѣхалъ.“ Нога у него была переломлена, рука вывихнута, голова чѣмъ-то прошиблена и въ бѣлой горячкѣ. Ругался такъ, что ужасъ. Развѣ мнѣ пріятно?

— Н-да, — говорю, — сударыня, это точно! Супругъ вашъ былъ поведенія предосудительнаго!

Встала:

— Дворянинъ, — говоритъ,— онъ былъ! Чтобъ дворянина судить, надо дворянина понимать, милостивый го-

сударь! Дворянина не всякій, милостивый государь, понять еще въ состояніи!

Встала и вышла.

Дѣйствительно, чортъ его пойметъ! Пьянствовалъ всю жизнь, а я теперь изъ-за него не спи!

9-го мая.

Все уладилось. Вдова мнѣ оскорбленіе дворянина, ея мужа, простила. Пила у насъ кофе. Была въ умиленномъ состояніи.

— Ахъ, — говоритъ, — каждая-то мнѣ здѣсь вещичка знакома и дорога! Среди этихъ стульевъ моя жизнь протекла! Вотъ,— женѣ говоритъ,—этотъ стульчикъ, на которомъ вы теперь сидите, на немъ бабушка Анѳиса Львовна скончалась. Такъ же вотъ, какъ вы, у окошечка сидѣла. Не хуже васъ, кофе пила. И вдругъ откинулась на спинку—и хлопъ. Испустила духъ.

Жена встала. Ей сдѣлалось нехорошо.

— А вотъ на этомъ, — мнѣ говоритъ, — диванчикѣ, на которомъ вы теперь сидите, дѣдинька Анисимъ Иванычъ скончались. Долго мучился старикъ! Онъ сначала на кровати лежалъ, — вотъ гдѣ вы теперь спите. „Хочу, — говоритъ, — на той же кровати помереть, гдѣ прадѣдъ мой померъ". На той-то кровати, гдѣ вы спите, его прадѣда крѣпостные ночью зарѣзали. Ну, ему было и пріятно. Но потомъ его для воздуха сюда на диванъ перенесли. Здѣсь онъ и померъ. Вотъ на томъ столѣ, гдѣ вы обѣдаете, онъ и лежалъ. Шесть дней лежалъ,— распутица была, попъ не могъ пріѣхать, хоронить было некому. Все въ этомъ домѣ достопримѣчательное! Вотъ и на этомъ креслѣ, гдѣ теперь вашъ Кокочка балуется... Не балуйся, Кокочка, на креслѣ! Здѣсь дяденька Владимиръ Петровичъ померъ!

Чортъ знаетъ, что за домъ! На всякомъ стулѣ кто нибудь да помиралъ! Да и предки тоже были, нечего

сказать! Помирали бы гдѣ-нибудь въ одномъ мѣстѣ Нѣтъ, по всему дому ходить надо!

Вдова въ слезы.

— Каково это, — говоритъ, — ихъ косточкамъ: на тѣхъ стульяхъ, гдѣ они помирали, чужіе люди сидятъ! Встала бы изъ гроба бабинька Анѳиса Львовна, посмотрѣла бы!..

Этого только и недоставало! Дѣйствительно!

10-го мая.

Жена всю ночь не спала.

— Жутко! — говоритъ.

— Ничего, — говорю, — всю ночь свѣчи жечь будемъ!

Вдова услыхала, однако, черезъ стѣну и пришла:

— Ну, ужъ, нѣтъ, — говоритъ, — этого, извините, я вамъ дозволить не могу! Я не желаю, чтобы вы мнѣ усадьбу спалили! Я этого не дамъ вамъ дѣлать. Вамъ конечно, все равно, а мнѣ горько будетъ, когда вы дѣдушкины-бабушкины вещи жечь будете!..

Успокоилъ ее кое-какъ.

— Это, — говоритъ, — у васъ все отъ мнительности. Вы все въ комнатахъ сидите, — вотъ вамъ и думается. А вы бы гулять ходили. Вонъ рощица-то. Кудрявая рощица. Въ ней дѣвка Палашка, да кучеръ Селифанъ, да Кузьма-косоглазый, поваръ, при дѣдушкѣ повѣсились. Крутой былъ старикъ. На конюшнѣ-то, что вотъ полѣвѣй отъ дома, на смерть людей засѣкали. Ну, люди — народъ балованный. Сейчасъ манеру и взяли: какъ что не такъ, не по-ихнему, сейчасъ въ рощу и вѣшаться. Много перевѣшалось. Ихъ такъ, чтобъ слѣдствія не было, въ огородѣ и зарывали, — вотъ гдѣ ранняя-то клубника, что вамъ къ столу подаютъ, растетъ!

Клубники за столомъ не ѣли.

Вдова обижена:

— Не знаю ужъ, — говоритъ, — чѣмъ вамъ и угодить. Клубники не кушаете. А ананасовъ, извините, у меня не растетъ.

Дуется.

Чтобъ успокоить ее, проглотилъ пять ягодокъ, хотя, признаюсь, съ трудомъ.

11-го мая.

Да это, чортъ знаетъ что такое! Это не домъ, а какое-то гнѣздо покойниковъ! Притонъ покойницкій! Разсадникъ покойниковъ!

Хозяйка страшно обезпокоена.

Приходитъ сегодня, вся блѣдная:

— А знаете, — говоритъ, — что я слышала нынче ночью. Ходитъ!

— Кто ходитъ?

— А дѣдушка, — говоритъ, — Анемподистъ Григорьевичъ! Это, — говоритъ, — безпремѣнно передъ покойникомъ. Это ужъ давно замѣчено: какъ въ домѣ быть покойнику, такъ дѣдушка Анемподистъ Григорьевичъ вотъ что портретъ-то у васъ въ спальнѣ виситъ, и начинаетъ по ночамъ по дому ходить. Какъ папенькѣ-покойнику скончаться, — то же было. Маменька-покойница сама видѣла, какъ дѣдушка-покойникъ ручками этакъ объ рамку оперся и вылѣзъ, и еще нехорошее слово при этомъ сказалъ. Ругатель покойникъ былъ при жизни, другихъ словъ у него не было. Да и то сказать, генералъ-аншефъ. Такимъ же, видно, и на томъ свѣтѣ остался. Онъ изъ рамки выходитъ, — это съ нимъ случается. Непремѣнно это покойника у насъ въ домѣ предвѣщаетъ.

Женѣ стало нехорошо.

— Помилуйте, — говорю, — сударыня! Какой покойникъ? Мы всѣ, слава Богу, здоровы!

— Мало ли, — говоритъ, — что! А Кокочка пойдетъ, нагнется въ колодецъ посмотрѣть, перевѣсится, да и

утонетъ. У меня такъ братецъ Ѳеденька-покойникъ въ этомъ же самомъ колодцѣ, вотъ изъ котораго мы воду пьемъ, утонулъ. Не хуже вашего Кокочки!

Чортъ знаетъ что! Жена реветъ. Коку въ классную на замокъ заперли.

13-го мая.

Господи, что это было!

Приказалъ портретъ этого самаго бродячаго дѣдушки въ сарай вынести. Просто спать нѣтъ возможности. Жена поминутно съ постели вскакиваетъ:

— Ходитъ? — кричитъ.

— Да ничего, — говорю, — матушка! Успокойся ты!

— Нѣтъ, — говоритъ, — ты все-таки зажги лучше спичку, да посмотри, генералъ-то аншефъ на своемъ мѣстѣ?

А тутъ вдова въ стѣну кулакомъ стучитъ:

— Нѣтъ ужъ, — кричитъ, — попрошу васъ спичекъ по ночамъ не жечь. Пожаровъ не дѣлать! Что это такое! Да я въ набатъ велю ударить! Деревню созову! Сжечь насъ хотятъ!

Тфу ты! Приказалъ дѣдушку въ сарай тащить!

Вдова скандалъ закатила.

— Что? Надъ предками хозяйничать задумали? Дѣдушку въ сарай? Ни за что не позволю! Я вамъ, милостивые государи, не имѣю чести хорошенько знать вашего званія, усадьбу сдала, а души своей за 500 рублей не продавала! Вы себѣ на дѣдушкиной-бабушкиной мебели карячетесь, я вамъ ничего не говорю! Я терплю, только слезы, вдова, глотаю! А генералъ-аншефа въ сарай носить, — нѣтъ-съ, ужъ извините! Много на себя берете! Назадъ дѣдушку несите, на прежнее мѣсто! Да что же вы, — на прислугу на свою кричитъ, — продали меня, Іуды, что ли? Вашу природную барыню оскорбляютъ, а вы ничего?

Тутъ и прислуга принялась:

— Негоже такъ, баринъ, съ барыней поступать. Барыня природная! Дворянка!

Дѣдушку принесли въ спальню и приколотили.

15-го мая.

Вдова къ намъ не ходитъ. Цѣлые дни сидитъ въ кухнѣ, въ людской, плачетъ. Разсказываетъ, какъ ей раньше хорошо жилось, на насъ жалуется. Въ людской цѣлый день ревъ. Изъ деревни бабы, старыя, которыя посвободнѣе, поплакать тоже приходятъ.

Ревъ стоитъ.

— Какого, — кричу, — чорта вы тутъ шляетесь?

— А ты, — говорятъ, — не чертыхайся. Ишь пріѣхалъ невѣдомо отколя, невѣдомо кто, да еще намъ со своей природной барыней поплакать не позволяетъ! Тоже выискался!

А тутъ и вдова на крыльцѣ:

— Иди, — кричитъ, — Афимьюшка! Иди, не обращай на безчувственныхъ людей вниманія! Они думаютъ — деньги заплатили, такъ и надругаться надъ нами могутъ! Иди, милая, поплачь съ твоей барыней.

Чортъ знаетъ, что такое!

Кухарка сегодня зеленыя щи подаетъ:

— Покушайте, — говоритъ, — щецъ съ барыниными слезками!

Приказалъ убрать къ чорту эти щи.

Онѣ тамъ въ кастрюли плачутъ, чортъ бы ихъ взялъ!

Прислуга вся противъ. Слова сказать нельзя. Ночью сегодня. Вдругъ вой какой-то. Жена вскакиваетъ:

— Воетъ кто-то на дворѣ, — слышишь? Страшно мнѣ!

Дѣйствительно, воетъ. Взялъ револьверъ, выхожу:

— Кто здѣсь? — кричу.

— А ты, — говоритъ, — не ори по ночамъ-то. Кто? Ночной сторожъ. Вотъ кто.

— Что ты, скотина этакая, воешь!

— А ты, — говоритъ, — другихъ не скотинь, самъ скотинѣй будешь! Не вою, а пою, — ты разбери сначала вслухайся!

— Сейчасъ, — говорю, — перестать!

— Ишь, — говорить, — какой Мамай-воитель выискаился! Пѣть не смѣй! А ежели мнѣ скучно? Мнѣ барыня природная пѣть не запрещаетъ, а ты нашелся! Шестьдесятъ годовъ подъ барыней живу и такого запрету не слыхивалъ!..

И вѣдь все вретъ, подлецъ. И самому-то отроду пятидесяти лѣтъ нѣту!

Такъ и провылъ цѣлую ночь. А на утро пѣтухъ.

20-го мая.

Престранныя у здѣшняго пѣтуха привычки. Какъ утро, вскакиваетъ непремѣнно на подоконникъ нашей спальни и начинаетъ во все горло кричать „ку-ка-ре-ку“! Или что-то тамъ такое.

Вчера, съ вечера, принялъ мѣры. Положилъ около себя книжку „Наблюдателя“. Это для пѣтуха хорошо.

— Запущу! — думаю.

Какъ онъ утромъ заоралъ, я въ него „Наблюдателемъ“ И какъ ловко! Пѣтухъ кубаремъ.

Въ 9 часовъ скандалъ.

Вдова явилась, въ наколкѣ даже, — полный парадъ.

— Вы, — говоритъ, — какое имѣете полное право, милостивый государь, въ моего пѣтуха мерзкими книгами швырять?

— Во-первыхъ, — говорю, — сударыня, это не мерзкая книга, а „Наблюдатель“. И издаетъ его почтенный человѣкъ!

— Мнѣ, — говоритъ, — начхать на вашего почтеннаго человѣка! Вашъ почтенный человѣкъ пѣтуха мнѣ не замѣнитъ. А пѣтуху вы почтеннымъ человѣкомъ ногу могли

перешибить. Что жъ это такое будетъ? Сегодня вы пѣтуху ногу перешибете, завтра коровамъ, послѣзавтра лошадямъ. На чемъ же пахать-то будутъ?

И пошла и пошла.

— Да вѣдь вы, надѣюсь, — говорю, — на пѣтухѣ не пашете?

— Вы, — кричитъ, — моихъ словъ не перевертывайте! Смѣяться надо мной нечего! Я не кто-нибудь, я природная дворянка! Оскорблять я себя не позволю! За это вы еще отвѣтите! Вы себѣ и рукамъ волю, милсдарь, даете! Вы меня оскорбляете! Зачѣмъ вы мою свинью третьяго дня палкой ударили? Какое вы имѣли право?

— Да вѣдь я, — говорю, — свинью!

— Ничего, — кричитъ, — не значитъ! Свинья моя. Могли бы, кажется, относиться съ уваженіемъ. Я все сношу, я все терплю! Вы свинью ни за что ни про что ударили, я смолчала, хоть мнѣ и больно. Но ужъ пѣтуха я вамъ не прощу! Нѣтъ-съ! Извините-съ! Не прощу!

— Да хоть къ прокурору! — кричу.

— И дальше! — кричитъ. — Кричать на меня нечего.

Содомъ, крики, скандалъ. Вся дворня сбѣжалась.

— Коломъ ихъ по башкѣ бы! -- совѣтуетъ сторожъ.

— Вилы бы имъ подъ бокъ желѣзныя, — знали бы! — рекомендуетъ кучеръ.

— Ошпарить ихъ мало, иродовъ! — рыдаетъ кухарка.

— Мы, — кричатъ, — пятьдесятъ годовъ барынѣ служимъ, а такого не видали!

А самимъ по 30, по 40 лѣтъ. Не подлецы? Впрочемъ, вся прислуга теперь оказалась „природною“.

— И пащенка-те ихъ! — визжитъ. скотница — Поганца-те махонькаго! Отродье-те.

Это про Кокочку.

— Шкуру-те съ него содрать, съ подлеца-те! — кричитъ. — Этакій-те паршивецъ. Дою ономеднись-те корову-те, туда же приходитъ-те, смотритъ-те!

Жена бьется въ истерикѣ.

— Уѣдемъ! — кричитъ. — Сейчасъ уѣдемъ! Ты не знаешь! Кучеръ Миронъ обѣщался изъ Кокочки всѣ ноги повыдергать! Такъ и сказалъ! Съ минуты на минуту жду.

— Мужайся, — говорю, — жена! Не падай духомъ! Не создавай ложныхъ призраковъ! Во-первыхъ, у Кокочки нашего всего двѣ ноги, такъ что сказать „всѣ ноги повыдергаю“ — глупо. А, во-вторыхъ, и по анатоміи это невозможно, чтобы изъ человѣка ногу выдернуть!

Насилу успокоилъ логическими разсужденіями.

25-го мая.

Продовольствоваться у вдовы бросили. Ѣдимъ молоко, творогъ, яйца, — беремъ на деревнѣ.

Для привлеченія симпатій населенія, жена распаковала аптечку и принялась лѣчить мужиковъ и бабъ. Это тоже входитъ для дамъ въ число лѣтнихъ развлеченій: лѣчить мужиковъ и бабъ. Преглупое, по-моему, обыкновеніе. Мужику и такъ тяжело живется, а онѣ ему еще горчичникъ ставятъ. Лѣтомъ вся Русь „животомъ мается“. Это, по-моему, оттого, что лѣтомъ дамы въ деревню ѣдутъ и мужиковъ для собственнаго удовольствія касторкой поятъ.

Итакъ, жена лѣчить принялась.

Опять скандалъ.

— Прошу этого не дѣлать! — кричитъ вдова. — Скажите, пожалуйста! Вы тутъ на одно лѣто пріѣхали, а хотите мужиковъ, моихъ природныхъ мужиковъ, къ себѣ пріучить! Чтобъ они своихъ господъ забыли! Они сколько вѣковъ своихъ господъ знаютъ...

— То-то, — говорю, — они твоего прапрадѣда и придушили, подлая ты баба!

Нехорошо было говорить. Но не выдержалъ!

Господи, что тутъ поднялось! Пѣтухъ поетъ, вдова въ истерикѣ, Миронъ съ вилами идетъ.

Чортъ знаетъ, что такое! Разъярился духомъ:

— Лѣчи, — кричу женѣ, — мужиковъ! Лѣчи ихъ въ мою голову! Всѣмъ лѣчи! Всѣмъ! Что есть, — то и давай! Съѣдятъ всѣ лѣкарства, новыхъ пудъ, два, десять выпишу! Лей въ нихъ, корми ихъ!

Война, — такъ война!

30-го мая.

Что происходитъ! Господи, что происходитъ!

Жена озвѣрѣла. Мужиковъ ромашкой поитъ. Никогда не слыхалъ, чтобъ мужиковъ ромашкой поили! Мужики шафранъ ѣдятъ.

А вдова тоже.

— Ко мнѣ, — говоритъ, — идите, къ законной своей барынѣ!

Господи! Что только дѣлается! Что дѣлается! За человѣка страшно! Жена мужику ложку касторки, вдова ему двѣ. Вдова — двѣ, жена — четыре. Вчера какой-то мужикъ на крикъ кричалъ, передъ крыльцомъ по землѣ катался. Въ усадьбѣ крики, вопли, стоны.

И вдова, подлая, все-таки побѣдила!

Оказывается, дрянь, начала мужикамъ все на водкѣ давать, — къ ней и поперли.

А насъ грозятъ взять въ колья.

Симпатіи населенія утеряны безвозвратно.

1-го іюня.

Вчера былъ престольный праздникъ, — и мы сидѣли по этому случаю подъ кроватью. Вокругъ дома стояли мужики и говорили:

— Выходите! Мы васъ убьемъ!

Мы не вышли.

Мужики были пьяны и хотѣли поджечь домъ. Но вдова протестовала:

— Мое-то добро? Законной-то барыни?

— А намъ плевать на то, что ты законная барыня! Ставь еще ведро водки, — и никакихъ.

Сегодня былъ становой.

— Потрудитесь объяснить, на какомъ основаніи вы, сударыня, занимаетесь недозволеннымъ врачеваніемъ? А вы, милостивый государь, потрудитесь дать отвѣтъ въ томъ, что, возмутивъ окрестныхъ крестьянъ, вчера подговаривали ихъ поджечь настоящее строеніе, а равно и нанести оскорбленіе сей владѣлицѣ? На что отъ оной поступила на васъ жалоба.

Пока я отвѣчалъ, пріѣхалъ судебный приставъ и описалъ усадьбу:

— За долгъ купцу Евстигнѣеву-съ.

2-го іюня.

Мы выѣзжаемъ.

„Прирожденная“ прислуга напутствуетъ насъ:

— Скатертью вамъ дорога, ироды!

Вдова плачетъ:

— Вотъ такъ-то бѣдной дворянкѣ приходится! Не доживутъ, подлецы, и съѣдутъ!

А вѣдь за все лѣто впередъ заплачено.

И когда мы ѣхали черезъ деревню, мужики кричали:

— Помѣщиковъ только разоряете! Описали барыню-то, радуйтесь!

Мальчишки кидали камни: мнѣ попали въ голову два раза, женѣ три, а Кокочку на смерть: онъ маленькій.



Бесѣда съ чиновникомъ.

— И вы рѣшитесь напечатать бесѣду со мной?

— Почему же? Развѣ вы думаете, что въ цензурномъ отношеніи...

— О, нѣтъ, нѣтъ! Чѣмъ чаще вы, гг. журналисты, будете излагать въ своихъ статьяхъ мысли чиновниковъ, тѣмъ желательнѣе. Но публика? Что скажетъ публика? „Бесѣда съ чиновникомъ“! Вы можете бесѣдовать съ каторжниками, съ убійцами, съ грабителями, — ничего! Но журналистъ, бесѣдующій съ чиновникомъ! Публика отъ него отворачивается: „ну-у“!

— Вы преувеличиваете!

— Не будемъ играть въ дурачки. Вы насъ ненавидите,—вы, вы, вся Россія! — вы насъ презираете, какъ ненавидятъ, быть-можетъ, только китайцы манджуровъ,— какъ ненавидитъ огромный народъ кучку побѣдителей, взявшихъ власть. Изъ самаго нашего имени вы сдѣлали ругательство. Когда вы хотите обругать какого-нибудь дѣятеля,—вы говорите: „это чиновникъ“, когда хотите обругать отношеніе къ дѣлу, вы называете его „чиновничьимъ“, когда хотите обругать порядки, царящіе въ какомъ-нибудь дѣлѣ, — говорите: „канцелярщина“. Въ Россіи, кстати сказать, есть прехамское обыкновеніе, — это, вѣроятно, еще остатки глубоко въѣвшагося рабства, наслѣдіе крѣпостного права,—всѣ ругательства, это—названія честныхъ профессій. Мы ругаемся именами чест-

ныхъ, трудящихся людей. „Извозчикъ“, „кухарка“, „горничная“, „прачка“, „мужикъ“. И какъ похвала, названіе тунеядца, который ничего не дѣлаетъ: „Это, знаете, баринъ!“ Я думаю, что было бы гораздо обиднѣе ругать, напримѣръ, прачекъ „примадоннами“, чѣмъ примадоннъ „прачками“. Но это такъ, между прочимъ. Изо всѣхъ ругательствъ самыя обидныя и оскорбительныя, это—„чиновникъ“ и „канцелярія“. Такъ вы насъ ненавидите. И какъ далеко идетъ ваша ненависть! Предстоитъ юбилей Петербурга. Чиновничьяго города, потому что юбилей Петербурга, это—юбилей двухсотлѣтняго владычества чиновниковъ надъ Россіей. Только съ Петербургомъ родился чиновникъ.

— Ну, чиновники были и въ допетровской Руси.

— Конечно. И даже преусердные. Образцовые. Напримѣръ, Малюта Скуратовъ. Нѣтъ болѣе оболганнаго человѣка! Онъ былъ жестокъ? Никогда. Время было жестоко. Онъ былъ только усерденъ. Онъ стоялъ во главѣ тогдашняго правосудія и съ усердіемъ наблюдалъ за исполненіемъ законовъ. Онъ загонялъ гвозди подъ ногти, вырѣзывалъ ремни изъ спины,—да, но на точномъ основаніи существовавшихъ тогда законовъ. Онъ никогда не задумывался надъ вопросами человѣчности, — это потому, что онъ былъ всегда „усерднымъ исполнителемъ“ и больше ничего. Въ его сердцѣ никогда не просыпалось состраданье, — никогда онъ не поддавался слабости, которая отвлекла бы его отъ усерднаго исполненія обязанностей. И за это онъ пользовался уваженіемъ. Считался примѣрнымъ, и его непрестанно поощряли. Люди, искавшіе „случая“, — напримѣръ, Борисъ Годуновъ, — искали чести съ нимъ породниться. Это былъ усердный служака, очень цѣнимый при жизни, только что не преданный анаѳемѣ послѣ смерти положительно по недоразумѣнію. „Онъ таскалъ въ застѣнокъ всякаго, кто попадался“. Но такъ онъ понималъ обязаность: онъ долженъ

былъ обвинять и пытать. Конечно, не было бы такихъ ужасовъ и такихъ приговоровъ, если бы тогда существовала защита. Но защиты не было, было одно обвиненіе— и онъ высоко держалъ знамя обвиненія, очень усердно относясь къ своимъ обязанностямъ. Оболганная личность! Впрочемъ, оставимъ въ сторонѣ бѣдняжку Малюту Скуратова! Реабилитація его памяти отвлекаетъ насъ отъ нашей главной темы. Конечно, вы правы: чиновники были и въ московской Руси, и даже, какъ мы видимъ, очень усердные чиновники. Но все же это было не то. Они были ближе къ народу, они были ему свои: носили тѣ же бороды, охабни, высокія шапки. Бритье бородъ выдѣлило чиновниковъ въ особую касту. Въ то время, какъ Русь стояла за древнюю бороду, — эти господа обрились и тѣмъ показали, что они готовы жертвовать какими угодно симпатіями на пользу карьеры. Вотъ моментъ отдѣленія чиновничества отъ остальной Руси. Чиновникъ ушелъ за лѣса, за болота, сѣлъ тамъ и оттуда началъ править. 200 лѣтъ длится это, и вотъ значеніе юбилея Петербурга. Придетъ этотъ юбилей, отнесутся ли съ похвалой, съ заслуженнымъ восторгомъ къ этому городу-чуду? Вѣдь это мы создали все, — если „не Невы державное теченье“, то „береговой ея гранитъ“. Мы создали этотъ городъ, могущій итти въ сравненіе съ европейскими. Единственный городъ, въ которомъ всетаки можно жить въ Россіи. Городъ, интересующійся не только кулебяками и рыночными цѣнами. Городъ, интересующійся наукой, искусствомъ, литературой. Городъ, гдѣ вы можете говорить о наукѣ, литературѣ, искусствѣ въ увѣренности, что васъ выслушаютъ съ интересомъ. Городъ, который стягиваетъ къ себѣ все, что есть умнаго, развитого, талантливаго, передового въ странѣ. И мы создали это въ 200 лѣтъ. Нашу гордость, нашу славу—Петербургъ. И вы думаете, его юбилей будутъ привѣтствовать съ радостнымъ горячимъ чувствомъ?

Нѣтъ. Будутъ говорить только объ его туманахъ, о болотахъ, отдаленности его отъ Россіи, о томъ, что это была ошибка, капризъ Петра. Будутъ говорить только о недостаткахъ нашего города, а не объ его достоинствахъ, подчеркивать только одни недостатки. Почему? Потому, что этотъ городъ чиновничій. Вотъ какъ глубока у васъ господа, ненависть къ намъ. Вы даже ненавидите наше жилище! Вотъ что видимъ мы отъ васъ.

— И вы?

— Сдачу даютъ такой же монетой, какой платятъ. Съ франковъ франками, съ марокъ — марками, съ гульденовъ — гульденами. У насъ есть нѣсколько способовъ относиться къ вамъ. Мы раздѣляемся на три категоріи.

— Первая?

— У англичанъ, живущихъ въ колоніяхъ, есть отличное выраженіе. Если вы спросите его: „Какъ поживаете?“—онъ улыбнется и отвѣтитъ вамъ: „Y existe and d'ont live“.—„Я существую, а не живу“. Этимъ опредѣляется отношеніе къ колоніи. Первая наша категорія состоитъ изъ лицъ, относящихся къ Россіи именно такимъ обра зомъ. Здѣсь они существуютъ,—а жизнь... Жизнь—тамъ далеко! Проѣзжая тусклой, сѣрой, сумрачной невской „перспективой“, эти люди видятъ передъ собой веселую, залитую солнцемъ, красавицу „Avenue des Champs-Elysées“. И катаясь по нашимъ кислымъ островамъ, вздыхаютъ о Булонскомъ лѣсѣ. Эти люди могли бы сказать словами фонвизинскаго бригадирскаго сына: „Хотя тѣло мое родилось въ Россіи, но сердце мое принадлежитъ коронѣ французской!“ Коронѣ европейской! Они существуютъ въ Россіи, но душа живетъ, витаетъ, мучится, томится по Европѣ. Тамъ все имъ мило, близко и хорошо. Все радуетъ ихъ, начиная со щетокъ, которыми по утрамъ моютъ улицы, и кончая кельнерами, которые, подавая кружку пива, не забываютъ прибавить: „Bitte sehr“. Все имъ пріятно тамъ: и то, что прислугу надо просить, а

не кричать на нее, и то, что извозчикъ сидитъ на козлахъ и читаетъ газету. Кругомъ все дышитъ тѣмъ же человѣческимъ достоинствомъ, которымъ полна и его душа,—и въ этой родственной атмосферѣ онъ чувствуетъ себя легко, свободно, хорошо. Онъ просыпается утромъ въ европейски-обставленной комнатѣ „пансіона“, ему служитъ по-европейски европейская прислуга, онъ читаетъ европейскія газеты. Настоящія газеты, въ которыхъ пишутъ про то, что самое главное и самое важное, тогда какъ у насъ самое главное и самое важное то, о чемъ молчатъ. Словомъ, онъ „живетъ, какъ слѣдуетъ“, „только и живетъ, что за границей“. Въ остальное время онъ вспоминаетъ о ней, какъ вспоминаютъ о любимой женщинѣ, ежечасно и ежеминутно. Посмотрите обстановку, — всѣ комнаты этого влюбленнаго наполнены сувенирами о возлюбленной. На столахъ книжки съ видами заграничныхъ курортовъ, иллюстрированные каталоги художественныхъ выставокъ, бездѣлушки которыя продаются на память по заграничнымъ уголкамъ Даже иллюстрированные „проспекты“ желѣзныхъ дорогъ бережно хранятся въ ящикахъ письменнаго стола и, случайно находя такой проспектъ среди дѣловыхъ бумагъ, самый „черствый чинуша“ улыбается милой и радостной улыбкой и съ любовью смотритъ на него. Словно бантикъ въ „партѣ“ у влюбленнаго гимназиста. Тряпочка? Для васъ это тряпочка, а для него поэма, голубая и радостная, какъ небо. Такіе люди не интересуются даже русскими радостями жизни: ни русскимъ искусствомъ ни русской литературой,—ихъ интересуетъ только иностранная литература, иностранное искусство; оно ближе, роднѣе, понятнѣе ихъ сердцу. И если бъ не было въ Петербургѣ французскаго театра, они обходились бы цѣлую зиму даже безъ театра. Они экономятъ на всемъ здѣсь, чтобъ имѣть возможность пожить тамъ. Они бываютъ даже забавны, мило забавны. Сходясь между собой,

они говорятъ только о заграницѣ. Сидя въ Петербургѣ, вздыхаютъ о какомъ-нибудь захолустномъ нѣмецкомъ городишкѣ. Доходятъ до ребячества, хвастаются другъ передъ другомъ всякою дрянью: „За это я заплатилъ полторы марки. А у насъ?“ И въ этомъ „а у насъ“ слышенъ тяжкій вздохъ: „И здѣсь мы должны просуществовать девять мѣсяцевъ, чтобъ имѣть возможность прожить три!“ Существованіе здѣсь — одинъ сплошной вздохъ о томъ, что было тамъ, и этотъ вздохъ облегчается только надеждой снова быть „тамъ“. Что дѣлать! Неизбѣжное зло! Приходится „существовать“ здѣсь, чтобъ имѣть возможность „пожить тамъ“. Они смотрятъ на Россію, какъ на дойную корову. На свою службу—какъ на довольно грязное занятіе. Что дѣлать! Надо выдоить корову, чтобъ на свободѣ и въ удовольствіе выпить стаканъ молока по ту сторону границы. Но, конечно, это удѣлъ немногихъ избранныхъ. Такъ презирать Россію могутъ только тѣ изъ насъ, у кого есть длинные отпуски и, главное, средства для отпусковъ. Эта первая категорія немногочисленна, хоть очень сильна.

— Вторая категорія?

— „Жеманфишисты“ во всемъ, что касается службы, т.-е. Россіи.

— „Жеманфишисты“?

— Отъ выраженія: „je m'en fiche“. Въ родѣ нашего „наплевать“. Я бы назвалъ ихъ „наплевистами“, но это грубо звучитъ. Увѣряю васъ, что изъ всевозможныхъ „истовъ“ — „наплевисты“ самая многочисленная партія въ Россіи. Наши чиновничьи „жеманфишисты“, это—люди, ушедшіе въ интересы семьи. „Сынъ ходитъ въ гимназію, дочь должна имѣть гувернантку-англичанку, женѣ нужна шляпка.“ Все остальное — наплевать! Служба — средства на гимназію, гувернантку, шляпку. Изъ нея выходитъ гимназія, гувернантка, шляпка, а что, кромѣ этого, выходитъ изъ службы, имъ рѣшительно „плевать“. Отъ 11

до 4-хъ—и кончено. Какъ каторжный урокъ. Сбыть, и съ рукъ долой! И изъ головы вонъ. Человѣкъ весь въ своей семьѣ, ея интересахъ, ея заботахъ. Остальнoго міра не существуетъ. Это люди, глубоко равнодушные къ „такъ называемой Россіи". Вторая категорія самая многочисленная.

— Третья?

— Скажите, что долженъ дѣлать человѣкъ, если ни отпуски ни окладъ не даютъ ему возможности создать себѣ „настоящаго отечества" изъ Европы? Что долженъ дѣлать такой человѣкъ, если, вмѣстѣ съ тѣмъ, его сердце и его умъ такъ широки, что ихъ не можетъ цѣликомъ заполнить семья съ ея нуждами, печалями и заботами? Если въ сердцѣ и въ умѣ остается свободное мѣсто и отъ Манечкиныхъ пеленочекъ, и отъ Ванечкиныхъ панталончиковъ, и отъ Кокиныхъ продранныхъ чулочковъ? Чѣмъ заполнить это пустое мѣсто? Мы, третья категорія мы заполняемъ его ненавистью къ этой вашей Россіи. Мы не можемъ ея презирать—отпуски коротки и оклады малы. Мы не можемъ быть къ ней равнодушными,— сердце велико, умъ широкъ. Мы не можемъ любить тѣхъ, кто изъ самаго имени нашего сдѣлалъ ругательство. Мы ее ненавидимъ. Какъ ненавидитъ кучка побѣдителей большой побѣжденный народъ. Она раздражаетъ насъ, эта ваша неуклюжая, непослушная страна. Она никакъ не можетъ влѣзть въ тѣ рамки, которыя мы для нея строимъ. Втиснешь, совсѣмъ кажется,—глядь, сбоку что-нибудь безобразное вылѣзло. Взыщешь недоимки,—голодовка. Ослабишь подпруги по случаю голодовки, — недоимки выросли. Словно какую-то вещь запихиваешь въ маленькій чемоданъ, а она не влѣзаетъ. Въ концѣ-концовъ, вы начинаете ненавидѣть эту вещь. Это естественно. Мы ненавидимъ васъ, потому что отъ васъ мы слышимъ только жалобы, да причитанья, да охи,—и въ каждомъ „охѣ" осужденіе намъ. Мы ненавидимъ все въ

васъ. Вашу печать, потому что это выраженіе вашего мнѣнія, а ваше мнѣніе выражается только въ охахъ, вздохахъ и плачахъ! Ужъ что кажется невиннѣе россійскаго городского самоуправленія? Собираются люди, да и то не каждую недѣлю, и разговариваютъ о томъ, какую имъ мостовую сдѣлать. Казалось бы, ничего, можно! Пусть дѣлаютъ такую мостовую, какая имъ нравится. Намъ же легче, меньше о нихъ заботиться. Но нѣтъ! Мы ненавидимъ и это куцое самоуправленіе, какъ бы куцо оно не было. Это все-таки же стремленіе справиться самимъ, безъ насъ, стремленіе насъ хоть въ чемъ-нибудь да упразднить. Мы ненавидимъ ваши земства, вашъ судъ, судъ присяжныхъ, судъ, какъ вы называете, вашей общественной совѣсти. Послушайте, да вы это должны знать лучше, чѣмъ кто бы то ни былъ, вы, журналистъ. Развѣ когда-нибудь могло „достаться“ или досталось, когда кто-нибудь изъ вашихъ коллегъ смѣшивалъ съ грязью идею городского или земскаго самоуправленія, называлъ судъ присяжныхъ „площаднымъ судомъ“, „Шемякинымъ“, „судомъ Линча“, „судомъ судей съ улицы“, рекомендовалъ „заколотить этимъ присяжнымъ въ глотку грязную пробку“.

— Вы, все-таки, преувеличиваете! Есть вѣдь и чиновники, сами участвующіе въ печати,—значитъ симпатизируютъ! Есть и чиновники, отстаивающіе судъ присяжныхъ.

— Симпатія къ прессѣ! „И лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя“,—вотъ какая у насъ есть поговорка относительно печати. Мы ненавидимъ ее, потому что она голосъ вашего ненавистнаго для насъ мнѣнія. И совершенно естественно, что мы хотимъ взять ее въ свои руки. Вотъ почему,—кромѣ, конечно, гонорарныхъ соображеній,—мы пишемъ въ газетахъ, „инспирируемъ“ журналистовъ, интервьюируемся съ ними!

— Ну, хорошо! А что вы скажете о чиновникахъ, защищающихъ судъ присяжныхъ?

— А почему бы его не защищать? Изъ всѣхъ проявленій вашей „самостоятельности“ это самое невинное Въ случаѣ, если вы не такъ подумали, какъ намъ хочется, мы всегда можемъ „апулировать“ приговоръ. Предложить: передумайте иначе! Развѣ судъ присяжныхъ, который мы теперь отстаиваемъ, — тотъ судъ присяжныхъ, который выноситъ рѣшительные, окончательные приговоры общественной совѣсти, — приговоры, передъ которыми дозволительно только склоняться. Вѣдь вы знаете,—его приговоры теперь не рѣшительны, не окончательны. То, что отстаиваемъ мы,—дѣло, лишенное души.

— Знаете, что? Вы мнѣ позвольте сказать откровенно... Вы бы того... не съ журналистомъ поговорили, а съ докторомъ... Ужъ очень вы мрачно смотрите... Это у васъ съ желудкомъ что-нибудь...

— Вотъ, вотъ, вотъ! Вы не можете даже представить себѣ, чтобъ у чиновника могли быть мысли, плоды долговременныхъ размышленій.—„Россіи надо дать то и то, поощрить это и это!“ говоритъ чиновникъ, и вы сейчасъ думаете: „Должно-быть, ты у Кюба хорошо пообѣдалъ, и притомъ, навѣрное, не на свой счетъ“. Чиновникъ кричитъ: „Упразднить! Сокрушить!“ — и у васъ одна мысль: „Экъ тебя съ Доминиковскаго-то бифштекса какъ подводитъ!“ Развѣ у насъ, по вашему мнѣнію, могутъ быть мысли, чувства, сердце, умъ,—въ насъ либо бифштексъ на маргаринѣ, либо фаршированная трюфелями пулярка говоритъ!

— Вы такъ раздражены сегодня, что я даже не возобновляю вопроса, съ которымъ обратился къ вамъ вначалѣ: скажите, теперь, когда вы послѣ отдыха съѣзжаетесь и начинаете свой канцелярскій годъ, чего намъ ждать отъ васъ?

— Послушайте, послѣ всего, что я вамъ сказалъ, вамъ нуженъ еще отвѣтъ?

— Благодарю васъ, не трудитесь.



Фонтанъ.

(Изъ дневника провинціала).

25-го августа.

Въ первый разъ въ Петербургъ попалъ. Городъ величественный. Памятниковъ много. Только мокрый. Словно весь его помоями облили.

Но величественно. Вышелъ на Невскій, растерялся. Кругомъ все люди, люди, — и глаза у всѣхъ такіе, словно смотрятъ:

— А хорошее у этого подлеца пальто. Вотъ бы!..

Другой даже какъ будто сквозь пальто жилетку видитъ!

Впечатлѣніе такое, словно вотъ-вотъ тебя сейчасъ схватятъ, затащатъ куда-нибудь, раздѣнутъ.

Вернулся домой, разсказалъ коридорному. Смѣется:

— Это,— говоритъ,— сударь, съ непривычки. Весьма многимъ,— говоритъ,— которые пріѣхавшіе, спервоначала такъ думается. У насъ въ 33-мъ номерѣ, помѣщикъ стоялъ,— такъ тотъ разъ даже самого себя въ полицію съ перепугу отправилъ. Подошелъ къ околоточному, не вѣсть на себя что нагородилъ. „Арестуйте!“ Для безопасности. Ужъ очень одинъ встрѣчный господинъ пристально на его пальто воззрился. Но только вы не извольте опасаться. Это они такъ только,— взглядомъ. Поэтому у насъ это довольно строго запрещено, и полиція охраняетъ.

Рѣшилъ, однако, — буду ходить, держаться поближе къ полиціи. Береженому-то лучше.

26-го августа.

И шельма же нашъ братъ-провинціалъ. И выжига! Зналъ вѣдь, куда по своему дѣлу пойти! Прямо къ Мильбрету. И никто меня не училъ, ей Богу. Такъ по наитію какому-то.

Прямо въ сосредоточіе попалъ.

Вхожу по лѣстницѣ,— перегоняетъ молодой человѣкъ, недурной наружности, въ партикулярномъ платьѣ, на лицѣ этакое разсужденіе.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ,— говоритъ,— не приходило?

— Никакъ нѣтъ! — швейцаръ говоритъ.— Министерство внутреннихъ дѣлъ раньше пяти часовъ не собирается.

— А юстиція?

— Юстиція есть. Сейчасъ юстиціи семь бифштексовъ пронесли.

— Земледѣліе?

— Министерство земледѣлія въ кабинетѣ зеленый горошекъ кушаетъ.

Величественно!

Вотъ Русью-то откуда правятъ. Здѣсь мнѣ и основаться.

27-го августа.

Оказывается, не туда попалъ. Лакей мнѣ все объяснилъ,— далъ ему трешницу.

— Ежели,— говоритъ,— вамъ для дѣлъ, такъ вамъ къ Доминику надо трафить. А у насъ только справки. Потому у насъ чиновникъ ѣстъ мелкомѣстный, который справляющійся.

Величественный городъ. Для справокъ особый ресторанъ держатъ!

28-го августа.

Былъ у Доминика.

Ну, и ресторанъ! Сказка! Ручки изъ настоящей мѣди. Блестятъ такъ, глазамъ больно. Вотъ бы нашъ трактирщикъ Власъ, что держитъ трактиръ возлѣ будки, посмотрѣлъ. Сдохъ бы!

И народъ кругомъ, сразу видно, дѣловой. Шапки не снимаетъ,— некогда. Ѣстъ — стоя, пьетъ — стоя.

При мнѣ одному предложили:

— Вы бы сѣли!

Даже обидѣлся:

— Что вы этимъ хотите сказать? „Сѣли". Самихъ бы васъ не посадили!

Имѣлъ счастье познакомиться съ однимъ господиномъ.

Личность величественная. Богачъ, должно-быть, дьявольскій. За все впередъ платитъ. Дастъ десять копеекъ,— сейчасъ ему рюмку водки нальютъ, дастъ пятачокъ,— ему пирожокъ на блюдечкѣ. Онъ здѣсь прямо какъ свой. Всѣ привычки его знаютъ.

Спроситъ пирожокъ, а буфетчикъ сейчасъ:

— Пятачокъ позвольте!

Знаютъ, что онъ впередъ платить любитъ.

Я такъ думаю, что онъ по юстиціи. Потому у него что ни слово:

— Вотъ когда я былъ въ судѣ!

Часто бываетъ,— за своимъ дѣломъ слѣдитъ. Всѣхъ предсѣдателей знаетъ. И, видимо, строгъ. Попробуй съ нимъ заговорить о прокурорахъ.

— Это прокуроръ? Да это...

И такое слово скажетъ... Величественно. Я думаю онъ ихъ скоро всѣхъ смѣнитъ.

Хотя у меня,— слава Богу, Богъ миловалъ,— до суда никакого дѣла нѣтъ, но познакомиться съ такимъ лицомъ никогда не лишнее.

Предложилъ ему осетрины. Не уклонился. И былъ такъ добръ, что два „шнитта“ выпилъ.

29-го августа.

Оказывается, что я съ величественнымъ господиномъ маху далъ.

Юристъ-то онъ—юристъ, но больше такъ... практикъ. Судился много.

— Два подлога. Три мошенничества. Четыре растленья. Шесть растратъ. Двѣнадцать вовлеченій въ невыгодную сдѣлку, да семь обѣщаній жениться.

А какъ величественъ! Величественный городъ!

Но, впрочемъ, посовѣтоваться съ такимъ опытнымъ человѣкомъ никогда не лишнее.

Разсказалъ ему мое дѣло:

— Такъ и такъ... Происшествіе... Въ усадьбѣ, около кладовки, керосинный запахъ,— не продохнешь. Всѣ огурцы провоняли. До чего: траву пробовалъ поджечь,— прямо, какъ лампа горитъ. Полагаю, залежи.

— Фонтанъ? — говоритъ.— Такъ вы это не въ то учрежденіе. Доминикъ — это по вексельной части. Вотъ если бы вы,— говоритъ,— на вексельной бумагѣ что махнули, да подъ псевдонимомъ!

— Какъ такъ,— спрашиваю,— подъ всевдонимомъ?

— А такъ,— говоритъ,— нѣкоторые скромные люди, не ищущіе славы, векселя псевдонимомъ подписываютъ. Ну, тогда бы ваше дѣло у Доминика. А ежели,— говоритъ,— у васъ фонтанъ, такъ вамъ въ Кюба надо. У насъ по этимъ дѣламъ — Кюба.

И взялъ десять рублей.

30-го августа.

Былъ у Кюба. Величественно. Швейцаръ въ ливреѣ. Сразу видно, что присутственное мѣсто. Я ему сейчасъ трешницу въ руку.

— Какой столъ у васъ,— спрашиваю,— по нефтянымъ дѣламъ?

— А вотъ тутъ,— говоритъ,— полѣвѣй пожалуйте!

Обратился къ столоначальнику, который моимъ столомъ завѣдывалъ. Манчжуръ, но очень любезенъ и даже снисходителенъ.

— Будьте,— говорю,— такъ любезны, дайте мнѣ, пожалуйста, если это васъ не затруднитъ, осетрины и ужъ кстати если можно, то и ростбифа.

— Все,— говоритъ,— возможно!

Такъ меня это слово ободрило!

— Позвольте,— говорю,— сказать вамъ ужъ откровенно: я больше не насчетъ осетрины, а насчетъ нефти. Нефтяныя залежи. Устройте, какъ-нибудь. Директоромъ будете!

— Гмъ!—говоритъ,—это, стало-быть, насчетъ компаніи.

— Вотъ, вотъ,— говорю,— насчетъ компаніи.

— Такъ это вамъ,— говоритъ,— съ полчаса обождать нужно. У насъ оживленіе промышленности не раньше половины перваго начинается.

— Какъ бы? — говорю.

— А вы,— говоритъ,— позвольте вашъ носовой платочекъ, я керосиномъ надушу,— не извольте безпокоиться, компанія на запахъ соберется. Такая реализація произойдетъ!

И дѣйствительно.

Подушилъ. Сижу. Начали собираться и все воздухъ нюхаютъ, все нюхаютъ.

— Чортъ,— говоритъ,— знаетъ, откуда это такъ пахнетъ. Даже аппетитъ разыгрывается.

Какъ вдругъ входитъ господинъ. Величественный такой. Потянулъ носомъ, даже въ лицѣ перемѣнился.

— Али, — кричитъ,— кто изъ Баку пріѣхалъ?

— Изъ Баку,— столоначальникъ говоритъ,— никого.

— А почему въ воздухѣ такъ пахнетъ?

— Это,— говоритъ,— вотъ отъ нихъ духъ идетъ!

Величественный господинъ прямо ко мнѣ. Глаза горятъ. Даже „здравствуйте“ не сказалъ.

— Почему запахъ?

— Залежи,— говорю,— нефтяныя у меня...

— Гдѣ? — спрашиваетъ, а у самого голосъ такъ и дрожитъ, такъ и дрожитъ. — Въ Баку? Гдѣ?

— Зачѣмъ,— говорю,— въ Баку. Въ Рязанской губерніи. У меня въ усадьбѣ... Кладовка... огурцы... трава.. лампа... въ концѣ іюля обнаружилось...

Разъяснилъ, какъ слѣдуетъ,— какъ вскочитъ:

— Дуракъ! — кричитъ. — Подлецъ! — кричитъ. — Разбойникъ! Негодяй! Невѣжа! Измѣнникъ!

— Позвольте,— говорю,— не имѣю чести знать вашего имени, отчества...

— У него,— говоритъ,— у олуха, нефтяныя залежи,— а онъ, пентюхъ, съ іюля дома, въ Рязанской губерніи, киснетъ! Тутъ люди безъ дѣла сидятъ, безъ хлѣба,— а онъ тамъ ходитъ и только нюхаетъ. Да какъ же ты не подлецъ послѣ этого? Да ты бы раньше-то. Да мы бы въ этотъ мѣсяцъ такое оживленіе промышленности создали,— святыхъ вонъ выноси! Запищала бы у насъ твоя Рязанская губернія!

И сейчасъ еще четверыхъ такихъ же предпріимчивыхъ людей къ столу пригласилъ.

Сейчасъ же, тутъ же, на оборотной сторонѣ счета, и подсчетъ сдѣлали. Перво-наперво учредительскія акціи. Тому сто, тому тысячу. Что-то много у нихъ вышло. Мнѣ пятьсотъ дали.

— Учредительская акція — это все!

Сейчасъ этотъ подсчетъ на оборотѣ другого счета переписали и мнѣ одинъ экземпляръ дали.

— Храни,— говоритъ,— эту бумажку, какъ зѣницу ока! — Теперь твое дѣло въ шляпѣ!

А сами за головы схватились и даже застонали.

— Ахъ, — стонутъ, — если бы Гольденбергъ живъ былъ! Прямо Гольденбергское дѣло!

— А кто такой,— робко спрашиваю,— Гольденбергъ былъ?

Даже воззрились.

— Гольденбергъ?! — говорятъ.—Да если бъ Гольденбергъ живъ былъ,— ты бы ужъ сейчасъ милліонеромъ былъ! Изъ-за стола не выходя!

— А другого,— говорю,— Гольденберга нѣту?

— Другого! Онъ говоритъ — другого! Гольденберги родятся вѣками! Человѣчество сто лѣтъ беременно бываетъ, пока Гольденберга родитъ. А впрочемъ, и теперь люди есть. Не бойся! Будетъ взмылено!

Ничего не понимаю, но кажется, мое дѣло въ хорошихъ рукахъ.

Всю ночь мнѣ во снѣ Гольденбергъ снился и что-то мылилъ. Даже сосѣди въ стѣнку стучали: кричалъ во снѣ шибко, снилось, что будто въ мыльной пѣнѣ тону.

31-го августа.

Дѣла — фуроръ! Величественно идутъ дѣла.

Прихожу сегодня въ Кюба, на засѣданіе по оживленію отечественной промышленности, встрѣчаютъ:

— Пей „Монополь“! Акціи ужъ на 50 рублей выше номинала стоять!

— Да какъ же,— говорю,— онѣ стоять могутъ, ежели ихъ еще нѣту?

— А это ужъ,— говорятъ,— не твое дѣло. Пей и молчи. Молчи и пей. Въ этомъ оживленіе промышленности и состоитъ.

На 50 рублей. И это — Гольденберга нѣтъ! Что же было бы, если бъ Гольденбергъ былъ живъ?

Высказалъ эту мысль одному изъ компаньоновъ.

Тотъ даже заплакалъ:

— Если бъ Гольденбергъ былъ?!

Приказалъ поднять штору и показалъ мнѣ пальцемъ на улицу:

— Видишь людей?

— Вижу! — говорю.

— Ну, такъ вотъ! — говоритъ.— Всѣ бы эти люди ужъ безъ исподняго ходили! Понялъ? Вотъ что бы было.

Опять кричалъ во снѣ,—видѣлъ всю ночь Гольденберга.

1-го сентября.

Предварительныя записи на акціи поднялись еще на 75 рублей. Успѣхъ колоссальный! Многіе ужъ капиталистами сдѣлались. И что замѣчательно,— никто у себя въ рукахъ не оставляетъ, всѣ только другъ съ друга разницу берутъ.

Тѣмъ не менѣе, былъ огорченъ бесѣдой съ однимъ московскимъ мануфактурщикомъ.

Миткалевое у него дѣло.

Личность величественная, но разговоръ непріятный.

Предложили ему на тысячу акцій предварительно записаться:

— Пока не тѣсно!

Говоритъ:

— Тысячу-съ не тысячу, а одну акцію возьму охотно. Больше для того, чтобъ въ залъ засѣданій имѣть право войти,—будто бы гражданскій истецъ,—когда васъ судить будутъ. А то теперь оченно трудно-съ въ залъ засѣданій попасть-съ!

— Позвольте! — говорю.— Какъ въ залъ засѣданій! Дѣло солидное. Капиталисты принимаютъ участіе.

— Помилуйте-съ,— говоритъ,— какіе же у васъ въ Петербургѣ капиталисты-съ? У васъ ежели человѣкъ хорошую марку краснаго вина пьетъ,— такъ онъ и капиталистъ! А только я такъ замѣчаю, что многіе за послѣднее время съ краснаго вина на пиво перешли... А

впрочемъ, я что же-съ? Услужающій, дай мнѣ и господамъ шесть бутылокъ „Монополя-сэкъ“. Пусть промышленность оживляютъ, а я послушаю. Я люблю это! Забавно-съ.

Пренепріятная личность.

А впрочемъ, какъ мнѣ одинъ изъ компаньоновъ сказалъ:

— Что его слушать? Самъ потомъ плакать будетъ, что милліоны мимо носа проплыли.

Вотъ радъ буду, когда онъ заплачетъ! Вотъ радъ буду!

2-го сентября.

Вотъ сегодня истинно пріятно провелъ время. И акціи еще на 50 рублей поднялись и съ графомъ съ однимъ познакомился. Настоящій графъ! Не только потому „сіятельствомъ“ зовутъ, что хорошее красное спрашиваетъ.

Величественная личность.

Другого такого дѣятеля въ Россіи нѣтъ! Въ 44 обществахъ членомъ ревизіонной комиссіи состоитъ. Шутка?

— Ваше, — говорю, — сіятельство, а не изнуряете вы себя?

— Ничего, — говоритъ, — справляюсь! Я приказалъ, чтобъ на дому меня не затрудняли. Къ Кюба дѣла носятъ!

Мнѣ пояснили, въ чемъ дѣло. Человѣкъ величественный, рода знатнаго, но насчетъ имущества въ умаленіи. Вотъ за него и хлопотали:

— Сдѣлайте такъ, чтобъ человѣкъ сообразно жить могъ.

Ну, и сдѣлали. Какъ общество, такъ и говорятъ:

— Вы ужъ въ члены ревизіонной комиссіи графа выберите.

До 77 тысячъ въ годъ. Зато дня спокойнаго нѣтъ: все откуда-нибудь жалованье приносятъ.

Сядетъ завтракать, — сейчасъ швейцаръ:

— Ваше сія-сь. Тамъ артельщикъ изъ вашего общества васъ спрашиваетъ!

— Меня? Ты хорошо знаешь, что меня? А то тутъ на прошлой недѣлѣ путаница вышла. Я съ Коко Петрищевымъ перепутался. Я за него, оказывается, жалованье получилъ, а онъ за меня въ отчетѣ ревизіонной комиссіи расписался. Переписывать потомъ пришлось! Ты хорошенько артельщика спроси!

Такой осторожный графъ.

— Такъ точно! Ваше сія-сь спрашиваютъ!

— Ну, зови! Что тебѣ, братецъ?

— Жалованье, ваше сія-сь.

— А! Хорошо! Давай жалованье. Что сдѣлать надо? Писать гдѣ-нибудь?

— Такъ точно, ваше сія-сь. Вотъ здѣсь, ваше сія-сь.

— Здѣсь? Въ этой клѣточкѣ? Что писать надо?

— Званье-фамиль.

— Вотъ тебѣ „званье-фамиль". Больше ничего?

— Нѣтъ, вотъ здѣсь еще, ваше сія-сь, черкнуть потрудитесь. Отчетъ ревизіонной комиссіи.

— Давай сюда. Здѣсь что? То же „званье-фамиль?"

— Ужъ и число проставьте для вѣрности.

— Изволь тебѣ „для вѣрности". Какой у насъ теперь мѣсяцъ? Какое число? Все?

— Покорнѣйше благодаримъ, ваше сія-сь.

— Ну, на тебѣ рубль. Иди съ Богомъ. Кланяйся директорамъ...

— Много лѣтъ здравствовать, ваше сія-сь! Счастливо оставаться, ваше сія-сь!

— Иди. Иди... Постой, постой! Швейцаръ, верни артельщика! Верни! Ты изъ какого, братецъ, общества?

— Изъ общества чугуно-плавильнаго-косте-обжигательнаго-тряпко-вареннаго дѣла на вѣрѣ.

— Ну, ступай! Какія, однако, у насъ въ Россіи общества есть! Скажите!

Графъ и насъ ревизовать будетъ.

Мнѣ потихоньку сказали:

— Надо и ему десятокъ учредительскихъ записать. Таковъ ужъ обычай!

Пусть записываютъ, тѣмъ болѣе, что, въ виду успѣха дѣла, число учредительскихъ рѣшено удвоить.

3-го сентября.

Акціи идутъ въ гору и въ гору.

Теперь нужно ужъ и за хлопоты приниматься.

Вчера мнѣ объявили:

— Теперь пора ужъ и къ Донону обратиться.

— Прошеніе, — спрашиваю, — что ли писать надо?

— Зачѣмъ, — говорятъ, — прошеніе? Можно и безъ прошенія дѣло объяснить!

Такъ въ Петербургѣ все просто и величественно. Господи!

4-го сентября.

Былъ у Донона.

Вотъ ужъ величественно, такъ величественно! Это у нихъ, должно-быть, въ родѣ совѣта какого-то. Кругомъ только и слышишь: „ваше превосходительство“, „ваше превосходительство“.

Обѣдали съ однимъ. Заштатный, но въ силѣ, говорятъ, такой, какой ни одному штату не полагается.

Обошлось, дѣйствительно, безъ прошенія. Просто, спросили бутылку какого-то такого вина,—я даже испугался: думалъ — младенца подкинули и въ корзиночкѣ несутъ. Два лакея на ципочкахъ, прикусивъ губы и стараясь не дышать, несли. А метръ-д'отель около танцовалъ и на нихъ цыкалъ.

Заштатный какъ увидалъ бутылку, такъ и сказалъ:

— Судя по маркѣ, рѣчь идетъ о нефтяномъ фонтанѣ. Не такъ ли?

Тутъ меня начали въ бокъ толкать и за фалды дергать.

— Не столько, — говорю, — даже о нефтяномъ фонтанѣ, ваше превосходительство, сколько безпокоитъ насъ то, что осталось нѣкоторое количество не розданныхъ учредительскихъ акцій. Не дозволите ли...

Заштатный другихъ четверыхъ кликнулъ. Еще четыре такихъ же бутылки съ такими же предосторожностями понесли, еще...

Были у Эрнеста.

Заштатный рѣчь держалъ, объ оживленіи промышленности говорилъ и на меня пальцемъ показывалъ, какъ на примѣръ для подражанія.

Какой-то генералъ, — изъ посторонняго вѣдомства какъ-то попался,—экспромптъ въ стихахъ въ мою честь говорилъ, почему-то меня называлъ Дарьей:

„Къ тебѣ я обращаюсь, Дарья!
Тебѣ желаю: „жарь!“ я!

Послали за цыганами, за какими-то статскими совѣтниками, — государственные вопросы рѣшали, танцовали по этому случаю... не помню...

4-го сентября.

Кюба... Эрнестъ... Не помню... Ничего не помню...

Какого-то числа, день былъ безъ числа.

Очутился утромъ у Фелисьена подъ руку съ тайнымъ совѣтникомъ.

Официіантъ спрашиваетъ:

— Изволите за кѣмъ послать, или такъ въ кабинетѣ плакать будете?

— Какъ плакать? О чемъ плакать!

— А такъ, — говоритъ, — очень многіе къ намъ поутру плакать пріѣзжаютъ. Возьмутъ кабинетъ, смотрятъ на рѣку и плачутъ. Потому что душу имѣютъ.

— Да вѣдь этакъ, — говорю, — и самоубійствомъ кто можетъ кончить?

— Не извольте, — говоритъ, — безпокоиться. Мы петербургское лицо знаемъ. Зачѣмъ петербургскому лицу до этакого отчаянія чувствъ доходить. Отплачется у насъ и опять за прежнее съ новыми силами примется.

— Дай, — говоритъ мой спутникъ, — намъ большой кабинетъ. Много плакать хочу! Тотъ вотъ, гдѣ мы намедни всѣмъ вѣдомствомъ плакали.

Отвели. Подали фрукты, ликеры, нашатырнаго спирта, одеколона, — и заперли.

Величественный моментъ пережилъ. Исповѣдь тайнаго совѣтника слышалъ и рыданіямъ его внималъ.

Плакалъ мнѣ въ жилетку. Билъ и себя и меня въ грудь.

— Знаю я васъ! — кричитъ. — Вы на нашего брата глядите, думаете: „Ишь пиршествуетъ! Ишь доволенъ! Ишь кому жить!“ А вы намъ внутрь заглядывали? А вы знаете, что у насъ внутри-то дѣлается? Внутри?! У меня, напримѣръ! Внутри у меня — солитеръ! Знаешь ты это?

— Какъ, — говорю, — солитеръ?

— Такъ, — говоритъ, — солитеръ въ желудкѣ. У другого жена—транжирка, другого француженка разоряетъ, на правильной стезѣ имъ удержаться не даютъ. А я отъ этого воздерживаюсь. Я даже съ однимъ пустынножителемъ въ перепискѣ состою. Но меня солитеръ губитъ! Жены нѣтъ, француженки нѣтъ, — солитеръ! Я какъ, можетъ-быть, страдаю! Ты думаешь, я не чувствую? Я все, братъ, чувствую. Я утромъ просыпаюсь, думаешь, не рѣшаю? Рѣшаю! „Такъ поступать буду, этакъ. Баста. Довольно“. Клятву даю. А иду мимо Милютиныхъ лавокъ и вдругъ вижу въ окнѣ фигу. Индійскую фигу!

И вдругъ мой солитеръ поднимается: фигу ему, подлецу, подай! Знать ничего не хочетъ! Подай фигу! Устрицъ ему, негодяю, шабли, рейнской лососины, пулярку съ трюфелями! Ну, и иду къ вамъ, къ предпринимателямъ подлымъ! И сдаюсь: кормите моего солитера. А если бы у меня не солитеръ! Можетъ, судьбы Россіи иныя были бы. А солитеръ! Мнѣ бы по моему солитеру совмѣстителемъ восьми вѣдомствъ надо быть. А у меня одно. Не свидѣтельствовали.

Тутъ ужъ я его утѣшать началъ:

— Не плачьте, — говорю, — развѣ эта ваша вина? Ахъ, какъ у насъ, безъ достаточнаго усмотрѣнія, назначаютъ. Надо бы медицинскому освидѣтельствованію подвергать. По болѣзни и должность. Напримѣръ, печень у человѣка, — въ губернаторы. Ежели губернатору да печень этакую хорошенькую, — онъ такъ губернію подтянетъ, земства эти самыя — любо-дорого. А то что жъ, помилуйте. Былъ въ одной изъ сосѣднихъ губерній губернаторъ. Такъ у него сахарная болѣзнь. Развѣ губернаторское страданье? Машинку онъ себѣ выписалъ, „восхожденье на горы" называется. Утромъ, какъ встанетъ, — сейчасъ палочку, шапочку даже тирольскую для иллюзіи надѣвалъ, и начинаетъ по ступенькамъ „восхожденіе". А преданный ему камердинеръ въ это время изъ мѣховъ въ него дуетъ. Будто буря въ горахъ. „Высоко я,—спрашиваетъ,—Василій?"—„Ухъ, какъ высоко,— говоритъ, — ваше п-во, даже не видать!" Нешто это порядокъ? Является правитель канцеляріи, язвительный мужичонка былъ. „Ваше,— говоритъ,— п-во, въ земствѣ революція: опять шесть новыхъ школъ хотятъ строить!" А губернаторъ ему: „Ахъ, какой вы неосторожный! Я вчера на 7,000 футовъ надъ уровнемъ моря поднялся, въ ледникахъ ночевалъ и теперь къ вершинѣ Чимборaза поднимаюсь. А вы мнѣ вдругъ о какомъ-то земствѣ. Мнѣ впору подъ ноги смотрѣть. Вы знаете, что

такое вершина Чимборазо? Направо пропасть, налѣво пропасть, а посрединѣ тропиночка, какъ нитка. До земства ли тутъ? Оставьте ихъ въ покоѣ!“ И распустилъ. А будь у него печень! Рѣшительно необходимо медицинское освидѣтельствованіе.

Обнялъ меня старикъ:

— Правильныя, — говоритъ, — твои слова! Вѣрно говоришь!

Однако, часа два еще все-таки плакалъ. А потомъ его солитеръ себѣ устрицъ спросилъ, и онъ мнѣ бумагу подписалъ.

Вернулся домой, нашелъ городскую телеграмму отъ директоровъ нашего предпріятія:

— Гдѣ пропадаете? Акціи идутъ въ гору.

Слава Богу!

7-го сентября.

Караулъ! Пожаръ! Катастрофа! Всемірный потопъ! Все погибло. Разрушено. Ничего нѣтъ.

Нефть... фонтаны... Кюба... Эрнестъ... акціи... ничего... ничего... не существуетъ.

Сейчасъ получилъ изъ дома письмо.

Жена пишетъ:

„Наконецъ, узнала истинную причину, почему огурцы провоняли“.

Чортъ тебя узнавать просилъ!

„Оказывается, эта дура Афимья, когда капусту въ погребъ спускали, раскокошила бочку съ керосиномъ, который былъ купленъ на зиму, и вышибла днище. Оттого и огурцы теперь погибли, и земля около кладовки керосиномъ пропиталась, и даже варенье“...

Потонуть тебѣ въ твоемъ вареньѣ.

Кинулся къ Кюба, мертвый, прямо мертвый, повалился на диванъ.

— Все... все... погибло... днище... — только и говорю.

Отпоили водой.

— Что случилось? — спрашиваютъ.

Разсказалъ все толкомъ.

Расхохотались.

— Только-то?

— Какъ, — говорю, — только? Чорта вамъ еще?

— Велика, — говорятъ, — важность! Акціи, и даже всѣ ужъ учредительскія, проданы. Вотъ онѣ, денежки-то.

— Да что жъ дѣлать теперь? Дѣлать что?

— Какъ что дѣлать?.Рыть будемъ. Ну, нефти нѣтъ,— можетъ-быть, другое что есть. Можетъ, тамъ золото есть. Почемъ знать? Денегъ не хватитъ, — дополнительный выпускъ акцій можно сдѣлать. Ты чѣмъ нюнить-то, садись-ка вотъ, ходатайства о выпускѣ облигацій подписывай. Облигаціи теперь надо выпускать. Вотъ что.

Подписалъ. Величественно!

Опять день безъ числа.

Живу. И промышленность, чувствую, живетъ. Вѣдь подумать только, какъ это оживитъ Рязанскую губернію! Ахъ, Петербургъ! Обо всей Россіи думаетъ!



Французы.

(Франко-русская повѣсть.)

I.

Какъ-то въ срединѣ іюля я прочелъ въ „Figaro“:

„Вчера въ Парижъ пріѣхалъ изъ Крыжополя русскій генералъ Пупковъ“.

А „Gaulois“, который конкурируетъ съ „Figaro“ изъ всѣхъ силъ, сообщалъ:

„Россія и Франція! Вчера ровно въ 8 час. 20 мин. утра съ экспрессомъ прибылъ въ Парижъ нашъ гость, знаменитый русскій генералъ Пупковъ. Генералъ пріѣхалъ прямо изъ извѣстнаго города Крыжополя, гдѣ онъ имѣетъ свою резиденцію“.

„Intransigeant“, сообщая ту же новость, добавлялъ:

„На вокзалѣ при встрѣчѣ не было никого изъ правительства. Отлично спятъ эти измѣнники, которые называются министрами!“

Въ 3 часа, по обыкновенію, вышла „La Patrie“, — и весь Парижъ огласился воплями:

— Подробности о генералѣ Пупковѣ! Требуйте „La Patrie“! Подробности о генералѣ Пупковѣ!

На бульварахъ чувствовалось возбужденіе.

— Ну, теперь, когда генералъ Пупковъ пріѣхалъ, все объяснится! — говорили за столиками.

„La Patrie“ расходилась въ двойномъ количествѣ экземпляровъ, и когда я вернулся домой, моя консьержъ была вся въ слезахъ.

— Что случилось?

— Ахъ, сударь, что будетъ съ нашей бѣдной Франціей! Куда ведетъ ее теперешнее правительство! Сударь, я родилась въ этомъ домѣ. Я живу здѣсь 50 лѣтъ! Я—наслѣдственная консьержъ этого дома! Моя мать была здѣсь консьержъ, а за нею я. Я видѣла все въ своей жизни. Имперію, республику, осаду. Въ нашемъ домѣ помѣщался штабъ прусскихъ уланъ. При коммунѣ здѣсь было управленіе 11 округа. Затѣмъ, я видѣла, какъ вонъ у того забора версальцы разстрѣливали коммунаровъ. Меня самоё хотѣли повѣсить на этомъ фонарѣ. Я все пережила съ нашей великой Франціей. Но что будетъ теперь? Къ чему приведетъ насъ это правительство? Ахъ, сударь, видно — вы не читали „La Patrie".

И она подала мнѣ омоченную слезами „Бесѣду со знаменитымъ генераломъ Пупковымъ".

„Наши утренніе confrères'ы сообщили уже о пріѣздѣ въ Парижъ выдающагося и знаменитаго, доблестнаго генерала Пупкова.

„Прочитавъ это извѣстіе, мы, конечно, отправили сейчасъ же всѣхъ нашихъ особыхъ спеціальныхъ корреспондентовъ по министерствамъ.

„Увы! Ни въ одномъ министерствѣ не знали даже о пріѣздѣ генерала Пупкова. Фактъ!

„— Мы сами только что узнали объ этомъ изъ утреннихъ газетъ! — отвѣчали министры.

„Правительство,—какъ мужъ,—обо всемъ узнаетъ послѣднимъ. И такимъ людямъ ввѣрена судьба Франціи!

„Генералъ Пупковъ пріѣзжаетъ въ Парижъ, а правительство ждетъ утреннихъ газетъ, чтобъ узнать объ этомъ событіи, которое, несомнѣнно, взволнуетъ нашихъ добрыхъ сосѣдей по ту сторону Рейна. Бѣдный Эльзасъ!

„Въ виду такихъ обстоятельствъ, мы рѣшили лично посѣтить генерала Пупкова и застали его въ скромномъ номерѣ 5-го этажа Grand Hôtel'я.

„Достойна всяческой похвалы эта удивительная скромность русскихъ! Какой контрастъ съ нашими министрами, разъѣзжающими не иначе, какъ въ отдѣльныхъ вагонахъ!

„Знаменитому русскому генералу угодно было насъ принять. Ему 60 лѣтъ,—но на видъ не болѣе 50, вѣроятно, благодаря его скромной жизни. Какъ Наполеонъ, онъ небольшого роста и обладаетъ пріятной полнотой. Намъ показалось, что генералъ Пупковъ не совсѣмъ свободно владѣетъ нашимъ языкомъ. Но, быть-можетъ, это небольшая дипломатическая хитрость: какъ бы затрудняясь подбирать слова, генералъ даетъ себѣ время обдумать отвѣтъ.

„— Цѣль вашего пріѣзда въ Парижъ, ваше превосходительство? — спросили мы.

„— Осмотрѣть выставку!—отвѣчалъ генералъ, тонко улыбаясь.

„Мы поняли эту улыбку и, чтобъ не настаивать на щекотливой темѣ, перевели разговоръ:

— „Во Франціи знаютъ и любятъ Крыжополь, ваше превосходительство!—сказали мы.

„— Благодарю! — отвѣчалъ генералъ.

„— Не стоитъ благодарности. Если это не тайна, не потрудитесь ли вы сказать, ваше превосходительство, сколько жителей въ этомъ великомъ и дружественномъ городѣ?

„— 515 человѣкъ, не считая гарнизонной команды.

„Очевидно, это первоклассная крѣпость. Иначе зачѣмъ бы генералу Пупкову имѣть тамъ резиденцію?

„Не желая показаться нескромными, мы откланялись коменданту знаменитой крѣпости и спѣшимъ подѣлиться весьма важными дипломатическими свѣдѣніями, которыя намъ удалось добыть. О, русскіе дѣятели умѣютъ молчать! Добродѣтель, которою не могутъ похвастаться члены нашего правительства!“

— Ну, не бѣдная Францiя?—воскликнула консьержъ, когда я кончилъ чтенiе „артикля“.

За обѣдомъ у Ledoyen ко мнѣ подлетѣлъ самъ хозяинъ. Во фракѣ, съ розеткой Почетнаго Легiона въ петлицѣ, сiяющiй:

— Я только что имѣлъ честь самъ служить генералу Пупкову! О, я сразу его узналъ по портрету, напечатанному въ „La Presse“. Кроки,—но узнать сразу можно. О, такiя лица узнаются среди тысячъ! Удивительная личность, и какъ ѣстъ! О, вы можете быть совершенно спокойны: генералъ Пупковъ удовлетворенъ! Онъ самъ сказалъ „удовлетворенъ“. Monsieur, кажется, русскiй журналистъ?

— Ну?

— Не будетъ ли monsieur любезенъ дать въ свой журналъ телеграмму? Я даже приказалъ записать меню для monsieur. Генералъ Пупковъ имѣлъ закуски, какъ супъ — крутъ-о-по, филе-соль au vin blanc avec des écrevisses. Пожалуйста, телеграфируйте: avec des écrevisses. Спецiальность нашего дома. Caneton Rouannaise au sang! О, какая утка! Coupe St.-Jack генералъ Пупковъ спросилъ даже два раза. Ваши читатели будутъ въ восторгѣ. Россiя порадуется за своего генерала. И все это орошено Château Leoville Poyféré 1878 года. Я даже сдѣлалъ скидку въ счетѣ. Подалъ 30 франковъ всего!

Онъ вздохнулъ:

— Что дѣлать! Я французъ и патрiотъ! Приходится дѣлать скидки. Я надѣюсь, что обѣдъ генерала Пупкова обратитъ вниманiе правительства, и слѣдующiй правительственный завтракъ будетъ поручено сдѣлать мнѣ. Чортъ возьми, должны же цѣнить.

Тутъ онъ нагнулся ко мнѣ и сказалъ на ухо:

— Теперь генералъ Пупковъ отправился въ „Café des Ambassadeurs“. Конечно, объ этомъ вы не телеграфируйте. А впрочемъ... Я сообщаю это только вамъ!

На утро, однако, объ этомъ зналъ весь Парижъ.

Въ 22 газетахъ въ отдѣлѣ театральныхъ „publicités“ сообщалось слово въ слово одно и то же:

„Café des Ambassadeurs“, съ своей программой внѣ конкуренціи, продолжаетъ служить мѣстомъ для rendez-vous всего избраннаго общества. Вчера концертъ этого знаменитаго учрежденія удостоилъ своимъ посѣщеніемъ славный генералъ Пупковъ. Великій полководецъ остался совершенно удовлетворенъ и много аплодировалъ гг. Полюсу, Полэну, а также несравненной г-жѣ Отеро, которая все такъ же хороша, какъ и въ позапрошломъ году“.

Въ слѣдующей замѣткѣ сообщалось, что „знаменитый гость Франціи посѣтитъ сегодня „Scala“, программа которой отличается также необычайной изысканностью“.

А въ другомъ отдѣлѣ publicités сообщалось:

„Всѣ газеты сообщаютъ, что пріѣхавшій теперь въ Парижъ знаменитый герой Пупковъ отличается необыкновенно свѣжимъ цвѣтомъ лица. Мы готовы сообщить читателямъ причину этой моложавости знаменитаго генерала. Генералъ Пупковъ не моется другимъ мыломъ, кромѣ мыла принцевъ Конго. Въ продажѣ вездѣ!“

Въ полдень ко мнѣ, запыхавшись, влетѣлъ пріятель-confrère, французскій журналистъ, сотрудникъ самой республиканской изъ республиканскихъ газетъ. Сосланный когда-то даже за крайность убѣжденій въ Каледонію.

Не снимая шляпы, упалъ въ кресло, съ трудомъ отдышался и трагически воскликнулъ:

— Ничего!.. Рѣшительно ничего!.. Онъ молчитъ!

— Кто молчитъ?

— Другъ мой,—схватилъ мою руку confrère,—я обращаюсь къ вашей дружбѣ. Я требую отъ нея жертвы. Поѣзжайте сейчасъ же къ генералу Пупкову...

— Да я вовсе не знаю генерала Пупкова!

Confrère вытаращилъ на меня глаза.

— Что-о?.. Повторите!.. Вы шутите?.. Но этакими вещами не шутятъ... Вы? Не знаете? Генерала? Пупкова?

— Клянусь, даже имя-то его услыхалъ въ первый разъ здѣсь!

Confrère поблѣднѣлъ.

— Какъ? Вы русскій, и не знаете именъ всѣхъ вашихъ генераловъ?!

— Другъ мой, гдѣ жъ ихъ всѣхъ знать? Генералы весьма многочисленны. На это книжка особая есть и довольно толстенькая. Кому нужно, тѣ и справляются. А мнѣ зачѣмъ?

Confrère смотрѣлъ на меня съ ужасомъ:

— Зачѣмъ вамъ генералы?! Да вы... вы...

Онъ закрылъ окно, чтобъ насъ кто-нибудь не услыхалъ съ улицы, и сказалъ почти шопотомъ:

— Да вы... вы — либералъ!

Я покатился со смѣха.

— Особенно хорошо звучитъ это страшное обвиненіе въ вашихъ устахъ.

Confrère взбѣсился, сорвался съ мѣста и зашагалъ по комнатѣ:

— Чортъ возьми!.. То мы!.. А вы... Вы—совсѣмъ другое дѣло!.. Зачѣмъ вамъ быть либералами? Чего вамъ надо? Съ васъ совершенно довольно!.. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!.. Это невозможно!

Онъ схватился за голову.

— Довольно, что мы... А вы не имѣете права либеральничать. Это чортъ знаетъ, что такое! Нѣтъ, нѣтъ! Такъ продолжаться не можетъ! Вотъ monsieur Лепинъ... Мы недовольны monsieur Лепиномъ. Онъ скоро слетитъ у насъ съ мѣста. Его надо отправить къ вамъ. Онъ это умѣетъ ловить! Онъ всѣхъ васъ переловитъ, милые друзья, и туда... какъ это у васъ отлично называется... chez Makar!

— Куда Макаръ телятъ не гоняетъ?

— Вотъ, вотъ! Vous êtes tous de chez Makar! Tous! Вся ваша такъ называемая „интеллигенція“!

— Да если ловить-то некого и не за что?

— Онъ найдетъ за что! Онъ найдетъ!.. А, какъ это вамъ понравится?.. Вы у Мильерана на вечерѣ были? — строго спросилъ меня confrère.

— Былъ! А что?

Онъ снова схватился за голову:

— Если бъ это знали — Мильеранъ погибъ! Мильеранъ скомпрометированъ! Вы, вы, иностранецъ, погубили нашего министра! Онъ смѣется! Онъ еще смѣется!

Хохотъ разбиралъ меня все больше и больше.

— Послушайте! Ну, будь я даже изъ либераловъ либералъ,—да вѣдь вашъ Мильеранъ-то соціалистъ!

Лицо confrère'a стало холодно и сурово.

— Французскій соціалистъ не можетъ быть въ дружбѣ съ русскимъ либераломъ. Какъ мнѣ ни жаль, но я долженъ объ этомъ написать въ „Journal des Débats!“

Онъ отступилъ и сказалъ ледянымъ тономъ:

— Другъ мой! Я васъ любилъ. Я васъ искренно любилъ. Вы помните, сколько разъ я приглашалъ васъ къ себѣ обѣдать,—и вы отлично помните, всегда бывало лишнее блюдо къ обѣду. Всегда! То соль, то тюрбо, то жиго. Но я заблуждался. Отнынѣ я прошу васъ не считать меня въ числѣ вашихъ знакомыхъ. Прощайте!

И онъ ушелъ, даже не протянувъ мнѣ руки, а на подъѣздѣ оглянулся, не слѣдитъ ли кто-нибудь за нимъ.

Въ два часа на бульварахъ камло вопили:

— Генералъ Пупковъ подъ стѣнами Пекина! Покупайте „Petit Bleu“.

Что за чортъ! Вчера обѣдалъ у Ledouen, а сегодня подъ стѣнами Пекина очутился!

Купилъ газету,— оказалось опять „интервью“.

Специальный корреспондентъ газеты обратился къ генералу Пупкову съ вопросомъ:

„— Что стали бы вы дѣлать, генералъ, если бы очутились подъ стѣнами Пекина?

„— Что приказало бы начальство! — отвѣтилъ намъ доблестный генералъ.

„— Вотъ отвѣтъ, достойный военнаго! — добавляла радикальная газета.— Какой урокъ для генераловъ Мерсье, фрондирующихъ противъ правительства!“

Въ 8 часовъ вечера я присутствовалъ въ залѣ Ваграмъ на банкетѣ націоналистовъ „въ честь русскаго генерала Пупкова“.

За входъ брали 5 франковъ „съ холоднымъ ужиномъ и шампанскимъ“. Но многихъ пропускали и за три франка и за два:

— Онъ славный патріотъ!

Въ залѣ... какая смѣсь одеждъ и лицъ!

Какой-то подвыпившій, обшарпанный субъектъ билъ по плечу графа de St.-Julien и говорилъ:

— На американкѣ женился? Молодчина! Милліонъ годового дохода? Молодчина! А моя-то,— всего по 40 франковъ въ день приноситъ!

На что графъ, чтобы перемѣнить разговоръ, отвѣчалъ:

— Вы тоже за короля? Франціи нужна власть. Неправда ли?

На предсѣдательскомъ мѣстѣ сидѣлъ Рошфоръ съ высохшей головой, мерцала глазами madame Gyp, меланхолически каталъ изъ хлѣба шарики и готовился къ спичу Франсуа Коппе, съ лицомъ стараго актера на пенсіи.

Рошфоръ постучалъ по тарелкѣ и крикнулъ:

— Concitoyens!

И Франсуа Коппе поднялся.

— На столъ! На столъ!

Франсуа Коппе извинился передъ madame Gyp и взлѣзъ на столъ.

— Concitoyens! Вы помните, что деликатность не позволила намъ пригласить на этотъ оппозиціонный банкетъ самого генерала Пупкова!

— Долой министерство измѣны!

— Министерство безчестія!

— Фашода!

— У-лю-лю!

— Тише! Гражданинъ Коппе хорошо говоритъ!

— Онъ будетъ маркизомъ при королевствѣ.

— Vive l'armée!

— Concitoyens! Это не мѣшаетъ намъ, націоналистамъ, добрымъ французамъ, собравшимся здѣсь безъ различія, партій, взглядовъ...

— Vive le roi!

— Vive l'empereur!

— Vive la commune!

— Vive l'apmée!

— ...поднять за здоровье нашего дорогого гостя, гостя Франціи, славнаго русскаго генерала Пупкова, стаканъ... не шампанскаго! О нѣтъ! Шампанское пусть пьютъ министерскіе...

— Долой кастрюли!

— Долой министерство!

— Стаканъ кинкина, доброй кинкина!

— Кинкина Дюбуа! Лучшее средство отъ несваренія желудка! Называется націоналистской! Въ продажѣ вездѣ! — рявкнулъ чей-то громовой голосъ.

— Ура! — закончилъ Коппе и замахалъ руками.

— Ура!

— Vive Dubois!

— Да здравствуетъ кинкина!

— Долой министерство!

И среди этихъ восторженныхъ криковъ собраніе единодушно вотировало заключеніе:

— „Собраніе добрыхъ гражданъ, сошедшихся въ количествѣ 5,000 человѣкъ“...

— Пишите семь!

— Всего только двѣ! — крикнулъ кто-то, его отколотили.

— ...„7,000 человѣкъ, въ залѣ Ваграмъ, выражая свое недовѣріе правительству и негодованіе Вальдеку-Руссо, привѣтствуетъ, съ кинкиной Дюбуа (въ продажѣ вездѣ) въ рукахъ, славнаго и знаменитаго генерала Пупкова“.

— Ура!

А на утро Рошфоръ писалъ подъ заголовкомъ:

— „Новая измѣна министерства Дрейфуса.

„Министерство безчестія, министерство измѣны, министерство Вальдека-Эйфеля и выгнаннаго всѣми соціалистскими комитетами измѣнника Мильерана совершило новый актъ предательства, несомнѣнно, продиктованный этимъ панамистамъ изъ Берлина. Оно стремится разрушить нашъ союзъ; вотъ ужъ пять дней, какъ знаменитый генералъ Пупковъ нашимъ гостемъ, здѣсь, въ Парижѣ, и они не прислали ему ни одного приглашенія ни на одинъ изъ ихъ отвратительныхъ завтраковъ или обѣдовъ, гдѣ подаютъ тухлую провизію, отравляютъ добрыхъ гражданъ и только разводятъ въ Парижѣ дисентерію, могущую подорвать успѣхъ нашей великолѣпной выставки“.

А на слѣдующій день „Figaro“ печаталъ:

„Сегодня нашъ знаменитый гость генералъ Пупковъ будетъ присутствовать на раутѣ у министра X, куда онъ получилъ спеціальное, почетное приглашеніе. Франція можетъ спать спокойно за такимъ правительствомъ. Министерство отлично знаетъ, что ему дѣлать. Негодованіе одного изъ нашихъ утреннихъ собратьевъ совершенно неосновательно. Если генералъ Пупковъ и

не получилъ въ эти дни ни одного приглашенія на великолѣпные завтраки и обѣды, которыми наше правительство изумляетъ всю Европу, то просто потому, что въ эти пять дней не было ни одного правительственнаго праздника. Министры были заняты день и ночь государственными дѣлами на благо страны".

II.

На раутѣ у министра X бродило то странное и удивительное общество, которое только и можно встрѣтить, что на парадныхъ раутахъ у французскихъ министровъ.

Владѣлецъ колоссальнѣйшихъ въ мірѣ свиныхъ боенъ, въ Чикаго, американецъ, рекомендовавшійся не иначе, какъ:

— Братья Смиссъ и К°.

Онъ бродилъ, пристально оглядывалъ встрѣчныхъ и бормоталъ по своей странной привычкѣ:

— 80 кило... 85 кило... Ого! Сто кило,— никакъ не меньше!

— Простите за нескромный вопросъ,— спросилъ я, здороваясь съ мистеромъ „бр. Смиссъ и К°",— что это вы постоянно шепчете?

— А вы замѣтили? — спохватился онъ. - Прескверная привычка! Никакъ не могу отвыкнуть! Отъ всего отвыкъ. Трубку курить отвыкъ, табакъ жевать отвыкъ, на полъ плевать отвыкъ, на стѣны плевать отвыкъ, въ потолокъ плевать отвыкъ, встрѣчныхъ по спинѣ ударять отвыкъ,— а вотъ отъ этого отвыкнуть не могу. А вѣдь я не сегодня—завтра—тесть герцога. Настоящій герцогъ: отель въ Сенъ-Жерменѣ, замокъ въ Вандеѣ, 3.000.000 франковъ долгу, и у матери любовникъ-аббатъ. Теперь выхлопатываетъ удостовѣреніе, что его предки дѣйствительно участвовали въ крестовыхъ походахъ. Не достанетъ удостовѣренія,— не надо... 60 кило,

не больше... Не надо, говорю! Покупать кожаный товаръ, такъ покупать хорошій. Братья Смиссъ и К° другого не покупаютъ! Кожаный товаръ долженъ быть первый сортъ: съ аттестатами зять!.. Сто десять кило!..

— Да, но что вы бормочете? Что значатъ эти „сто десять кило“?

— Вѣдь вотъ подите же! Въ лучшемъ обществѣ вращаюсь. Все, что долженъ дѣлать высокопоставленный американецъ... 90 кило... продѣлалъ. Съ Миланомъ въ карты игралъ. 12 картинъ купилъ, большія картины, въ самой маленькой 2 метра длины... 85 кило... Поль Бурже у насъ бываетъ. Онъ о моей дочери даже психологическій этюдъ написалъ. Какую-то новую черточку въ ней открылъ. О, Поль Бурже! Онъ занимается только избранными натурами. А избранныя натуры начинаются съ 200,000-франковаго годового дохода. Ростанъ моей дочери два стиха изъ своей драмы посвятилъ. Это мы все можемъ... 96 кило... А вотъ отъ этой привычки отучиться не могу... 75 кило всего на все... Это я еще въ молодости привыкъ. На бойнѣ сидѣть и всякую проходящую мимо свинью на глазъ опредѣлять: сколько вѣситъ. Удивительно наметался... Хотите держать пари, что вотъ въ этомъ джентльменѣ не менѣе 120 кило? Желаете? На 1,000 долларовъ пари?

Ходилъ тутъ съ выжидающимъ лицомъ сэръ Вильямъ Уилькоксъ. Сэръ Уилькоксъ присутствовалъ на знаменитомъ пожарѣ въ Bazare de Charité, — и это его такъ заинтересовало, что съ тѣхъ поръ его можно видѣть вездѣ: на первыхъ представленіяхъ новыхъ оперъ, на представленіяхъ укротителей звѣрей, на скачкахъ, — вездѣ, гдѣ можно ждать какого-нибудь несчастья.

Сэръ Уилькоксъ разглядывалъ полъ и говорилъ:

— Отлично натертъ полъ. Очень возможно, что кто-нибудь споткнется и сломаетъ себѣ ногу! Или вдругъ кто-нибудь крикнетъ „пожаръ!“ На скользкомъ-то полу!

Онъ даже вздрагивалъ отъ предвкушенія.

Herr Шпитцбубе, фабрикантъ патентованныхъ подтяжекъ изъ Берлина, ходилъ самъ не свой и, встрѣтившись, горячо пожалъ мнѣ руку:

— O, fife la rebubligue! На балу у министра! Настоящій министръ! Я жалъ даже руку г-жѣ супругѣ министра и спрашивалъ ее о здоровьѣ. Жаль только, что не будетъ президента!

Мнѣ показалось даже, что я замѣтилъ въ толпѣ знакомаго проводника Кука, который водилъ группу туристовъ и показывалъ достопримѣчательности среди публики.

Чувствовали себя всѣ преглупо. Статистами въ пьесѣ, которая должна ошеломить публику.

Вѣдь всѣ мы были здѣсь,— чтобъ на завтра въ министерскихъ газетахъ появилось:

„Раутъ у министра X собралъ 2,000 человѣкъ. Среди присутствующихъ...“

Г. министръ ходилъ съ кѣмъ-то изъ своихъ избирателей и говорилъ ему:

— Пища превосходная! Все, о чемъ я пожалѣю, когда падетъ кабинетъ,— это поваръ въ министерствѣ. Нѣчто поразительное. Не говоря уже, конечно, о свѣжести провизіи. Canetons Rouannais! Poulardes de Nantes aux truffes. Pré salé. Все это отличныя вещи,— и мы ихъ ѣдимъ! Пища — превосходна!

И, замѣтивъ подслушивавшаго репортера, онъ добавилъ громко и дѣлая красивый жестъ рукою:

— Эта Африка не идетъ у меня изъ головы!

Въ эту минуту колоссальный гайдукъ, весь въ красномъ, на весь залъ завопилъ:

— Son excellence le général de Poupkoff!

Музыка грянула маршъ, толпа разступилась. Министръ бросилъ избирателя и поспѣшилъ. Супруга министра оставила дамъ и спѣшила за мужемъ, оправляя платье.

По паркету, весь красный, подавленный, переконфуженный, словно боясь вотъ-вотъ провалиться сквозь землю, растерянно шелъ симпатичный бритый старичокъ во фракѣ, со Станиславомъ на шеѣ.

— 90 кило!—увѣренно пробормоталъ около меня мистеръ „братья Смиссъ и К°", а англичанинъ смотрѣлъ на старичка влюбленными глазами:

— Не упадетъ ли?

— Я счастливъ, я счастливъ, ваше превосходительство!—усиленно громко, чтобъ слышали репортеры, привѣтствовалъ министръ генерала Пупкова, смотрѣлъ на него съ любовью, но не зналъ, что сказать, и помолчавъ, добавилъ:

— Не пройдемъ ли къ буфету? Пища превосходна!

— Вы русскій?! — подбѣжалъ ко мнѣ старичокъ со Станиславомъ, такъ черезъ полчасика, схвативъ меня за руку, какъ хватаются только утопающіе.

— Русскій!

— Ради Бога!.. Тутъ никто кругомъ не понимаетъ по-русски?

— Вѣроятно, никто.

— Объясните мнѣ, какого чорта имъ отъ меня надобно!?

На глазахъ у него стояли слезы.

— Въ газетахъ, говорятъ, что-то пишутъ! Я по-французски мерси съ бонжуромъ. Что они тамъ городятъ? Ради Бога, дайте вашъ адресъ. Позвольте завтра къ вамъ зайти. Отпустите душу на покаяніе. Что тамъ про меня понаписано? За что въ газеты попалъ?

На слѣдующее утро я читалъ статью Корнели въ „Figaro":

„Всѣ попытки вызвать у насъ междоусобную войну разбиваются о мудрыя дѣйствія нашего кабинета. Междоусобной войны не будетъ. Вчера генералъ Пупковъ былъ на раутѣ у министра X, и этимъ всѣ недо-

разумѣнія устранены. Кабинетъ доказалъ, что онъ понимаетъ, что такое генералъ Пупковъ, и что его сердцу близокъ Крыжополь"...

Въ эту минуту ко мнѣ влетѣлъ самъ виновникъ новой побѣды кабинета.

Онъ почти безъ чувствъ повалился въ кресло:

— Можно мнѣ теперь въ Россію вернуться?

— Почему же?

— А что понаписали? Мнѣ вѣдь перевели. Знакомый сейчасъ въ кафе перевелъ. Господи!

Онъ схватился за голову.

— И дернула меня нелегкая въ отелѣ „генераломъ" назваться. Вѣдь я для прислуги. Прислуга чтобъ была услужливѣе.

— Такъ вы и не генералъ?

— Дѣйствительный статскій совѣтникъ я, поймите! Дѣйствительный статскій совѣтникъ! Чортъ его знаетъ, какъ по-французски перевести: дѣйствительный да еще статскій да еще совѣтникъ. Я и сказалъ просто: генералъ. А я и въ военной службѣ-то никогда не былъ. Откуда они меня въ герои произвели? Въ пробирной палаткѣ я, сударь мой, служилъ, въ пробирной! Какое ужъ тутъ геройство? И вдругъ... Господи! Господи!..

Дѣйствительный статскій совѣтникъ заплакалъ:

— Въ отставку вышелъ, въ Крыжополѣ поселился, вотъ, думалъ, на выставку поѣду, посмотрю... Мечталъ...

— Ну, что жъ особеннаго? Франко-русскія отношенія... ошибка...

— Помилуйте, легко ли? Министровъ изъ-за меня ругали!

— Ну, это у нихъ...

— Гнать ихъ хотятъ! И что за манера? Ну, пріѣхалъ, я понимаю, художникъ знаменитый, писатель, музыкантъ, ученый...

— Ахъ, ими французы у насъ не интересуются,—они только нашими военными.

— Что жъ дѣлать теперь? Что дѣлать?

Тутъ какъ разъ ко мнѣ пришло нѣсколько знакомыхъ французовъ. Я разсказалъ происшествіе.

— Messieurs... donnez moi leçon... que faire?.. Фэръ-то кё?—взмолился бѣдняга.

— Напечатать опроверженіе! — предложилъ я

— Невозможно! — пожали плечами сразу всѣ французы. — Кто жъ напечатаетъ! Вѣдь изъ генерала Пупкова сдѣлали орудіе всѣ: и министерскіе, и націоналисты, и радикалы, и католики. Всѣ объ его генеральствѣ печатали. Кто жъ опровергать будетъ?

— Я уѣду! — воскликнулъ г. Пупковъ.

Французы поблѣднѣли:

— Избави Боже! Націоналисты скажутъ, что министерство васъ оскорбило!

— Ну, такъ останусь навсегда!

— Да! Но министерскіе теперь отъ васъ не отстанутъ. Недоразумѣніе будетъ все запутываться.

— Я зарѣжусь!—внѣ себя завопилъ несчастный.

Французы схватили его за руки:

— Избави васъ Богъ! Рошфоръ напишетъ, что васъ зарѣзалъ Вальдекъ-Руссо!

Бѣдняга былъ близокъ къ помѣшательству. Да, слава Богу, нашелся одинъ разсудительный французъ:

— Хотите, чтобъ газеты оставили васъ въ покоѣ? Отлично! Объявите, что вы пріѣхали просить разрѣшеніе на открытіе во Франціи... ну, хоть фабрики ваксы. Хотите конкуренцію нашимъ фабрикантамъ дѣлать. Никто больше о васъ не упомянетъ ни слова!



Въ отечество.

(Дневникъ генерала Пупкова *).

Парижъ, 1-го августа.

Слава Тебѣ, Господи, отстали!

Какъ только внялъ премудрому совѣту сказаться фабрикантомъ ваксы, — какъ отъ зачумленнаго всѣ, въ разныя стороны.

Взялъ себѣ переводчика, потому что, какъ по-французски „вакса", не знаю, — и какъ только интервьюеръ явился, говорю:

— А ну-ка, переведите ему, что я во Францію не за чѣмъ инымъ пріѣхалъ, какъ хлопотать о разрѣшеніи мнѣ открыть въ Парижѣ фабрику усовершенствованной ваксы.

Какъ вскочитъ французъ. Какъ заговоритъ. Долго по комнатѣ ходилъ, руками махалъ, на ходу даже эта-

---

*) Этотъ дневникъ полученъ нами при слѣдующемъ письмѣ:

„Милостивый государь!

„Вамъ угодно было опубликовать весьма поучительную повѣсть обо мнѣ,—какъ претерпѣлъ русскій дѣйствительный статскій совѣтникъ, сдѣлавшись жертвой борьбы французскихъ политическихъ партій. Замѣтивъ въ Вашей правдивой повѣсти искреннія симпатіи ко мнѣ, я посылаю Вамъ для опубликованія мой дневникъ о возвращеніи на родину, весьма поучительный въ многихъ отношеніяхъ. Примите и проч.

Д. с. с. Пупковъ".

жерку уронилъ и не поднялъ, а въ концѣ-концовъ цилиндръ нахлобучилъ, ушелъ, даже не поклонился.

— Что это онъ?—у переводчика спрашиваю.

— Ругается! „Это чортъ знаетъ что! — говоритъ. — Эти русскіе только и думаютъ, какъ бы выгоду съ насъ получить. Съ насъ, съ насъ — французовъ! — выгоду. Даже,—говоритъ,—для національнаго самолюбія обидно. Тфу! — говоритъ.—То заемъ, то фабрика! Этакъ,—говоритъ,—выгоднѣе нѣмцамъ контрибуцію платить!“ Очень, очень сердился.

А въ газетахъ съ тѣхъ поръ ни полстроки. Разблаговѣстилъ, значитъ, интервьюерская душа!

Встрѣтилъ на улицѣ знакомаго интервьюера изъ соціалистской газеты. Подсмѣялся даже.

— Что жъ это, — черезъ переводчика говорю: я теперь безъ переводчика ни шагу, опять чрезъ недоразумѣніе въ герои попадешь,—что жъ это вы за интервью ко мнѣ не препожалуете? Готовъ-съ!

— Monsieur,— говоритъ,— я соціалистъ. Я врагъ капиталистовъ. Я фабрикантовъ изо дня въ день ругательски ругаю. Но я французъ!

И съ чувствомъ даже себя въ грудь ударилъ.

— Разъ, — говоритъ, — вы хотите фабрику ваксы у насъ устроить, нашимъ фабрикантамъ конкуренцію дѣлать,—извините! Я французъ. Тутъ мы всѣ за одно. Вы для меня не существуете!

2-го августа.

Былъ у министра. Надо же визитъ отдать. Долгъ вѣжливости.

Встрѣтилъ сухо, — больше, — сурово встрѣтилъ! Жестоко!

Руки не подалъ и съ мѣста въ карьеръ:

— Не могу! Франція для французовъ! Конечно,—говоритъ,—я не націоналистъ. О, совсѣмъ нѣтъ! Но разъ

дѣло касается промышленности,—двухъ мнѣній быть не можетъ. Все трогайте, — но промышленность священна! Да и къ тому же, — говоритъ, — совсѣмъ не ваше это дѣло! Иностранцы могутъ пріѣзжать къ намъ, могутъ восхищаться, могутъ покупать,—но самимъ производить. Извините! Я широкихъ принциповъ, я интернаціоналистъ,—если вамъ угодно. Всѣ люди—братья, русскіе въ особенности, — но ваксы у насъ ни одному брату работать не позволю. Имѣю честь кланяться.

Значитъ, все кончено. Недоразумѣній больше никакихъ. Можно и домой.

3-го августа.

Билетъ въ карманѣ. Переводчика, за ненадобностью, разсчиталъ. По сто франковъ, однако, подлецъ, въ день взялъ.

— Помилуйте, — говоритъ, — соотечественникъ, да я бы, по секретнымъ мѣстамъ водя, не меньше бы заработалъ. А тутъ не секретныя мѣста, а министры.

— Во-первыхъ,—говорю,—я тебѣ, каналья, не „соотечественникъ", а ваше превосходительство!.. Разъ билетъ въ карманѣ — всякій русскій себя опять русскимъ чувствуетъ.

— Тѣмъ болѣе!

Заплатилъ, — чортъ съ нимъ. Завтра фью-ю! и поѣхали. Въ Крыжополѣ-то теперь — тишь, гладь, Божья благодать. Разспросовъ-то что будетъ. Весь городъ оживлю! Разсказовъ на весь остатокъ моей жизни хватитъ.

Кельнъ, 5-го августа.

Сижу и мчусь. И съ каждымъ моментомъ, съ каждымъ оборотомъ колеса все ближе и ближе къ отечеству.

Съ пассажиромъ vis-à-vis познакомился. Русскій. Изъ Петербурга. Въ весьма значительныхъ чинахъ.

Разговорились. Весьма пріятная личность, но когда я „дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Пупковымъ“ отрекомендовался,—по чертамъ лица пробѣжала какъ бы змѣя, и глаза стали стеклянные.

— Ахъ, — говоритъ, — „генералъ Пупковъ!“ Очень пріятно. Читали, читали про васъ въ газетахъ! Какъ же-съ! Парижъ-съ собой заняли-съ! На раутахъ у министровъ-съ! Скажите, весело? А я вотъ, представьте-съ, не былъ-съ. Не былъ! Хотя... по своему положенію, казалось, долженъ былъ бы быть отмѣченъ и на внимательность могъ разсчитывать. Но гдѣ же имъ-съ! „Генераломъ Пупковымъ“ были заняты. До того ли имъ-съ? Такъ нигдѣ и не былъ-съ! За свои деньги принужденъ былъ по кафе-шантанамъ ходить!!

Послѣднія слова были сказаны даже со скорбію.

Я, было:

— Ваше превосходительство, да вѣдь я-то... я-то ни при чемъ во всемъ этомъ...

— А это ужъ,— говоритъ,— не наше дѣло разбирать, при чемъ вы или не при чемъ! Не наше-съ...

И такъ на это проклятое „не наше“ упираетъ,— словно сказать хочетъ:

— Это ужъ другіе на это есть. Они тебя, дружка сердечнаго, разберутъ!

Тфу! Даже духъ переняло.

Все расположеніе испортилъ.

А что, если и въ самомъ дѣлѣ?

Пріѣзжаешь этакъ въ Вержболово. Паспортную книжку отдаешь, вещи осматриваютъ — и вдругъ выходятъ и спрашиваютъ:

— Дѣйствительный статскій совѣтникъ Пупковъ?

— Я-съ.

— Вы-съ? Очень пріятно. Не потрудитесь ли, ваше превосходительство, пожаловать въ комнату. Тамъ у

васъ въ паспортѣ такъ, ничего, клякса есть, и за нею неразборчиво.

Жалую въ комнату. Притворяютъ двери.

— Это,— говоритъ,— клякса такъ, для публики. А дѣло вотъ въ чемъ. Не потрудитесь ли вы, ваше превосходительство, объяснить...

И бумажку изъ кармана вынимаетъ.

— Вы въ Парижѣ генераломъ титуловаться изволили?

— Да, но видите ли...

— Это ужъ не наше дѣло: „видите ли". Это вы ужъ потомъ, другимъ объяснять будете: „видите ли". Съ насъ и одного сознанія довольно. Запишите! Скажите, вы и съ интервьюерами интервьюировались? И отъ всевозможныхъ газетъ? Отъ всевозможныхъ? Да-съ? И насчетъ Пекина было?

— Было, но позвольте...

— Это ужъ не наше дѣло: „позвольте". Съ насъ и того, что „было", достаточно. Министровъ изъ-за васъ мѣнять хотѣли?

— Такъ только разговоръ былъ...

— Ахъ, разговоръ все-таки былъ!

Тутъ начальникъ станціи въ дверь стучится:

— Поѣздъ отправлять время.

— Пусть поѣздъ отправляется съ Богомъ. „Генералъ Пупковъ" здѣсь остается.

Батюшки!

Берлинъ, 8-го августа.

Третій день живу въ Берлинѣ. Чортъ его знаетъ зачѣмъ. И самъ не свой.

Мысли проклятыя замучили!

Какъ въ Берлинъ поѣздъ пришелъ, „Фридрихштрассе"— закричали, себя не помню, словно крылья на ногахъ выросли, вещишки подхватилъ, изъ вагона выскочилъ:

— Здѣсь,— говорю,— остаюсь. Здѣсь! На всю жизнь!

— Вы,—кондукторъ говоритъ,—хоть билетъ-то у начальника станціи прочикните!

— И билетъ,—говорю,—прочикивать не хочу. На всю жизнь остаюсь. Никогда больше своего отечества не увижу!

А самъ въ слезы.

По-нѣмецки-то мнѣ переводчика не надо. По-нѣмецки я кое-какъ маракую. Служа въ пробирной палаткѣ, отъ евреевъ выучился. Всѣ служащіе въ пробирной палаткѣ по-нѣмецки говорятъ.

Съ тѣмъ и остался.

Но какъ же, однако, безъ отечества? Нельзя безъ отечества! Тамъ пенсія.

Въ отечество вернуться надобно.

А художества?

Развѣ такъ сдѣлать. Явиться на границѣ и прямо самому первому объявить:

— Какой-то, молъ, негодяй, пользуясь отсутствіемъ во Франціи паспортовъ,—весьма прискорбное опущеніе!—присвоилъ себѣ мое имя и, оттитуловавшись „генераломъ", съ интервьюерами интервьюировался, на раутѣ былъ и даже чуть переворота во Франціи не произвелъ...

— Хорошо!—скажутъ.—Гмъ... Другой, говорите? Негодяй, изволите говорить? Отлично... А вы-то, потрудитесь сказать,—вы-то зачѣмъ, во Францію ѣдучи, Станиславскій орденъ съ собой захватили? Ась?

И обнаружится

Непремѣнно надо отъ Станиславскаго ордена избавиться.

9-го августа.

Батюшки, что я сдѣлалъ! Станислава въ нѣмецкой рѣкѣ Шпрее утопилъ.

Взялъ и утопилъ. Сегодня ночью.

Вышелъ изъ отеля въ половинѣ перваго. Нарочно даже, чтобъ отвлечь подозрѣнія, у швейцара спросилъ:

— А нѣтъ ли гдѣ здѣсь, другъ мой...

Это въ мои-то годы! И даже глазкомъ подмигнулъ.

Посмотрѣлъ на меня нѣмецъ презрительно. Такъ посмотрѣлъ...

Пусть, колбаса, какъ хочетъ смотритъ. Главное, отвлечь подозрѣніе.

Отвлекъ,— и на рѣку Шпрее. Выбралъ мостъ поуединеннѣе. Наклонился надъ перилами, досталъ изъ кармана Станислава, поцѣловалъ, зажмурился и руку раскрылъ.

Буль!

Даже ноги подкосились.

Преступленіе это или не преступленіе?

Господи! Дѣйствительный статскій совѣтникъ,— и законовъ не знаетъ!

Вотъ по пробирному уставу,— все, что угодно. Концерты на пробирномъ уставѣ давать могу. А по части другихъ законовъ — ничего не знаю.

Можетъ, я теперь такой ужъ преступникъ, такой ужъ преступникъ...

Берлинъ, 10-го августа.

Разъ отъ Станислава, надо ужъ и отъ фрака отдѣлаться.

Оправданіе полное:

— Помилуйте, развѣ я могъ у министра на раутѣ быть? Негодяй былъ, а не я. У меня,— извольте посмотрѣть,— даже и фрака-то нѣтъ.

Чистъ!

Фрачную пару подарилъ коридорному.

— На,— говорю,— мой милый. Мнѣ не нужно.

Нѣмецъ взялъ,— однако, посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, и скорѣй въ двери.

Кажется, они меня за алкоголика принимаютъ.

Чортъ съ ними! За кого ни принимай!

Мнѣ только, что тамъ будетъ, интересно.

Теперь, кажется, уликъ никакихъ. Бѣлые галстуки? Бѣлые галстуки тоже подарилъ. Рубахи? И рубахи подарилъ. Оставилъ однѣ рваныя. Полное доказательство:

— Не могъ же я въ рваной рубахѣ у министра на раутѣ быть!

Можно ѣхать. Былъ въ бюро, взялъ билетъ, на сегодня всѣ разобраны. Но завтра фь-ю! Поѣхали!

Берлинъ, 11-го августа.

Въ ожиданіи отъѣзда гулялъ по Unter den Linden. Гулялъ и съ нѣжностью о Крыжополѣ думалъ.

И вдругъ книжный магазинъ. Стекло, и на стеклѣ золотыми буквами по-русски съ ошибкой.

Шарахнулся на другую сторону.

Да нѣтъ, братъ! Шалишь! Теперь-то ты шарахаешься!

Теперь-то ты хоть камнемъ въ стекло это самое запали!

А по дорогѣ въ Парижъ кто въ этотъ самый книжный магазинъ заходилъ?

А не заходилъ ли туда дѣйствительный статскій совѣтникъ Пупковъ? Вотъ этотъ самый дѣйствительный статскій совѣтникъ, который теперь, на обратномъ-то пути, отъ русскихъ буквъ шарахается? А?

Чортъ его! Посмотрѣть!

„Воскресеніе“, кажется, весьма старательно изорвалъ. Еще въ Парижѣ. Цѣлый день сидѣлъ, запершись, и дралъ, чтобы помельче. Дралъ и кусочки въ ведрѣ топилъ, чтобы не разобрали.

А вдругъ, среди всѣхъ этихъ тревогъ и треволненій, что-нибудь и позабылъ разодрать?

Прибѣжалъ домой самъ не свой. Все пересмотрѣлъ. Изъ подушки даже пухъ выпустилъ. Туда не попало ли какъ? Ничего! Какъ вдругъ...

Нѣтъ, какова французская подлячка? Горничная!

Взяла да въ обертку-то отъ „Воскресенія“ зубную щетку и завернула!

Это у нихъ тамъ. Во что хочешь, въ то и завертывай. А тутъ, матушка, почитать надо, во что завертываешь!

Просто духъ захватило, какъ увидѣлъ.

И обертка-то какая. Темно-зеленая. И слово-то на ней: „Не въ силѣ Богъ, а въ правдѣ“. Самое лондонское слово!

Обертку изорвалъ, клочки сжегъ, пепелъ съѣлъ, и ротъ выполоскалъ. Никакихъ слѣдовъ!

Черезъ часъ докторъ былъ. Хозяинъ гостиницы позвалъ.

— Вы, должно-быть,— нѣмчура-докторъ говоритъ,— русскій, много водки пьете, потому что ведете себя, какъ свинья: по ночамъ изъ дома ходите, коридорнымъ фраки дарите, изъ подушекъ пухъ выпускаете. По всей гостиницѣ теперь вашъ пухъ летаетъ.

— Не извольте,— говорю,— безпокоиться. Я сегодня вечеромъ уѣзжаю!

Вечеромъ сѣлъ въ поѣздъ. Фь-ю, поѣхали!

Эйдкуненъ, 15-го августа.

А вдругъ меня тогда, на пути туда, когда я Unter den Linden-то въ магазинъ заходилъ,— кто видѣлъ? А?

И видѣли!

Долго человѣка напротивъ на бульварчикѣ на скамеечку посадить?

— Посиди, молъ, миленькій! Посмотри! Вотъ напротивъ-то магазинчикъ, на стеклѣ русскими буквами съ ошибочкой-то. Погляди, родненькій!

Кажется даже, когда я входилъ, кто-то на скамеечкѣ сидѣлъ. Всенепремѣнно сидѣлъ!

Видѣли! Всеконечно, видѣли.

И въ рукахъ у него, еще помню, была коробочка. Небольшая такъ, черненькая! Въ родѣ фотографіи. Моментальной фотографіи. И какъ я выходилъ,— онъ коробочкой то, кажется, пошевелилъ! Пошевелилъ этакъ...

Батюшки, у меня мысли путаются! Было это или только такъ кажется? Не буду! Никогда не буду!

Господи, что со мной!

Какъ мнѣ эта мысль въ голову вступила, какъ крикнетъ кондукторъ:

— Эйдкуненъ!

Я изъ вагона-то шасть.

— Здѣсь,— говорю,— остаюсь! Не ѣду!

И хоть бы кондукторъ-то, подлецъ, удивился, спросилъ:

— Почему, молъ, не ѣдете?

Нѣтъ, нѣмчура проклятая! Какъ съ гуся вода:

— Не ѣдете, такъ не ѣдете! Носильщикъ, выноси вещи!

Значитъ, ужъ извѣстно!

Ждали, что на станціи Эйдкуненъ пассажиръ такой-то, пожилой, бритый, дальше ни за что не поѣдетъ,— останется. Что ѣхать ему никакъ нельзя.

Отъ Эйдкунена-то до Вержболова рукой подать. Всегда извѣстно, что въ Вержболовѣ дѣлается.

Вотъ и живу четвертый день въ Эйдкуненѣ.

На границѣ-то, на границѣ на самой!

Герценъ, говорятъ, Александръ Ивановичъ, передъ смертью томился, все въ Россію хотѣлъ.

Понимаю. Отлично понимаю. Потому я самъ теперь Герценъ. Самъ! Господи, имена-то какія, имена-то дѣйствительному статскому совѣтнику какія вспоминаются! Ума рѣшаюсь.

Мальчишки, дѣвчоночки, — поѣздъ остановится, къ поѣзду подбѣгаютъ:

— Свѣжа вôда! — кричатъ. — Свѣжа вôда!

Звуки-то какіе! Звуки-то! Музыка!

А тутъ кругомъ:

— Was wollen Sie, mein Herr?

Такъ бы морду всѣмъ и разбилъ, нѣмчура проклятая! И этакій-то патріотъ долженъ на границѣ сидѣть. А?

Вчера по рѣчоночкѣ ходилъ, маленькая такая рѣчоночка, а „не прейдеши".

И вдругъ на той сторонѣ мужикъ... да по-нашему... да слово... этакое слово-то крупное...

Упалъ на землю и зарыдалъ.

Ужели я этакой музыки никогда больше въ жизни не услышу?

Эйдкуненъ, 16-го августа.

Съ русскимъ познакомился. Тоже здѣсь сидитъ. Изъ Москвы.

— Тоже, — спрашиваю, — какъ я? По поводу книгъ?

— Нѣтъ,—говоритъ—я по поводу сосисокъ. Въ поѣздѣ на обратномъ пути, — въ Парижѣ-то профершпилился, — въ нѣмецкихъ деньгахъ въ счетѣ ошибся. 20 пфенниговъ за марку принялъ, двѣ сосиски и съѣлъ, а заплатить-то и нечѣмъ. Ну, въ нѣмецкой землѣ и задержали: „Прежде, — говорятъ, — за сосиски заплати, а потомъ и черезъ границу пустимъ". Несостоятельнымъ даже хотѣли объявлять и въ тюрьму посадить. Этакіе аспиды! „Да вѣдь я, — говорю, — здѣсь сидючи, съ голоду подохну".—„Ничего, — говорятъ, — не подохнете, потому что вы двѣ сосиски съѣли". Послалъ въ Москву телеграмму, чтобъ тысячу рублей перевели. Вотъ, сижу, жду.

Очень мнѣ поучительный разсказъ разсказывалъ.

Заграницу ругаетъ ругательски:

— Вотъ Хлудовъ,—говоритъ,—покойникъ, —изволили слыхать?—тоже за границу ѣздилъ, разсказывалъ. „Былъ я, — говоритъ, — за границей, какое удовольствіе?

Устроили въ Москвѣ отвальную, напились. Просыпаюсь,— сыро, холодно, темно. „Гдѣ я?“ спрашиваю.—„Въ Берлинѣ,—говорятъ,—въ тюрьмѣ!“—„Какъ такъ? По какому случаю?“—„Помилуйте,— говорятъ,— невозможно. Ресторанъ расшибали, газовые рожки съ требухой выворачивали“.—„Платить, значитъ, долженъ?“—„Платить,— говорятъ,— это своимъ порядкомъ. А посидѣть все-таки посидите“. Отсидѣлъ. Выпустили. Напился. Просыпаюсь,— сыро, холодно, темно. —„Гдѣ я? — спрашиваю. — Все въ Берлинѣ?“—„Зачѣмъ — говорятъ,— въ Берлинѣ? Въ Парижѣ, въ Мазасѣ сидите!“—„Какимъ манеромъ?“—„Невозможно,— говорятъ,— рестораны расшибали, газовые рожки съ требухой выворачивали, трехъ дѣвицъ къ скамейкѣ припрягли, хлестали и кричали: „Вези!“—„Платить, стало, надобно?“ спрашиваю. „Платить, — говорятъ,— это своимъ порядкомъ. А сидѣть все-таки надо“. Отсидѣлъ. Выпустили. Напился. Просыпаюсь, — сыро, тепло, свѣтло. Голый человѣкъ. „Гдѣ я?“ спрашиваю. „Въ Москвѣ, въ Сандуновскихъ баняхъ, ваше степенство,— голый человѣкъ говоритъ,— съ легкимъ паромъ васъ!“—„Что я,— спрашиваю,— дѣлалъ?“ Только смѣется. „Рестораны, — говорю, — расшибалъ?“ — „Не безъ этого“.—„Газовые рожки съ требухой выворачивалъ?“—„Затѣйники-съ!“—„Дѣвицъ въ скамейки запрягалъ и хлесталъ?“—„Всего,— говоритъ,— было-съ“. — „Что жъ теперь, — спрашиваю, — долженъ я дѣлать? Платить?“ — „Это ужъ, — говоритъ, — какъ водится!“— „А сидѣть, — спрашиваю, — долженъ? Въ тюрьмѣ сидѣть?“ Голый человѣкъ даже диву дался: „Помилуйте, — говоритъ, — за что же человѣку сидѣть, ежели онъ платитъ?“ И отъ этакой-то благодати за границу ѣхать!

Истинное слово!

Отъ этакой-то благодати за границу ѣхать!

То-есть, озолоти — не поѣду. Въ жизнь не поѣду.

Все это, однако, хорошо. Но надо сначала въ отечество-то попасть. Попасть-то какъ?

Переплыть нешто черезъ рѣчонку ночнымъ временемъ?

Рѣчонка — тфу. Переплюнуть можно. Разъ, два — и въ отечествѣ. Вещи перебросить, а самому переплыть.

Переплыть-то переплыву, да паспортъ какъ же? Отрывной листочекъ?

И отрывной листочекъ — бѣда не велика. Оторву и съѣмъ. Вотъ и все. Штемпель, штемпель о возвращеніи, вотъ что!

Штемпель надо будетъ поддѣлать. Сдѣлаю фальшивую казенную печать и приложу...

Господи! Что мнѣ за мысли приходятъ! Мысли какія! Вѣдь этакъ, дѣйствительно, и до Сибири недалеко.

17-е августа.

Русскій за сосиски 50 пфенниговъ уплатилъ и уѣхалъ. А я сижу.

Хожу, на поѣзда смотрю, которые на милую родину идутъ. Кланяйтесь отъ меня отчизнѣ.

Никогда я ея не увижу! Никогда! Эмигрирую теперь въ Америку! Сдѣлаюсь измѣнникомъ. Превращусь въ кули. Имя даже перемѣню. Прощай, моя пенсія!

Стою и плачу. А поѣзда-то мимо, мимо, а изъ оконъ-то книги, книги, да мнѣ все въ морду, въ морду.

Поднялъ одну:

„Амуръ. Полное собраніе русскихъ порнографическихъ стихотвореній“.

„Эротическія поэмы Пушкина“.

Вѣдь вотъ что люди за границей читаютъ. А я-то? Э-эхъ!

За голову даже схватился и клокъ волосъ вырвалъ. Драть меня, стараго дурака, некому.

„Воскресеніе!“ А?

Положимъ, при мнѣ ничего нѣтъ. Но завелъ я съ самаго малолѣтства прескверное обыкновеніе во снѣ разговаривать.

Драли мало, — оттого.

На яву-то я—какъ слѣдуетъ, но во снѣ бываю нескроменъ. Все, что на умѣ, и говорю.

Жена-покойница не разъ меня туфлей будила:

— Мерзавецъ,—говоритъ,—ты послѣ такихъ разсужденій и больше ничего!

Вдругъ какъ я во снѣ-то, да страницу-то изъ „Воскресенія“, да самую что ни на есть, — и бухну! А?

Выучить нешто наизусть неприличное стихотвореніе? Выучилъ.

Да вѣдь хорошо, если я его во снѣ прочту. А если я изъ „Воскресенія“.

— А-а! — сосѣди скажутъ.

Нѣтъ, не быть мнѣ въ отечествѣ! Никогда!

Вержболово, 18-го августа.

Какъ это случилось? Не знаю. Ума не приложу.

Самъ не свой былъ.

Въ глазахъ помутилось, въ головѣ отчаяніе, во рту вдругъ вкусъ щей.

Какъ на поѣздъ сѣлъ, какъ переѣхалъ, какъ паспортъ отдалъ, какъ вещи осматривали, — ничего не помню.

Помню только, что сосѣдъ меня за руку схватилъ:

— Что вы?! — говоритъ.—Что вы?! При публикѣ-то ? Вѣдь здѣсь дамы?!

— А что? — говорю.

— Такіе, — говоритъ, — стихи только въ мужской компаніи читать и то затворившись. А вы во все горло и при дамахъ.

Туманъ, все туманъ.

И вдругъ изъ этого тумана голосъ:

— Дѣйствительный статскій совѣтникъ Пупковъ

Рученьки, ноженьки отнялись.

— Здѣсь! — бормочу. — Честь имѣю явиться...

— Вашъ паспортъ, ваше превосходительство, готовъ.

Ничего?

Да нѣтъ! Знаю я! Это нарочно! Это для конца берегутъ. Передъ третьимъ звонкомъ. Чтобъ ошеломить.

Это система! Знаю систему! Самъ на службѣ былъ! Обыватель съ властью рѣдко въ прикосновеніе приходитъ, — такъ надо его при прикосновеніи-то ошеломить, чтобъ чувствовалъ.

Въ пробирную палатку, бывало, дамочка придетъ. Фигли — мигли. Браслетикъ. Вертится.

Выходишь. И такъ любезно:

— Вашъ, — спрашиваешь, — браслетикъ, сударыня?

— Ахъ, мой!

— Съ двумя сапфирчиками?

— Ахъ, — говоритъ, — съ двумя сапфирчиками.

— И въ серединѣ брильянтикъ?

— Ахъ, и въ серединѣ брильянтикъ.

Тутъ и хватишь! Тонъ — ледъ, взглядъ — камень:

— Оная вещь вамъ возвращена не будетъ, ибо подлежитъ слому, на основаніи пункта такого-то, какъ заключающая въ себѣ низкопробное золото. Браслетъ бубетъ выданъ вамъ въ сломанномъ видѣ.

Чувствуй мою „любезность“! Будешь знать, какъ передъ начальствомъ тер-ле-те-те выстраивать.

Это система! Передъ третьимъ звонкомъ-то — и р-разъ!

Рѣшилъ напроломъ итти. Откуда ужъ и отчаянность взялась, — не знаю.

— Виноватъ, — говорю, — еще одинъ вопросъ. Скажите, тутъ телеграммы для „генерала Пупкова“ не было?

Оглянули меня такъ невнимательно и отвѣчали почти небрежно:

— Это ужъ вамъ на телеграфѣ справиться надо. Мы телеграммъ пассажирамъ не передаемъ!

Значитъ, ничего! Да неужто?

И третій звонокъ пробилъ, — а все-таки мнѣ ничего.

Станція Луга.

Заснулъ, — было въ купэ четверо, и всѣ до Петербурга. А проснулся, — всего двое: я да еще какой-то.

— А гдѣ жъ, — говорю, — остальные наши сосѣди?

— Какіе тамъ, — говоритъ, — сосѣди! Ночью великое переселеніе народовъ было. Не только изъ отдѣленія, изо всего вагона, не то что дамы, мужчины всѣ ушли. Ужъ очень вы, ваше превосходительство, во снѣ-то...

Обомлѣлъ весь. Дрожу. Неужто?

— Что жъ я, — говорю, — во снѣ?

— Такія слова произносили.. не дамскія...

Слова?!

Это хорошо, что слова! Молодецъ я во снѣ! Молодчинище!



Преступленіе и наказаніе *).

Я прошу васъ, милостивые государи, дать мѣсто человѣку, бывшему подъ судомъ и приговоренному къ лишенію правъ состоянія и ссылкѣ въ Сибирь.

Полковникъ Н. — Дальше вы увидите, почему я не называю его фамиліи всѣми буквами.

56 лѣтъ отроду.

35 лѣтъ состоитъ въ офицерскихъ чинахъ.

Съ 1895 года—полковникъ.

Имѣетъ ордена:

Св. Владимира 4-й степени,

Св. Анны 4-й степени, съ надписью: „за храбрость",

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ,

Св. Станислава 2-й степени,

медаль въ память походовъ въ Средней Азіи

и друг.

„Преступленіе" его состоитъ въ слѣдующемъ.

Въ 1884 году, женатому, но бездѣтному г. Н. подкинули ребенка.

Изъ десяти тысячъ 9,999 просто-напросто, какъ подобаетъ по закону, отправили бы подкинутаго ребенка въ участокъ.

И развѣ одинъ изъ десяти тысячъ поступилъ бы такъ, какъ поступилъ Н.

Бездѣтные супруги Н. взяли ребенка къ себѣ.

---

*) Рекомендуется сравнить этотъ приговоръ съ приговоромъ, приведеннымъ въ разсказѣ „Расплюевскіе веселые дни".

Они привязались къ ребенку, полюбили его, какъ не всѣ любятъ своихъ дѣтей,—и г. Н. возбудилъ ходатайство объ усыновленіи мальчика.

Ходатайство было въ 1886 году удовлетворено, и, въ виду заслугъ усыновителя, мальчику были даны даже права личнаго дворянства.

Г. Н. не изъ тѣхъ людей, которые любятъ хвастаться своими благодѣяніями.

По службѣ его перевели кстати на другое мѣсто, и никто кругомъ не зналъ тайны его мальчика.

Сынъ и сынъ!

Больше всѣхъ „тайна" скрывалась, конечно, отъ самого мальчика.

Онъ росъ въ полной увѣренности, что это его настоящая мама и настоящій папа.

Въ 1895 году полковникъ Н. служилъ въ пограничной стражѣ.

Однажды адъютантъ замѣтилъ ему:

— А вѣдь вашъ сынъ не записанъ въ послужной списокъ.

Полковникъ Н. приказалъ писарю вписать:

„Имѣетъ сына, зовутъ такъ-то, родился тогда-то".

Въ 1896 году полковникъ Н. командовалъ бригадой пограничной стражи.

Въ это время составлялся новый его послужной списокъ.

Г. Н. приказалъ писарю записать:

„Имѣетъ сына, зовутъ такъ-то, родился тогда-то".

И такъ какъ онъ былъ самъ командующимъ бригадой, то самъ и скрѣпилъ своей надписью послужной списокъ.

За это онъ былъ отданъ подъ судъ за подлогъ по службѣ.

Онъ долженъ былъ приказать вписать:

„Усыновленный" сынъ.

Когда въ 1859 году адъютантъ замѣтилъ пропускъ въ послужномъ спискѣ,—полковникъ Н. побоялся сдѣлать общимъ достояніемъ „тайну“ мальчика.

Можно себѣ представить, какую-бы сенсацію произвело такое „открытіе“,—да еще въ маленькомъ провинціальномъ городкѣ.

— А вы знаете: у Н. оказывается совсѣмъ не сынъ! Подкинутъ!

— Да что вы? Да не можетъ быть?

— Увѣряю васъ!

— Ахъ, какія новости! Непремѣнно надо будетъ сейчасъ же Аннѣ Ивановнѣ сказать!

Кто знаетъ, быть-можетъ, нашлись бы—навѣрное бы, нашлись!—порядочные люди, которые запретили бы своимъ дѣтямъ, порядочнымъ дѣтямъ порядочныхъ родителей играть, дружиться съ „подкидышемъ“.

Вспыхнуло бы цѣлое возмущеніе:

— Богъ знаетъ что такое! Подкидыша выдавать за своего сына! Приводить къ нашимъ дѣтямъ!

Нашлись бы сердобольные люди, сердобольныя дамы, которыя „безъ слезъ бы не могли послѣ этого смотрѣть на бѣднаго малютку“.

Которыя гладили бы его по головкѣ съ особой ласковостью, цѣловали бы съ особой нѣжностью, съ какою цѣлуютъ только сиротъ, и говорили со слезами на глазахъ:

— Бѣдный, бѣдный, ребенокъ!

При взглядѣ на „бѣднаго малютку“ онѣ „не въ силахъ были бы удержаться отъ восклицанія“:

И вѣдь бываютъ на свѣтѣ такія матери! На куски ихъ рѣзать! Такого ангела и вдругъ подкинуть... Ужасно!

Онѣ бы мазали своими слезами лицо бѣдной г-жѣ Н.:

— Хорошо еще, что онъ попалъ на такихъ людей, какъ вы! О, вы святая... нѣтъ, нѣтъ, не протестуйте! Вы—святая женщина! Такъ любить чужого ребенка.

Онѣ бы плюнули въ чужое счастье своими слезами.

И счастье этихъ трехъ людей, любившихъ другъ друга, хуже чѣмъ плевкомъ было бы осквернено этими проклятыми, этими слюнявыми слезами „добрыхъ“ людей, у которыхъ слюни текутъ изъ глазъ.

Счастливы тѣ, кто никогда не слыхалъ ни въ видѣ ругани ни, еще хуже, съ сожалѣніемъ этого слова:

— Подкидышъ!

Слово, надъ которымъ хохочешь въ тридцать лѣтъ,— отъ котораго безумно рыдаютъ, отъ котораго лѣзутъ въ петлю, умираютъ—въ десять.

Что было бы съ одиннадцатилѣтнимъ мальчикомъ, если бы онъ узналъ, что его мама—не настоящая мать, его отецъ — не отецъ ему, что у него нѣтъ отца, нѣтъ матери, что онъ каждый день обнимаетъ, цѣлуетъ чужихъ людей!

И каждый мальчикъ въ ссорѣ, каждая разозлившаяся кухарка, горничная „со зла“ крикнули бы ему:

— Подкидышъ!

Вотъ почему, „изъ боязни огласки, — какъ говоритъ приговоръ, — и съ цѣлью скрыть до времени, какъ отъ самого усыновленнаго, такъ и отъ постороннихъ лицъ, дѣйствительное его происхожденіе“, полковникъ Н. и не продиктовалъ писарю слова:

„Усыновленный“!

Ему страшно стало выставлять милаго, дорогого ему ребенка къ позорному столбу.

И его отдали подъ судъ за подлогъ.

Его судили.

Но судъ нашелъ, что запись, хоть и не по формѣ сдѣланная, „не заключаетъ въ себѣ чего-либо несогласнаго съ истиной“.

Въ главѣ I раздѣла II, тома X, части 1-й свода законовъ (изд. 1887 года) усыновленные именуются „дѣтьми“,

какъ и дѣти кровныя, — вслѣдствіе чего „наименованіе подсудимымъ въ своемъ послужномъ спискѣ усыновленнаго имъ воспитанника своимъ „сыномъ“ не заключало въ себѣ вымышленнаго обстоятельства или завѣдомо ложнаго свѣдѣнія“.

Судъ принялъ во вниманіе тѣ „безкорыстныя побужденія, которыми руководствовался подсудимый“.

Не нашелъ въ его „преступленіи“ признаковъ подлога. Нашелъ только „проступокъ по службѣ“, призналъ этотъ проступокъ „маловажнымъ“ и приговорилъ полковника Н. къ аресту на одинъ мѣсяцъ на гауптвахтѣ.

На этотъ приговоръ товарищемъ прокурора былъ поданъ протестъ.

Протестъ былъ уваженъ, и дѣло полковника Н. было снова возвращено въ судъ, — но не для разбора по существу, а только для примѣненія статьи о подлогѣ, вмѣсто статьи о „маловажномъ проступкѣ по службѣ“, такъ какъ, по существу, подсудимый оказался въ приписываемомъ ему дѣяніи виновнымъ.

Судъ примѣнилъ статью о подлогѣ и приговорилъ: лишить полковника Н. правъ состоянія, чиновъ, орденовъ и сослать въ Сибирь.

Но по тѣмъ же соображеніямъ, которыя были изложены раньше, судъ нашелъ необходимымъ ходатайствовать о замѣнѣ лишенія правъ и ссылки просто исключеніемъ со службы.

Ходатайство было удовлетворено.

И вотъ вамъ результатъ того, что когда, 16 лѣтъ тому назадъ, у дверей г. Н. запищало маленькое, безпомощное, несчастное человѣческое существо, — г. Н. не отправилъ этого ребенка въ „участокъ“.

Самое страшное,—то, чего боялись, отъ чего съ ужасомъ оберегали ребенка,—случилось.

Случилось въ ту самую минуту, какъ возникло „дѣло“.

Мальчикъ узналъ свою „тайну“.

Это величайшее несчастье для бѣдной семьи. А второе состоитъ въ томъ, что куда бы полковникъ Н. ни сунулся искать мѣста, занятій,—первый вопросъ:

— Почему вы оставили службу?

— Я былъ подъ судомъ. Осужденъ.

— За что?

— Видите ли, въ 1884 году...

— Позвольте! Пожалуйста, кратко. Я васъ спрашиваю: за что?

— За подлогъ.

— За поо-дло-огъ? И вы хотите, чтобъ я вамъ далъ мѣсто? Извините, мнѣ шутить нѣкогда. Имѣю честь кланяться.

Вѣдь не говорить же каждому:

— Позвольте, я вамъ сначала разскажу цѣлую повѣсть...

Кто слушать будетъ? Кому это нужно? Кому есть время?

Вѣдь не носить же съ собой груды бумагъ и не молить:

— Да вы прочтите, прочтите сначала всю эту груду!

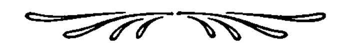
И что за бумаги!

Обвинительные акты, приговоры.

Вы представьте себѣ положеніе человѣка, который для аттестаціи себя представляетъ... приговоръ по обвиненію въ подлогѣ!

Я не думаю обсуждать приговора. Да это было бы и безполезно: съ формальной точки зрѣнія правы, конечно, всѣ,—кромѣ наказаннаго „преступника“ г. Н.

Но съ нашей-то, человѣческой точки зрѣнія,—до тѣхъ поръ, пока на свѣтѣ есть несчастныя дѣти, дай Богъ, чтобъ больше было такихъ „преступниковъ“, какъ этотъ полковникъ Н.



Губернскій земскій властитель думъ и сердецъ.

Сегодня вечеромъ я хотѣлъ пойти въ циркъ Медрано и посмотрѣть новыхъ клоуновъ, которые интересуютъ Парижъ, но остаюсь дома, чтобъ заняться г. Родзянко.

Г. Родзянко стоитъ того, чтобъ изъ-за него забыть клоуновъ цирка Медрано.

Г. Родзянко выбрали только въ предсѣдатели екатеринославской губернской земской управы, а онъ счелъ долгомъ произнести тронную рѣчь.

Вступая на стулъ предсѣдателя губернской земской управы, онъ обратился къ служащимъ со словомъ.

Во-первыхъ, г. Родзянко объявилъ, что ему не нравится образъ мыслей многихъ изъ гг. служащихъ, и обѣщалъ „принять мѣры" (?), чтобъ всѣ и по всѣмъ вопросамъ держались самаго желательнаго образа мыслей.

Во-вторыхъ, г. Родзянко объявилъ, что онъ не потерпитъ ничьего вмѣшательства, и запретилъ кому-либо когда-либо на него, г. Родзянко, жаловаться.

Такъ была провозглашена екатеринославская независимость, и Екатеринославская губернія была объявлена папской областью, съ папой Родзянко I во главѣ.

Папа Родзянко будетъ диктовать, какъ надо думать, и на папу Родзянко нельзя жаловаться.

Папа Родзянко будетъ непогрѣшимъ.

Духовнымъ дѣтямъ Родзянко останется только слушаться папы.

Г. Родзянко говоритъ:

— За Екатеринославскую губернію можете быть спокойны! Въ екатеринославскомъ земствѣ всѣ будутъ по образу мыслей маленькіе Родзянки.

Но онъ требуетъ за это одного:

— Зато я не потерплю никакого вмѣшательства со стороны Россіи, Австріи, Германіи или какой бы то ни было другой державы.

Совершенно самостоятельная особая область.

Тамъ будетъ устроенъ центральный складъ мыслей для всей губерніи.

Особый столъ съ надписью крупными буквами:

— Мысли.

Прочтетъ какой-нибудь Родзенокъ въ газетѣ, — ну, положимъ,—о македонскихъ комитетахъ.

— Вопросъ, чортъ возьми, политическій!

Надо въ губернскую земскую управу за мыслями итти.

Подойдетъ къ столу, подниметъ руку, замазанную чернилами:

— Дозвольте спросить!

— Что вамъ?

— Да вотъ въ газетахъ пишутъ, будто македонскіе комитеты. Такъ какихъ мнѣ на этотъ счетъ мыслей держаться?

— Съ разрѣшенія г. предсѣдателя губернской земской управы, вы можете считать македонскіе комитеты вздоромъ!

— Слушаю-съ!

Остается только итти домой:

— Ну, жена! Объявляю тебѣ, что всѣ македонскіе комитеты—вздоръ. И дѣтямъ скажи. Дрянь-мальчишки газеты читаютъ. Какъ бы иначе не помыслили.

Теперь только за гостями слѣдить.

Приходитъ Иванъ Ивановичъ, разсаживается и начинаетъ, — вѣдь въ Екатеринославской губерніи всегда большое дѣло до того, что дѣлается въ другихъ, „не нашихъ“ странахъ:

— А вотъ, пишутъ, что македонскіе комитеты. По-моему, это здорово! Расшибить бы эту Турцію, чортъ бы ее дралъ!

— Насчетъ Турціи не знаю какъ. Можетъ - быть, чортъ бы ее дралъ. А можетъ-быть, и не чортъ бы ее дралъ, — не спрашивалъ. Но насчетъ македонскихъ комитетовъ знаю съ полной достовѣрностью, что это вздоръ!

— Но почему вы такъ думаете?

— Думаю такъ съ разрѣшенія г. Родзянко!

— Но позвольте...

— Извините! Никогда не позволю въ своемъ домѣ думать иначе! Жена, отвори форточку! Тутъ Иванъ Ивановичъ не надлежаще надумалъ! А васъ, Иванъ Ивановичъ, прошу оставить мой домъ и быть увѣреннымъ, что о вашемъ образѣ мыслей сегодня же будетъ извѣстно г. предсѣдателю губернской земской управы!

— Ради Бога!.. Что вы?.. Пощадите! У меня семья. дѣти!..

— Не могу-съ! Г. Родзянко слѣдитъ за чужимъ образомъ мыслей, и мы всѣ обязаны. Иначе, какъ же ему знать, какъ кто мыслитъ!

И въ тотъ же вечеръ — „докладъ“.

— Такъ и такъ, имѣю честь донести на зависящія дѣйствія и распоряженія, что Иванъ Ивановичъ, сидя у меня въ гостяхъ, позволилъ себѣ ненадлежаще мыслить!

— А-а! Хорошо! Благодарю! Благодарю! Ну, а въ домѣ у васъ какъ? Ничего?

— Точно такъ. Никакихъ мыслей не замѣчается.

— Дѣти?

— Держатся въ мысляхъ установленнаго образца.

— Жена?

— Тоже установленнаго образца и на третьемъ мѣсяцѣ беременности.

— Гмъ... гмъ... Однако, я замѣчаю, что вы держитесь образа мыслей фривольнаго!

Что остается бѣдному служащему?

Задрожать, поблѣднѣть, залепетать:

— Н... н... не я... Ей Богу, н... н... не я...

— То-то! А то вѣдь и со службы прогоню!

— Есть воля ваша!

— И жаловаться на меня некому!

— Кому же жаловаться. Вы нашъ отецъ, мы ваши дѣти.

— Папа!

— Дозвольте ручку-съ!

Идиллія!

На такихъ условіяхъ г. Родзянко обѣщаетъ Россіи спокойствіе Екатеринославской губерніи, въ обмѣнъ на независимость.

Послушайте, однако, г. Родзянко, произносящій тронныя рѣчи при вступленіи на предсѣдательскій стулъ и печатающій ихъ въ „Южномъ Краѣ".

Васъ вѣдь не выбирали ни въ духовники, ни въ гувернеры, ни въ соглядатаи, ни въ короли.

Васъ, просто-напросто, — да и то по ошибкѣ, — избрали въ предсѣдатели губернской земской управы.

Вы бы и реформировали дороги и мосты, а не умы!



Типъ.

(Немножко провинціи).

Аккерманскій герой.

Только что далъ „плюху" земству. Добился новаго избранія въ предсѣдатели уѣздной земской управы и „швырнулъ" свое избраніе собранію въ лицо:

— Я вообще не сторонникъ земскихъ тенденцій!

Господинъ Пуришкевичъ.

Щеголеватый молодой человѣкъ. На рукѣ золотая браслетка. Манеры заискивающія. По полу пріятно скользитъ. Занимается стихосложеніемъ.

Душу имѣетъ возвышенную.

Я имѣлъ удовольствіе познакомиться со скользящимъ г. Пуришкевичемъ въ непріятную для него минуту.

Ко мнѣ, фельетонисту одной изъ одесскихъ газетъ, вошелъ молодой человѣкъ въ браслеткѣ, растерянный и пришибленный.

Г. Пуришкевича, предсѣдателя аккерманской земской управы, побилъ земскій архитекторъ.

„Инцидентъ" очень живо обсуждался тогда южной печатью, и г. Пуришкевичъ объѣзжалъ редакціи.

— Вы понимаете... замахнуться на земца!.. на молодого земца, всей душой стремящагося къ служенію земскимъ идеямъ... Такое варварство!.. Такая дикость!.. Прямо некультурно! Прямо некультурно!

Онъ говорилъ, конечно, горячо. Живописно. Жестикулировалъ.

А браслетъ съ „бульками“ такъ и звенѣлъ, такъ и звенѣлъ на его рукѣ.

Скользкій молодой человѣкъ показался мнѣ человѣкомъ съ „коготкомъ“!

Я смотрѣлъ на него и думалъ:

— Охъ, братъ! Кажись, и самъ ты тоже „кока съ сокомъ“!

Вскорѣ мнѣ пришлось быть въ Аккерманѣ, и тамъ я узналъ, въ чемъ дѣло.

„Исторія“ вышла изъ-за плана новой больницы или училища, — не припомню.

— Этотъ планъ не годится! — заявилъ г. Пуришкевичъ.—Что это за фокусы такіе? Только расходъ. Намъ эти роскоши не нужны.

— Это совсѣмъ не „роскоши“, а то, что требуется, чтобы зданіе было гигіенично!—возразилъ земскій архитекторъ.

— Прошу васъ не разсуждать, а дѣлать, что вамъ говорятъ. Вотъ и все! Потрудитесь передѣлать это такъ-то, это такъ-то!

— Но подъ такимъ планомъ архитекторъ подписаться не можетъ!

— А не можете и не надо! Можете уходить!

— То-есть, какъ это „уходить“?

— А такъ! Мнѣ ваши разсужденія не нужны. Я сказалъ, — и должно быть такъ сдѣлано. Не желаете, — вонъ!

— Что-о?

— Вонъ! Нахалъ! Люди!

Если бы онъ напалъ на человѣка болѣе культурнаго,—тотъ нашелъ бы, какъ съ нимъ поступить иначе. Но г. Пуришкевичъ нарвался на провинціальнаго медвѣдя, у котораго первое — драться.

Оскорбленный архитекторъ подкараулилъ скрывавшагося послѣ этого г. Пуришкевича на пристани, подошелъ къ нему и надавалъ пощечинъ.

— У него, знаете ли, только и словъ, что „я“, „вонъ“, „долой“, — разсказывали аккерманцы, — „я сказалъ“, „я велѣлъ“.

Чуть не „повелѣлъ“.

— Человѣкъ мягкій, ласковый и даже въ браслеткѣ. Но съ „подчиненными“ — рветъ, обрываетъ, кричитъ. А „подчиненными“ считаетъ всѣхъ. Онъ одинъ!

Въ слѣдующемъ году ко мнѣ явился одинъ студентъ.

Юноша, — только пухъ еще на лицѣ показался.

Кончилъ гимназію, поступилъ въ университетъ, — а тутъ въ восточныхъ губерніяхъ голодъ.

Оставилъ на годъ университетъ, бросился въ Казанскую губернію, устраивалъ столовыя, кормилъ.

Вернулся, опять въ университетъ, — а тутъ голодъ на югѣ.

Опять университетъ „на годъ“ бросилъ и поѣхалъ въ Аккерманскій уѣздъ устраивать столовыя.

— Да этакъ вамъ, другъ мой, никогда и университета не кончить! Голодъ у насъ—обыватель постоянный. Только адреса у него каждый годъ разные.

— Что жъ дѣлать! Что жъ дѣлать!

Опытный уже въ дѣлѣ устройства столовыхъ юноша съ жаромъ схватился за дѣло,—но сразу на пути встрѣтилъ г. Пуришкевича.

Если вы вспомните голодно-продовольственную аккерманскую эпопею, — вы припомните сразу фамилію:

— Г. Пуришкевичъ.

Онъ говорилъ, о немъ говорили, онъ печаталъ, о немъ печатали каждый день.

— Г. Пуришкевичъ устроилъ...

— Г. Пуришкевичъ организовалъ...

— Г. Пуришкевичъ проситъ...

— Г. Пуришкевичъ благодаритъ...

Получалась такая картина.

Есть на свѣтѣ бѣдствующій Аккерманскій уѣздъ, и есть на свѣтѣ благодѣтельный г. Пуришкевичъ.

Одинъ!

Аккерманскій уѣздъ голодалъ,—но стоило появиться г. Пуришкевичу, — и бѣдствіе кончилось.

Одинъ!!

И цѣлую зиму мы смотрѣли на это побѣдоносное единоборство г. Пуришкевича съ народнымъ бѣдствіемъ.

Многіе даже восклицали:

— Хлѣба не родится, — Пуришкевичи родятся! „Не погибъ еще тотъ край".

Самостоятельная дѣятельность юноши не понравилась г. Пуришкевичу.

Кто это еще въ уѣздѣ, кромѣ него, г. Пуришкевича, смѣетъ появляться?

— Не со мной, такъ противъ меня! А со мной,— такъ, значитъ, подо мной!

— Позвольте мнѣ дѣйствовать самостоятельно, — заявилъ юноша,— у меня есть и свои пожертвованія!

— Ахъ, свои-съ?

Г. Пуришкевичъ сумѣлъ „удалить" юношу отъ устройства столовыхъ, напечаталъ въ мѣстныхъ и столичныхъ газетахъ письма, что проситъ впредь не высылать пожертвованій такому-то, и добился того, что юношу чуть ли не выслали изъ предѣловъ Бессарабской губерніи.

— Осрамилъ, изваляль въ грязи! — чуть не плакалъ бѣдный юноша.

И вотъ теперь.

„Не раздѣляющій земскихъ тенденцій" предсѣдатель земской управы провелъ въ земскіе гласные людей своей партіи, добился избранія на новый срокъ и, добившись, всталъ и торжественно земству плюнулъ:

— Отказываюсь! Вообще не раздѣляю земскихъ тенденцій. А по части народнаго образованія — въ особенности!

Это въ наше-то анти-земское время!

Самъ бы „искательный молодой человѣкъ“, Глумовъ, изъ пьесы „На всякаго мудреца довольно простоты“,— отъ зависти бы за голову схватился и съ отчаяніемъ воскликнулъ:

— Ловко! Вотъ это называется—ловко!

А мамаша Глумова добавила бы:

— Безпремѣнно это онъ въ вице-губернаторы мѣтитъ!

— Вѣдь сдѣлано-то, сдѣлано-то какъ! — восхитился бы даже самъ Иванъ Антоновичъ Расплюевъ. — А? Побѣдитель, можно сказать! Только что избранный! Излюбленный земскій человѣкъ-съ! И тотъ на это самое земство: „тфу!“ И въ полное рыло-съ! „Н-не раздѣляю“. Большую карьеру, браслетъ, сдѣлаетъ! Потому — геніаленъ. Всякія штуки бывали, а до этакого фортеля никто не додумывался. Вещь первая!

„Дневника“ въ „Гражданинѣ“ молодой человѣкъ удостоится.

И на среду къ кн. Мещерскому можетъ даже безъ приглашенія явиться.

— Пуришкевичъ.

— Вы?! Это вы?!

— Я-съ!

Будетъ въ объятія заключенъ и гостямъ представленъ:

— Господа, Пуришкевичъ! А? Вотъ онъ какой Пуришкевичъ бываетъ!

Я даже думаю, что онъ во многихъ салонахъ можетъ недѣли полторы приманкою быть.

„На Пуришкевича“ будутъ приглашать, какъ приглашаютъ въ скромныхъ чиновничьихъ семьяхъ на хорошаго гуся“.

— Vous savez. Онъ такой молодой и уже... Пріѣзжайте, это любопытно!

И будетъ г. Пуришкевичъ по паркету скользить а тамъ куда-нибудь и проскользнетъ.

— Э... э... это очень... очень хорошо... Такого удара не было... очень хорошо... Но вѣдь это самопожертвованіе... господинъ... господинъ... господинъ Пуришкевичъ!

— Исполненіе долга, ваше превосходительство. Только исполненіе долга! Ничего-съ, кромѣ исполненія долга!

— Да... да... Но не всякій бы, знаете, милѣйшій, на это пошелъ...

— Это ужъ какъ будетъ угодно оцѣнить вашему превосходительству...

— Да... да... конечно... Но, однако, вы все-таки того... гмъ... три года въ земствѣ этомъ служили?.. А?

— Единственно для того, чтобъ нашей партіи людей туда проводить. Такъ сказать — и во вражескомъ станѣ на нашу пользу работалъ!..

— Гмъ! Оно... того... служба полезная!

— Осмѣлюсь добавить вашему превосходительству.

— Что вы осмѣлитесь добавить?

— Я и противъ народнаго образованія, вашество.

— Да?! Даже?

Г. Пуришкевичу останется только замереть съ поникшей головой, слегка отставленными руками, въ позѣ, выражающей полную готовность.

— „Вы будете въ большомъ, большомъ счастьѣ, въ золотомъ платьѣ будете ходить и деликатные супы кушать, очень забавно будете проводить время!“ — какъ говоритъ Добчинскій.

А можетъ-быть...

Можетъ-быть, и такъ пройдетъ, и безъ награды останется, прочтутъ и плюнутъ, и безъ вниманія оставятъ.

Чортъ знаетъ, чего не можетъ въ наше время случиться!

И добродѣтель цѣнится только тогда, когда она рѣдкость.

А какъ ея, добродѣтели-то, разведется слишкомъ много, то и добродѣтельнѣйшіе поступки остаются безъ награжденія.

И г. Пуришкевичъ добродѣтеленъ, да и время-то ужъ очень добродѣтельное.

Шага сдѣлать нельзя. Шагъ сдѣлаешь — непремѣнно въ добродѣтель ногой попадешь.



Интеллигенція.

„... Предлагаю тостъ за русскую интеллигенцію!“

Рѣчь П. Д. Боборыкина.

Сынъ сапожника, кончившій университетъ, — вотъ что такое русская интеллигенція.

У сапожника Якова было три сына. Двое пошли по своей части и вышли въ сапожники, а третій, Ванька, задался ученьемъ.

Бѣгалъ въ городское училище, а потомъ его какъ-то опредѣлили въ гимназію.

И отцу сказали:

— Ты, Яковъ, ужъ не противься. Мальчонку-то жаль: ужъ больно умный.

— Пущай балуется!— согласился Яковъ.

И пошелъ Ванька учиться.

То отецъ кое-какъ горбомъ сколотитъ, за право ученья заплатитъ, то добрые люди внесутъ, то самъ грошевыми уроками соберетъ.

Обшарпанный, обтрепанный, бѣгая въ затасканномъ сюртучишкѣ, съ рукавами по локоть, зимой въ холодномъ пальтишкѣ, занимая у товарищей книги, кое-какъ кончилъ Иванъ гимназію и уѣхалъ въ столицу въ университетъ.

Жилъ голодно, существовалъ проблематично: то за круглыя пятерки стипендію дадутъ, то концертъ устроятъ

и внесутъ. Два раза въ годъ ждалъ, что за невзносъ выгонятъ. Не каждый день ѣлъ. Писалъ сочиненія на золотую медаль,—и золотыя медали продавалъ. Училъ оболтусовъ по 6 рублей въ мѣсяцъ. Разставлялъ по ночамъ литераторамъ букву „ять“. Лѣтомъ ѣздилъ то на кондиціи, то на холеру.

И такъ кое-какъ кончилъ университетъ.

— Ну, теперь пора и родителей провѣдать! Какъ мои старики?

Отецъ—человѣкъ простой,— чтобъ больше простого человѣка порадовать, дипломъ ему показалъ:

— Смотри, какъ батька!

— Фитанецъ получилъ!—одобрилъ отецъ.

— Фитанецъ получилъ!—разсмѣялся Иванъ Яковлевичъ.

— Молодчага!

Ну, теперь надо думать, какъ жить.

— Вотъ что, батюшка! Того, что вы для меня дѣлали, я никогда не забуду. Никогда не забуду, какъ вы горбомъ сколачивали, чтобъ за меня въ гимназію заплатить. Теперь пора и мнѣ на васъ поработать. Вы человѣкъ старый, вамъ и отдохнуть время. Переѣдемъ мы ко мнѣ и заживемъ вмѣстѣ,—на покоѣ вы будете! Да и братьямъ надо что-нибудь получше устроить.

Яковъ нахмурился и сказалъ:

— Это не подходитъ! Мы сапожники природные, и намъ своего дѣла рушить не приходится. И дѣдъ твой былъ сапожникъ, и я сапожникъ, и братья твои сапожники. Такъ и идетъ. Споконъ вѣка мастерская стоитъ. Намъ дѣла своего кидать не резонъ.

Подумалъ Иванъ Яковлевичъ, видитъ:

— Правъ отецъ. Жизнь сложилась,—ломать ее трудно.

А подъ сердцемъ что-то сосетъ:

— Господи, Боже мой! Неужели я буду заниматься „чистымъ дѣломъ“, а они такъ вотъ всю жизнь свою

въ вонючей мастерской, сгорбившись за дратвой, сидѣть должны?

Лежитъ такъ Иванъ Яковлевичъ и думаетъ, а черезъ перегородку слышно, какъ въ мастерскую заказчикъ зашелъ. Голосъ такой веселый, барственный.

— Здравствуйте, ребята! А! Яковъ? Живъ, старый песъ?

— Что намъ дѣлается, батюшка Петръ Петровичъ! Что намъ дѣлается? — отвѣчаетъ голосъ отца.— Живу, пока Богъ грѣхамъ терпитъ!

— Живи, живи!—разрѣшилъ барственный голосъ. — Я вѣдь тебя, стараго пса, сколько лѣтъ знаю!

— Давненько, батюшка!—согласился льстивый голосъ отца.—Сапожки заказать изволите?

— Сдѣлай, сдѣлай, старый песъ, сапожки. Самъ мѣрку снимать будешь?

— Ужли жъ кому поручу?!

Иванъ Яковлевичъ слышалъ, какъ отецъ сталъ на колѣни.

— У васъ тутъ мозолечка, кажется, была?

— Хе-хе! Всѣ мои мозоли помнитъ! Ахъ, старый песъ, старый песъ!

Понравилось человѣку слово!

— Такъ на той недѣлѣ чтобъ было готово, старый песъ! Такъ не обмани, старый песъ! Чтобъ не жало, смотри, старый песъ!

Вышелъ Иванъ Яковлевичъ изъ-за перегородки:

— А позвольте васъ спросить, милостивый государь, на какомъ вы основанiи человѣка „псить“ себѣ позволяете? Что, у человѣка имени своего нѣтъ? А?

У отца по лицу пошло неудовольствiе. У барина на лицѣ явилось крайнее изумленiе.

— Это кто же такой?

— Сынокъ мой. Ниверситетъ кончилъ!— заискивающе извиняясь, сказалъ отецъ.

Заказчикъ смутился.

— Виноватъ... Я не зналъ... Мы съ вашимъ отцомъ... мы десятки лѣтъ... До свиданія, Яковъ... А сапоги... Сапогъ мнѣ не дѣлайте... Не надо...

И, не зная просто, куда глядѣть, вышелъ.

— Заказчика отбилъ?—спросилъ отецъ.—20 лѣтъ заказчикомъ былъ, а теперь отъ воротъ поворотъ!

И всѣ сидѣли и вздыхали.

— Ты вотъ что. Ты, ученье кончивъ, для утѣшенія пріѣхалъ, а не горе родителямъ причинять. Такъ ты жить живи, а порядковъ не рушь! Порядковъ не рушь! А ужъ ежели тебѣ, ученому человѣку, такъ зазорно отца имѣть, котораго псомъ зовутъ, тогда ужъ...

Старикъ развелъ руками.

— Тогда ужъ не прогнѣвайся!

Яковъ отвернулся, и на глазахъ у него были слезы!

— Только то бы помнить слѣдовало, что отецъ твой, этого самаго „пса“ выслушивая, за тебя же въ имназію платилъ. На того же Петра Петровича работаючи, тебя выпоилъ, выкормилъ.

Старикъ смолкъ, и всѣ снова тяжко-тяжко вздохнули.

Отчаяніе взяло Ивана Яковлевича.

— А, ну ихъ! Какое я, дѣйствительно, право имѣю эти порядки ломать? Что я могу сдѣлать? Не буду ни во что вмѣшиваться. Погощу, буду ихъ „утѣшать“, какъ они выражаются. Да и все!

Лежитъ въ прескверномъ настроеніи и слышитъ: мать,—думаетъ, что онъ спитъ,— потихоньку плачетъ и сосѣдкѣ жалуется:

— Мы его поили, мы его кормили, мы горбомъ сколачивали, мы за него въ имназію платили. А что вышло? Лежитъ, какъ чужакъ, въ домѣ. Другія дѣти, — ну, онъ поругается, ну, онъ и согрубитъ,—да видать, что онъ о домѣ думаетъ. А этотъ, какъ камень. Получитъ письмо съ почты отъ знакомыхъ. И читать торопится,— изъ-за обѣда вскочитъ, руки дрожатъ, покеда конвертъ разо

рветъ. И читаетъ. Разъ прочтетъ, другой прочтетъ. И ходитъ! И ходитъ! И писать сядетъ. А не такъ—разорветъ. И волнуется. Отъ чужихъ вѣдь! Изъ-за чужихъ волнуется! А свои—хоть бы ему что! Что въ домѣ ни дѣлайся,—слова не скажетъ!

Вскочилъ Иванъ Яковлевичъ:

„Не годится такъ! Вѣрно это! Свои они мнѣ! Долженъ я ихъ жизнью жить! Ихъ жизнью волноваться. Вѣрно это мать!"

Видитъ какъ-то,—мать плачетъ.

— О чемъ, маменька?

— Какъ же мнѣ, Ванюшка, не плакать? Петръ-то, легко ли, гармонь купилъ! Самое послѣднее дѣло, ужъ ежели гармонь! Завелась у человѣка гармонь,— какой же онъ работникъ? Ему не работа на умѣ, а гармонь. Какъ бы на гармони поиграть!

Иванъ Яковлевичъ ее утѣшилъ:

— Ну, что вы, маменька? Ну, что, за бѣда, что Петя гармонью купилъ?.. Вы, какъ бы вамъ это сказать... Ну, словомъ, вы напрасно плачете. Ей Богу ничего дурного въ этомъ нѣтъ.

— Учи, учи мать-то еще! Дура у тебя мать-то!..

Старуха пуще залилась слезами.

— Онъ бы, чѣмъ мать-то пожалѣть, ее же и дуритъ!

Пошелъ Иванъ Яковлевичъ къ брату Петру.

— Ты вотъ что, Петръ. Ты бы свою гармонью бросилъ. Мать это разстраиваетъ.

Братъ Петръ посмотрѣлъ на него во всѣ глаза.

— Гармонь—тальянка, первый сортъ, объ 16 клапанахъ, а я ее „брось"?!

Петръ даже съ мѣста вскочилъ и руками себя по бокамъ хлопнулъ:

— Хорошъ братецъ, нечего сказать! Взамѣсто того, чтобы брату радость сдѣлать, изъ столицы ему гармонью въ презентъ привезти,—онъ на поди! И послѣдняго утѣ-

шенія лишаетъ? Выкуси, братъ! Я эту гармонь-то, можетъ, не одинъ годъ въ умѣ содержалъ! По воскресеньямъ согнувшись сидѣлъ. Другой мастеровой народъ гуляетъ, а я заплаты кладу. Все на гармонь сбиралъ. И теперь мое такое намѣреніе, чтобы портретъ съ себя снять. Сапоги съ калошами, и на колѣняхъ чтобы безпремѣнно гармонія. А онъ: выброси!

Петръ звѣрѣлъ все больше и больше.

— Насъ въ имназіяхъ не воспитывали, мы въ ниверситетахъ не баловались. За насъ денегъ не платили, изъза насъ горба не наживали. Насъ шпандыремъ лупили, когда вы тамъ по имназіямъ-то гуляли. Намъ какое утѣшеніе! А вы насъ, братецъ, и послѣдняго утѣшенія лишить хотите? Тоже называется „братецъ!" Хорошъ братецъ, можно чести приписать!

Иванъ Яковлевичъ за голову схватился.

— И онъ правъ! И всѣ они правы! А больше всѣхъ мать была права, когда говорила, что чужіе люди мнѣ ближе, чѣмъ они. Да, да! Всѣ, всѣ мнѣ близки, только не они!

Отчаяніе охватывало его.

— Да неужели, неужели самые близкіе мнѣ люди: отецъ, который радуется, что его псомъ зовутъ, значитъ, заказами не забываютъ, — мать, которая реветъ, потому что въ „гармони" погибель міра видитъ, — братъ въ калошахъ и безпремѣнно съ гармонью на колѣнкахъ! Неужели они, они могутъ мнѣ быть близки?!

И ужасъ охватывалъ его.

— Подлецъ ты, мерзавецъ ты, негодяй ты! Да вѣдь эти самые люди тебя своимъ горбомъ выходили! Вѣдь съ голоду бы ты безъ нихъ подохъ, вотъ безъ этого „пса", безъ этихъ людей „съ гармонью". Въ гимназію-то кто за тебя платилъ? Сами голодали, тебя, негодяя, на плечахъ держали. А ты смѣешь такъ о нихъ...

До такого отчаянія человѣкъ дошелъ, что однажды даже отцу объявилъ:

— Знаешь, что, батюшка? Я думаю всю эту ученость-то по боку! Все это лишнее! Я сынъ сапожника, родился сапожникомъ, сапожникомъ и долженъ быть. Сяду-ка я вотъ къ вамъ въ мастерскую да начну...

Но отецъ только посмотрѣлъ на него искоса и сказалъ одно слово:

— Сдурѣлъ!

А мать закачала головой и заговорила съ горечью, съ болью, съ язвительностью:

— Значитъ, всѣ наши хлопоты-то, траты, труды, — хинью-прахомъ должны пойти? Сапожникомъ онъ будетъ! А? Не доѣдали, не досыпали, а онъ на все: тфу! Въ сапожники!

Прямо потерялся Иванъ Яковлевичъ.

— Что жъ дѣлать? Что?

Захочетъ чѣмъ помочь:

— Постойте, я пойду дровъ наколю!

Улыбаются съ неудовольствіемъ:

— Пусти ужъ! Ученое ли это дѣло.

Въ разсужденіе ли вдастся, чтобъ стариковъ порадовать,—выслушаютъ, вздохнувъ:

— Ты, извѣстно, ученый!

И насупятся съ неудовольствіемъ.

Захочетъ разговоръ поддержать, отцу что возразитъ мягко, мягко.

— Перечь старику, перечь!—скажетъ отецъ.

А мать заплачетъ.

Совѣтъ подать,— и не дай Богъ.

— Вы бы форточку отворяли, воздухъ чище будетъ.

Братья хмурятся, злобно сплевываютъ въ сторону:

— Тебѣ все нехорошо у насъ. И воняетъ у насъ. И все!

— Ученый!—съ горькимъ вздохомъ замѣчаетъ отецъ.

И начала въ семью прокрадываться ненависть какая-то.

Отецъ велитъ „сыночка“ къ обѣду звать, непремѣнно зло скажетъ:

— Зовите... образованнаго-то!

Иванъ Яковлевичъ къ обѣду идетъ, себѣ говоритъ:

— Ну-съ, послушаемъ, чего сегодня старый сапожникъ нафилософствуетъ!

Мать, когда каши поѣдятъ, непремѣнно прибавитъ:

— Ну, никакихъ разносоловъ больше не будетъ. Можно и Богу молиться!

А ему хочется вскочить и крикнуть:

— Да никакихъ мнѣ разносоловъ и не нужно! Да и вообще убирайтесь вы отъ меня къ чорту! Ничего у меня общаго съ вами нѣту. Никто вы мнѣ! Вотъ что! Не вы мнѣ близкіе, не вы, а тѣ, чужіе. Тамъ и я всѣхъ понимаю, и меня всѣ понимаютъ. А вы? Презираю я васъ, презираю! Слышите?

„Эге! — думаетъ Иванъ Яковлевичъ. — Плохо дѣло. Удирать надо!“

Объявилъ Иванъ Яковлевичъ отцу:

— А мнѣ, батя... того... ѣхать пора...

И когда говорилъ это, отъ слезъ голосъ дрожалъ.

И старикъ отвернулся:

— Надоть... держать не можемъ... поѣзжай!..

И у старика отъ слезъ голосъ дрожалъ.

Расцѣловались, прослезились.

Онъ имъ сказалъ:

— Пишите!

Они ему сказали:

— Не забывай!

И уѣхалъ Иванъ Яковлевичъ.

А пріѣхавши въ столицу, написалъ имъ самое нѣжное, самое любовное письмо. Всѣ эти мелочи и вздорныя столкновенія, какъ паръ, улетучились, — остались только въ памяти и въ душѣ милые старики.

А черезъ двѣ недѣли отъ нихъ и отвѣтъ пришелъ. На четырехъ страницахъ, кругомъ исписанныхъ, — что именно хотѣли люди сказать, понять было мудрено. Было

понятно только,—что „письмо твое получили“ и „что не такого утѣшенія отъ сынка на старости лѣтъ ждали“.

Иванъ Яковлевичъ сейчасъ же послалъ имъ денегъ.

На денежное письмо получился отвѣтъ уже не на четырехъ страницахъ, а на одной.

Писали, что очень благодарны, потому что деньги всегда нужны... А дальше добавляли что-то о „псахъ“ и о родителяхъ.

Наконецъ, недоразумѣніе разъяснилъ двоюродный братъ Никифоръ, который пріѣхалъ въ столицу искать мѣста.

— Въ неблированныя комнаты лакеемъ, куда барышень водятъ. Очинно, говорятъ, выгодно.

Онъ пришелъ къ Ивану Яковлевичу съ просьбой похлопотать насчетъ такого мѣста и кстати пояснилъ:

— Тятенька съ маменькой очинно вашими письмами, Иванъ Яковлевичъ, обиждаются. Никому поклоновъ не шлете, ни тетенькѣ Прасковьѣ Ѳеодоровнѣ ни дяденькѣ Ильѣ Николаевичу. Вся родня въ обидѣ. „На родню,—говорятъ,—какъ на псовъ смотритъ. На-те, молъ, вамъ, подавитесь! Денегъ швырнетъ, ровно подачку. Слова привѣтливаго не скажетъ“.

Улыбнулся Иванъ Яковлевичъ, обругалъ себя въ душѣ, улыбаясь, „свиньей“, сѣлъ и написалъ:

„Въ первыхъ строкахъ сего моего письма посылаю вамъ, мой дражайшій тятенька и моя дражайшая маменька, съ любовію низкій поклонъ и прошу вашего родительскаго благословенія, навѣки нерушимаго. А еще низко кланяюсь любезной тетенькѣ нашей Прасковьѣ Ѳедоровнѣ. А любезному дяденькѣ нашему Ильѣ Николаевичу шлю съ любовію низкій поклонъ. А любезной двоюродной сестрицѣ нашей Ненилѣ Васильевнѣ съ любовію низкій поклонъ и родственное почтеніе...“

Четыре страницы поклонами исписалъ и послалъ.

— Никого, кажется, не забылъ. Слава Богу!

Черезъ недѣлю пришелъ отвѣтъ.

Увѣдомляли, что письмо получили, но что не „чаяли до того времени дожить, чтобъ родной сынъ сталъ надъ родителями надсмѣхаться". Потому что приходилъ заказчикъ, и когда ему показали письмо отъ „образованнаго сыночка", онъ очень хохоталъ, читая, и сказалъ:

— Это онъ надъ вами штуки строитъ и надъ вашей деревенской дурью надсмѣхается. И все это прописалъ не иначе, какъ въ надсмѣшку.

Дальше говорилось что-то о Богѣ, Который за все платитъ.

Иванъ Яковлевичъ чуть не волосы на себѣ рвалъ:

— Что жъ я могу для нихъ сдѣлать? Что?

Какъ вдругъ телеграмма:

— Былъ пожаръ. Все сгорѣло. Остались нищіе. Голодаемъ.

Схватился Иванъ Яковлевичъ, продалъ, заложилъ все, что у него было, впередъ набралъ, подъ векселя надоставалъ:

— Вотъ когда я папенькѣ съ маменькой за все, что они для меня сдѣлали, отплачу. Пришелъ случай.

И съ ужасомъ себя на этой мысли поймалъ:

— Да что я? Радуюсь, кажется, что съ ними несчастіе случилось?

И отвѣтилъ себѣ, потому что онъ былъ съ собой человѣкъ честный и правдивый:

— Радоваться—не радуюсь, а облегченіе чувствую. Потому что случай вышелъ долгъ заплатить.

Когда они будутъ голодать, — онъ будетъ имъ денегъ высылать.

Вотъ и все, чѣмъ онъ можетъ имъ помочь. Вотъ и все, что можетъ быть между ними общаго.



Мученикъ за общественные интересы.

Я увѣренъ, что если бы я теперь пріѣхалъ въ Одессу, я встрѣтился бы тамъ съ человѣкомъ, безвременно состарѣвшимся, исхудалымъ, посѣдѣвшимъ, осунувшимся, котораго бы я съ трудомъ узналъ и который сказалъ бы, какъ гоголевскій Иванъ Ивановичъ:

— А знаете? Дѣло съ моими супостатами скоро кончится въ мою пользу! Я получилъ самыя вѣрныя свѣдѣнія!

Человѣкъ этотъ—докторъ Б. А. Шпаковскій *).

Бывшій старшій врачъ одесской городской психіатрической больницы.

Мученическая, — именно „мученическая", другого слова не приберешь,—эпопея г. Шпаковскаго хорошо извѣстна публикѣ. О ней много писали.

Въ короткихъ словахъ исторія заключается въ слѣдующемъ.

Одесская домовладѣльческая и купеческая дума избрала управу изъ своихъ людей:

— Пусть покормится.

Управа эта построила психіатрическую больницу.

Что дѣлала управа,—знаютъ однѣ бухгалтерскія книги. Да и то далеко не все!

---

*) Теперь это уже стало анахронизмомъ. Человѣкъ несокрушимой энергіи и колоссальнаго здоровья, Б. А. Шпаковскій, умеръ, замученный „эпопеей".

За „разложенные по карманамъ“ интересы города и больныхъ вступился старшій врачъ больницы Б. А. Шпаковскій и, какъ дважды два—четыре, доказалъ, что дѣло „не чисто“.

За это было воздвигнуто на г. Шпаковскаго гоненіе.

Городская управа поручила своимъ служащимъ клеветать на г. Шпаковскаго въ газетахъ.

Состоявшіе на жалованьѣ у управы, эти писатели-добровольцы взводили на г. Шпаковскаго всякія гнусности.

Шумъ былъ поднятъ до того страшный, преступленія описывались такія ужасныя, что извѣстія о г. Шпаковскомъ, какъ о „преступникѣ конца вѣка“, проникли даже въ иностранную печать!

Г. Шпаковскій былъ отданъ подъ судъ.

Управа, „чуткая къ голосу печати“, представила г. Шпаковскаго думѣ къ увольненію отъ должности.

Дума, ратуя за свою управу, уволила.

Человѣкъ былъ обезславленъ, разоренъ, лишенъ куска хлѣба.

А затѣмъ...

Слѣдствіе надъ г. Шпаковскимъ было прекращено, потому что всѣ обвиненія оказались клеветой и ложью.

Наемные клеветники въ печати были привлечены г. Шпаковскимъ къ отвѣтственности и приговорены за клевету, такъ какъ на судѣ была выяснена вся преднамѣренность ихъ лжи.

Зданіе психіатрической больницы оказалось, какъ и утверждалъ г. Шпаковскій, дѣйствительно, никуда негоднымъ.

Многіе изъ воздвигшихъ на него гоненіе успѣли за это время вылетѣть изъ муниципалитета „вообще за хорошее поведеніе“.

И вотъ я прочелъ въ газетахъ:

„Одесскимъ особымъ по городскимъ дѣламъ присутствіемъ, согласно указу Сената, отмѣнено постановле-

ніе думы объ увольненіи отъ службы старшаго врача городской психіатрической больницы Шпаковскаго и постановлено предложить думѣ войти въ разсмотрѣніе дѣйствій управы при увольненіи его".

Прочелъ и пришелъ въ ужасъ.

Да вѣдь „исторія съ г. Шпаковскимъ" началась тогда, когда я уѣзжалъ на Сахалинъ!

Съ тѣхъ поръ я успѣлъ объѣхать вокругъ свѣта, нѣсколько разъ исколесить Европу, увидѣть нѣсколько выставокъ, изъ нихъ одну всемірную, написать четыре книги, столько перевидать, столько перечувствовать, столько переиспытать.

А человѣкъ все боролся за торжество истины въ дѣлѣ, гдѣ онъ кругомъ правъ.

Если я за это время успѣлъ сократить свою жизнь на добрыхъ 10—15 лѣтъ,—сколько же лѣтъ жизни отнято у этого человѣка?

А вѣдь мы живемъ одинъ разъ.

Вотъ поистинѣ „сверхчеловѣкъ".

Какая нужна сверхчеловѣческая энергія, сверхчеловѣческое терпѣніе, чтобъ, не переставая, ежедневно, ежечасно бороться столько времени и въ концѣ концовъ все-таки добиться торжества истины.

Чортъ ее возьми, однако! Что это за лѣнивое, сонное животное у насъ,—эта „истина".

Что это за Гамлетъ, вѣчно покрытый „печали облаками".

Что за траурная особа! Что за факельщикъ! Что за вдова-салопница, вся въ черномъ!

Ни за что не хочетъ „торжествовать".

Годами надо ее расталкивать, „шпынять" подъ бока:

— Да торжествуй же, подлая! Торжествуй, чортъ тебя возьми!

И наконецъ-то еле-еле, спустя годы и годы, она начинаетъ „торжествовать".

И что за торжество?

Чѣмъ мы можемъ вознаградить г. Шпаковскаго за преждевременныя сѣдины, за разореніе, за отнятые годы жизни?

Что можемъ сказать ему?

Развѣ, какъ въ одномъ разсказѣ Герцена, о крѣпостной актрисѣ:

— Пойди, голубушка, домой; видишь, какое счастье, что ты невинна!

Мнѣ очень часто приходилось наблюдать это явленіе,—да, вѣроятно, приходилось и вамъ.

Живетъ себѣ человѣкъ тихо, смирно и удачно.

Ищетъ себѣ человѣкъ хорошихъ мѣстъ — находитъ. Ищетъ прибылей—находитъ. Ищетъ друзей—находитъ.

Но вдругъ его кусаетъ какая-то муха, и онъ начинаетъ по какому-нибудь поводу „искать справедливости".

И—моментальная перемѣна декорацій!

Человѣкъ худѣетъ, блѣднѣетъ, желтѣетъ, сохнетъ, сѣдѣетъ, сгорбливается, покрывается морщинами.

Совсѣмъ какой-то принцъ Жофруа, влюбленный въ принцессу Грезу! Что-то жалкое и безпомощное.

Время для него теряетъ свое нормальное теченіе.

Онъ живетъ не мѣсяцами, не годами, а „сроками".

— Не пропустить бы срокъ кассаціи.

— Не пропустить бы срокъ апелляціи.

Родные его плачутъ:

— Господи! Да бросилъ бы! Да забылъ бы. Не сводить ли ужъ его къ гипнотизеру?! Пусть „отрѣшитъ"!

Лучшіе друзья начинаютъ отъ него сторониться:

— Знаете! Вѣдь это невозможно! Все объ одномъ и томъ же, да объ одномъ и томъ же!

Въ обществѣ рѣшаютъ:

— Непріятный человѣкъ! Безпокойный человѣкъ!

Ему перестаютъ вѣрить:

— Вездѣ ему отказываютъ въ справедливости! Изволите ли видѣть! Неужели весь міръ неправъ,—онъ правъ одинъ?

Въ присутственныхъ мѣстахъ косятся.

— Всѣ пороги обилъ!

Его избѣгаютъ, надъ нимъ смѣются, наконецъ, начинаютъ даже сожалѣть:

— Бѣдняга—того!

Указываютъ на лобъ и крутятъ пальцемъ.

А онъ, одинокій, всѣми заброшенный, всѣмъ непріятный,—ищетъ, ищетъ истины.

Онъ, дѣйствительно, похожъ на человѣка, отыскивающаго женщину, которую видѣлъ во снѣ!

И наконецъ,—чудо! Находитъ.

Что находитъ?

Наконецъ, добивается.

Чего добивается?

Сакраментальной фразы:

— Поди, голубушка, домой; видишь, какое счастье, что ты невинна.

Знаете! Въ виду такого результата, пожалуй, согласенъ съ господами, которые крутятъ пальцами около лба.

Да! Пожалуй... Чтобъ бороться, чтобъ биться, чтобъ „не плюнуть", чтобъ тратить годы, чтобъ „искать справедливости", для этого надо быть мономаномъ.

Непремѣнно мономаномъ. Немономана не хватитъ!

Это у насъ особый сортъ мономаніи— искать справедливости.

Какъ, однако, чортъ возьми, пріятно все это думать и писать.

Подумайте!.. А впрочемъ, пріятнаго аппетита и спокойнаго сна. Главное—спокойнаго сна.

Полицейское дѣло.

„Нижній - Новгородъ. — Въ судебной палатѣ разсмотрѣно дѣло бывшихъ полицейскихъ: Шлеметевскаго, Шульпина, Ольховича, Шибаева и Панова, обвиняемыхъ въ нанесеніи весной 1899 года побоевъ съ переломомъ реберъ задержанному крестьянину Воздухову, который не приходя въ сознаніе, умеръ. Били его ногами, книгой, кулаками. Избитаго бросили въ камеру. Первые трое изъ поименованныхъ подсудимыхъ приговорены палатой въ каторожныя работы на четыре года“.

Газетная телеграмма.

Трое нижегородскихъ полицейскихъ приговорены къ 4 годамъ каторги.

Для нихъ это приговоръ къ смертной казни, и притомъ мучительнѣйшей.

Каторга ненавидитъ полицію.

Воровъ, грабителей, убійцъ, самихъ когда-то „допрашивали“ въ участкахъ, и когда къ нимъ попадаетъ полицейскій, они „припоминаютъ“.

На Сахалинѣ, проходя мимо одной изъ тюремъ, я услыхалъ отчаянные вопли.

— Съ хородовымъ ихраютъ! — объяснилъ мнѣ съ улыбкой „стрёмщикъ“, стоявшій на-стражѣ у дверей.

Въ другой разъ мнѣ пришлось видѣть, какъ „играли съ городовымъ“.

„Игрокъ“ Василій Петровичъ выигралъ большое состояніе, — рублей восемьдесятъ.

Весь „номеръ“ тюрьмы былъ поставленъ вверхъ ногами.

Старый „бабай“, татаринъ, цѣлый день не закрывалъ своего „майдана“.

Стоялъ у раскрытаго ящика съ картами, папиросами, вареными яйцами, ситникомъ, жаренымъ мясомъ:

— Можэтъ, Васылъ Петровичъ что потрэбуетъ.

Василій Петровичъ лежалъ на нарахъ и уже скучалъ.

Около него суетились, вертѣлись, егозили голодные „жиганы“, выдумывая, чѣмъ бы еще развлечь Василія Петровича.

Водку Василій Петровичъ пилъ и другихъ потчевалъ.

На гармоникѣ ему играли.

Картинки онъ у Балада, тюремнаго художника-кавказца, покупалъ и рвалъ.

„Хама“, какъ собаку, кормилъ.

„Хамъ“, умирающій съ голода, изъ продувшихся въ лоскъ „жигановъ“, проигравшій свой паекъ за три мѣсяца впередъ, стоялъ на четверенькахъ.

Василій Петровичъ плевалъ на хлѣбъ, кидалъ ему.

— Пиль!

„Хамъ“ долженъ былъ ловить налету непремѣнно ртомъ и радостно лаять, къ удовольствію всего „номера“.

Но и эта игра Василію Петровичу надоѣла:

— Пшелъ къ чорту!

Онъ лежалъ и скучалъ.

Что бы такое выдумать?

— Сенька! — улыбнулся лѣнивой улыбкой Василій Петровичъ.

Нашелъ!

— Сенька, какъ тебя въ полиціи дули? А?

Сенька, поджарый жиганъ, ожилъ, подскочилъ, тряхнулъ головой и осклабился всей мордой:

— Жестоко дули-съ, Василій Петровичъ! Такъ точно!

— А ну-ка-сь, разскажи!

При этихъ словахъ арестантъ, лежавшій неподалеку на нарахъ, потихоньку всталъ и пошелъ къ выходу.

Но сидѣвшій на краю наръ „парашечникъ" вскочилъ, загородилъ дорогу:

— Куда?

— Стой, братъ, стой!—разсмѣялись другіе арестанты и подтолкнули его поближе къ Василію Петровичу, — послухай!

Это былъ бывшій городовой, сосланный въ каторгу за то, что повѣсилъ жену.

— За что жъ тебя дули? — какъ будто бы удивлялся Василій Петровичъ.

— Стало - быть, допрашивали! — отвѣчалъ весело Сенька. — По случаю ложекъ!

— Въ участкѣ, значитъ?

— Такъ точно, въ участкѣ. Иду, стало-быть, по Хитрову рынку, а меня и—цапъ, забрали и посадили въ каталажку. А наутро приходитъ г. околоточный надзиратель. „Такъ и такъ, винись, значитъ, гдѣ серебряны ложки? Твоихъ рукъ дѣло!" — „Дозвольте, — говорю, — ваше высокоблагородіе! Явите такую начальническую милость! Отродясь ложекъ въ глаза не видывалъ!" — „Не видывалъ — гыть, — раскурицынъ ты, курицынъ сынъ! Такъ ты у меня по-другому заговоришь!" Да кэ-эксъ развернется, по уху меня—хле-есть!

— Да ну?

— Свѣту не взвидѣлъ! Сейчасъ сдохнуть!

— Да какъ же онъ тебя такъ?

— Да вотъ этакимъ манеромъ-съ!

Сенька подскочилъ къ бывшему городовому, развернулся—и звѣзданулъ его въ ухо, тотъ на нары треснулся.

— Здорово тебѣ, Сенька, дали! — покачалъ головой Василій Петровичъ.

Бывшій городовой вскочилъ, лицо въ крови, — объ нары разбился, — заоралъ, какъ звѣрь:

— Чего жъ ты, стерьва!?

И кинулся на Сеньку.

Но „жиганы“ ловко дали ему подножку, кинулись, насѣли, скрутили руки назадъ, подняли и держали.

Сенька стоялъ весь блѣдный, со стиснутыми зубами, дрожа. „Человѣкъ разгорался“. Кровь играла.

„— Держи, — говоритъ городовымъ, — его, подлеца, туже“. Да кэ-экъ развернется, да кэ-экъ въ другое ухо рѣзне-етъ!

Сенька наотмашь рѣзнулъ бывшаго городового въ другое ухо. Тотъ зашатался и завопилъ благимъ матомъ.

— „Сказывай, — гыть, — подлецъ, игдѣ ложки?“ Да опять какъ рѣзнетъ!

Сенька „рѣзалъ“ съ разстановкой, чтобы „каждый ударъ чувствовалъ“, — отчетливо, звонко, со вкусомъ.

Бывшій городовой только стоналъ, опустивъ голову.

Сенька пріусталъ.

На лбу выступилъ потъ, утерся.

— Вижу, надоть роздыхъ дать. Ваше, — кричу, — ваше высокоблагородіе! Остановитесь! Остановитесь! — кричу.—Сейчасъ всю правду истинную про ложки покажу! Не бейте. Остановились г. околоточный надзиратель. „Дыши,—говоритъ, — тварь!“ Полежалъ на полу, отдышался. Да въ ноги. Что я могу сказать игдѣ ложки, ежели я и впрямь ложекъ не бралъ? „Ваше высокоблагородіе! Будьте такіе милостивые! Ужели жъ вамъ бы не сказалъ, ежели бъ бралъ?“ — „А,—г. околоточный говоритъ, — ты, животина, этакъ? Крути ему руки“. Да кэ-экъ меня... Свѣту не взвидѣлъ!

Отдохнувшій Сенька звѣзданулъ бывшаго городового такъ, что у того голова замоталась и ноги подкосились.

— „Такъ?“ гыть. „Этакъ?“ гыть. „Такъ?“ гыть. „Этакъ?“ гыть.

Бывшаго городового швырнули на нары. Онъ былъ въ безчувственномъ состояніи.

Долго лежалъ, какъ пластъ. Словно померъ. Только потомъ начали плечи вздрагивать. Значитъ, въ себя приходить началъ и отъ боли плачетъ.

— Съ хородовымъ ихрали?—спросилъ меня „стремщикъ“, стоявшій у двери снаружи, когда я выходилъ изъ „номера“.

— Съ городовымъ играли. И часто играютъ?

— Извѣстно. Баловники!

Онъ улыбнулся и пожалъ плечами.

Я не осуждаю этого приговора:

— На четыре года въ каторгу.

Я нахожу его превосходнымъ, я нахожу его великолѣпнымъ, я нахожу его достойнымъ подражанія.

Я люблю, когда мысль выражается общепонятно.

А общепонятнѣе, опредѣленнѣе, яснѣе нельзя выразить мысль:

— За издѣвательство, за мучительство надъ беззащитнымъ въ застѣнкѣ—каторга.

Побольше бы такихъ приговоровъ.

Они понятнѣе и яснѣе всякихъ циркуляровъ о вѣжливомъ обращеніи полиціи съ публикой.

Я рукоплещу справедливости.

Но мнѣ жалко людей.

Какъ жаль бываетъ озвѣрѣвшихъ, оскотинѣвшихъ людей, испорченныхъ старшими.

За что ихъ погубили?

Что думали эти полицейскіе, когда они били въ участкѣ кулаками и ногами, мучили, издѣвались, ломали ребра попавшемуся въ ихъ руки обывателю?

— Ори, братъ, не ори,—все одно никто не услышитъ!

И беззащитная жертва еще больше разжигала ихъ,—ничто такъ не озвѣряетъ палача, какъ безпомощность его жертвы.

Тутъ-то и дать себѣ волю!

Думали ли они, что жертва можетъ пожаловаться?

Кому? Какъ? Гдѣ свидѣтели?

Да они же сами и будутъ единственными свидѣтелями:

— Помилуйте! Что вы? Обращеніе было самое деликатное! Онъ самъ ругалъ, самъ оскорблялъ, самъ наносилъ удары чинамъ полиціи.

Пусть пожалуется, самъ же и останется виноватымъ.

Самого же и отдадутъ подъ судъ „за оскорбленіе чиновъ полиціи при исполненіи ими служебныхъ обязанностей".

Думали ли они, что кровоподтеки, ссадины, переломанныя ребра могутъ служить уликами противъ нихъ?

А протоколъ-то на что?

Протоколъ, гдѣ пишется:

„Подобранъ въ безчувственно - пьяномъ видѣ не извѣстный человѣкъ, со знаками неизвѣстно кѣмъ нанесенныхъ побоевъ".

Такъ въ участокъ и доставленъ! Кто его знаетъ, гдѣ, кто его такъ изувѣчилъ.

Думали они, могли ли они думать, что попадутъ подъ судъ?

Для насъ, простыхъ смертныхъ, чтобы попасть подъ судъ, надо только совершить преступленіе. Довольно и прокурора.

Для полицейскаго прокуроръ безсиленъ. Надо, чтобъ начальство захотѣло отдать полицейскаго подъ судъ.

Городовой „изложитъ дѣло" околоточному, который, конечно, станетъ скорѣе на сторону „своего" городового, чѣмъ на сторону какого-то „мерзавца", подобраннаго на улицѣ и попавшаго въ кутузку.

Околоточный „представитъ дѣло" участковому.

Участковый „объяснитъ дѣло" полицмейстеру.

Полицмейстеръ „освѣтитъ дѣло" губернатору.

Какое тутъ преданіе суду!

Для этихъ Шлеметевскаго, Шульпина и Ольховича приговоръ въ каторгу свалился, какъ снѣгъ на голову.

Какъ снѣгъ въ іюлѣ!

Они жили, они были воспитаны въ мысли о безнаказанности,—это самое главное,—и вдругъ...

И вотъ пройдетъ года два-три.

Въ одинъ изъ сахалинскихъ лазаретовъ „приволокутъ“ изъ тюрьмы избитаго на смерть арестанта.

Въ состояніи такомъ же, въ какомъ былъ и этотъ несчастный обыватель Воздуховъ.

Въ кровоподтекахъ, съ отбитыми легкими, съ переломанными ребрами.

— Кто это, братецъ, тебя такъ разукрасилъ?—спроситъ докторъ, стараясь шутливымъ тономъ поддержать духъ умирающаго.

Арестантъ промолчитъ.

— Кто, говорю, тебя такъ разукрасилъ?

Арестантъ будетъ угрюмо смотрѣть въ уголъ и молчать.

Или скажетъ черезъ силу:

— Самъ съ наръ упалъ. Расшибся.

Всякій больной надѣется выздоровѣть. Но, выздоровѣвши, попадешь опять въ тюрьму.

А если „лягнешь“, „ударишь хвостомъ“, скажешь, кто билъ, тогда ужъ изъ тюрьмы больше не попадешь въ лазаретъ, а прямо на кладбище.

И испуститъ духъ этотъ бывшій полицейскій, для котораго приговоръ въ каторгу былъ приговоромъ къ смертной казни.

За что?

Испуская духъ, онъ можетъ, онъ имѣетъ право спросить:

— За что жъ меня-то, меня такъ, когда другіе...

Г. Демчинскій.

— Правъ или неправъ г. Демчинскій?

— Ей Богу не знаю. Вмѣсто диспута, была пародія. Да и то не изъ остроумныхъ!

— Вѣрна его теорія?

— Судить не могу. Я не спеціалистъ.

— Ну, по крайней мѣрѣ, сбываются его предсказанія?

— Не слѣдилъ. Вѣдь нельзя же, глядя на небо, думать только о Демчинскомъ!

И все-таки когда меня интересуетъ вопросъ о погодѣ, я справляюсь:

— А что говоритъ Демчинскій?

Если Демчинскій предскажетъ, что 1-го ноября будетъ жесточайшій морозъ,—въ ломбардахъ произойдетъ великое волненіе.

Служащіе не будутъ поспѣвать выдавать выкупаемыя шубы.

Если то же самое предскажутъ метеорологи, —шубы будутъ мирно покоиться нафталиновымъ сномъ и видѣть процентныя грезы.

— Да вѣдь метеорологи говорятъ...

— А мало ли что метеорологи! Вотъ инженеръ...

Мнѣ кажется, что и вѣра въ г. Демчинскаго основана на томъ, что онъ инженеръ.

Такое и выраженіе существуетъ:

— Вы вѣрите въ Демчинскаго?

Эта „вѣра въ Демчинскаго“ интересна съ точки зрѣнія психологіи общества.

У меня былъ пріятель - докторъ. Кончилъ курсъ и уѣхалъ въ провинцію.

Письма получались самыя отчаянныя.

„За 2 мѣсяца хоть бы зубъ какому-нибудь канальѣ вырвать! Вѣдь болятъ же, чортъ возьми, у кого-нибудь хоть зубы!“

Къ тому же съ бѣднягой случилось несчастье.

Его пригласили какъ-то нечаянно къ женѣ городского головы,—и несчастный нашелъ у нея страданія желудка.

Страданія желудка, — когда жена городского головы не считала совмѣстимымъ со своимъ званіемъ страдать чѣмъ-нибудь ниже нервнаго разстройства.

— Весь городъ знаетъ мои нервы, а онъ говоритъ, что у меня желудокъ!

Отъ невѣжи, нахала, дерзуна и коновала отвернулся весь городъ.

Дамы падали въ обморокъ при его имени:

— Онъ, Богъ знаетъ, что у меня найдетъ!

Мужчины говорили:

— Вотъ лошадь заболѣетъ, — я его приглашу!

„Мнѣ все чаще и чаще приходитъ въ голову, дорогой другъ, — писалъ несчастный, — прописать себѣ синильной кислоты“.

Наконецъ, я получилъ отъ него извѣстіе:

„Продалъ послѣднее, что было. Ѣду въ другую губернію“.

И вдругъ на меня посыпались жизнерадостныя письма:

„Купилъ лошадей“.

„Приторговываю домишко“.

„Поздравь меня,—я помѣщикъ“.

И пріятель звалъ меня къ себѣ:

„Пріѣзжай весной сюда ко мнѣ, въ мой подгородный хуторъ. Мы отдохнемъ и посмѣемся. Здѣсь смѣется все, — смѣется солнце, смѣется голубое небо, смѣется веселая рѣчка, смѣется кудрявый лѣсъ и радостно хихикаетъ листвой“.

Я соблазнился.

Пріятель ждалъ меня на станціи.

— Здравствуй, док...

Онъ поблѣднѣлъ, какъ полотно, кинулся ко мнѣ, сжалъ руку и шепнулъ трагическимъ тономъ:

— Тсс!.. Кругомъ меня всѣ знаютъ! Не называй меня докторомъ!

И пока мы ѣхали въ отличной коляскѣ, — онъ шепталъ, чтобъ не слыхалъ кучеръ:

— Говори про меня все, что хочешь. Что я бѣглый каторжникъ. Живу по подложному виду. Убилъ семью изъ десяти персонъ. Не не говори, что я докторъ.

И когда послѣ ужина мы остались одни, онъ посмотрѣлъ, не подслушиваетъ ли кто изъ прислуги, заперъ двери кабинета и сказалъ вполголоса:

— Я знахарь, а не докторъ. Не строй удивленныхъ глазъ. Вотъ какъ вышло. Я пріѣхалъ сюда безъ копейки и остановился гдѣ-то, скорѣй на постояломъ дворѣ, чѣмъ въ меблированныхъ комнатахъ. Всю дорогу я думалъ: „Не броситься ли подъ поѣздъ?“ Усталый, разбитый,— а тутъ черезъ перегородку охаетъ хозяйка. „Что съ вами?“ — „Ой, милые, поясница!“ Я не знаю, что меня дернуло пошутить,—это была минута вдохновенія: „Это у васъ съ глаза!“ Хозяйка обрадовалась, словно я ей сто рублей подарилъ: „Вотъ, вотъ, батюшка! Я и сама думала, что безпремѣнно съ глазу!“ Пошелъ въ аптеку, накупилъ ей разной дряни. Наутро какъ рукой сняло! Такъ, пустяки были. Но къ полудню въ коридорѣ у моихъ дверей ужъ дожидалось пять паціентовъ изъ того же дома. Одинъ испорченный, одинъ чѣмъ-то опоенный,

одинъ, на котораго напустили, человѣкъ, у котораго заболѣлъ глазъ оттого, что онъ посмотрѣлъ на собаку не въ надлежащую минуту, и человѣкъ, на котораго на самого посмотрѣла старуха-цыганка. На третій день у меня было ужъ 50 паціентовъ. Вѣсть о пріѣхавшемъ въ городъ знахарѣ облетѣла всю улицу и переходила на сосѣднія. А на четвертый день у постоялаго двора остановилась карета: „Здѣсь живетъ знахарь?“ Чѣмъ я ихъ лѣчу? Я хожу въ аптеку, покупаю нужныя лѣкарства и лѣчу. Лѣчу какъ слѣдуетъ. Однимъ помогаетъ, другимъ нѣтъ. Но извѣстіе о каждомъ „исцѣленіи“— относительно меня говорятъ „исцѣленіе“ — облетаетъ весь городъ и увеличиваетъ мою славу. Меня даже хотѣли выслать! — похвастался онъ.—Но нѣтъ, братъ! Трудно! У меня лѣчится губернаторъ! Ты посмотри часы моего пріема. Бѣдныхъ—безплатно. Интеллигенція окупаетъ все: домъ, лошадей, имѣніе, деньги въ банкѣ. И знаешь, къ какому я пришелъ убѣжденію?

— Къ какому?

— Что изъ меня вышелъ бы отличный докторъ! У меня есть талантъ. Я хорошо лѣчу. Конечно, я не отстаю, я слѣжу за наукой. Но, разумѣется, втайнѣ! Ради Бога это между нами! Выписываю книги на чужое имя, держу ихъ подъ секретнымъ замкомъ, а читаю запершись. Онъ вздохнулъ. Мнѣ жаль только коллегъ! За это время одинъ повѣсился съ голоду, другой впалъ въ меланхолію, сидя одинъ и ожидая паціентовъ. Остальные—кто уѣхалъ изъ города, кто изъ четырехъ-пяти комнатъ переѣхалъ въ одну. А я, — какъ видишь! Впрочемъ...

Онъ вскочилъ съ мѣста и безпокойно забѣгалъ по комнатѣ.

— Завелся тутъ за послѣднее время одинъ кузнецъ. На какой-то водѣ съ каленаго желѣза, говорятъ, лѣкарства готовитъ. Вретъ, конечно, шельма! Но сильно практика къ нему пошла. Я было ужъ справки наво-

дилъ: „Точно ли кузнецъ? Можетъ, кончилъ академію и говоритъ только, что кузнецъ?“ Хотѣлъ изобличить. Да нѣтъ! И по паспорту—кузнецъ. Развѣ живетъ только по подложному документу!

Пріятель вздохнулъ.

— Вотъ, братъ, дѣла! А все-таки... приношу пользу людямъ и лѣчу ихъ настоящей медициной. Хоть и противъ ихъ воли!

И онъ улыбался жалкой и виноватой улыбкой человѣка, котораго обвиняютъ въ кражѣ:

— Хотѣлъ поправиться и зажить честной жизнью!

Спеціалисты переживаютъ тяжелое время.

У васъ есть судебное дѣло. Вы хотите идти къ адвокату.

— Что, батюшка, адвокатъ? Тутъ есть одинъ знающій человѣкъ, никакой юриспруденціи не учился, а такъ вамъ дѣло обмозгуетъ...

Вы нездоровы.

— Зачѣмъ къ доктору? Къ какому доктору? Тутъ есть одинъ... не то изъ Бухары... не то изъ Тибета... Никакой этой самой медицины не знаетъ...

И девять изъ десяти идутъ къ „знающему человѣку“ и къ человѣку не то изъ Бухары, не то изъ Тибета.

Шутъ его знаетъ, откуда онъ, но онъ никакой медицины не изучалъ. Вотъ что главное!

У него и надо лѣчиться.

И въ „знающемъ человѣкѣ“ самое цѣнное, что онъ никакой юриспруденціи не изучалъ.

Съ нимъ и надо совѣтоваться!

Насчетъ метеорологіи надо у инженера спросить. А вотъ насчетъ инженерныхъ работъ, нѣтъ ли какого метеоролога спросить:

— Какъ бы русло Волги очистить?

Если бы г. Грибоѣдовъ занялся вопросомъ, какъ надо строить желѣзныя дороги, онъ имѣлъ бы у пу-

блики такой же успѣхъ, какъ г. Демчинскій, предсказывающій погоду.

Чѣмъ объяснить все это?

Гг. спеціалисты объясняютъ невѣжествомъ публики.

Но не виноваты ли чѣмъ-нибудь и сами гг. спеціалисты, если къ нимъ почему-то потеряли вѣру?

Что такое г. Демчинскій сейчасъ?

„Кузьмичъ метеорологіи".

Изъ ста „вѣрящихъ въ предсказанія Демчинскаго" едва ли десять внимательно ихъ провѣряли и едва ли одинъ знаетъ, въ чемъ состоитъ его теорія.

— Луна... притяженіе...

Многіе ли „въ такую глубь" вдавались?

Для большинства просто:

— Появился, слава Богу, и въ метеорологіи знахарь!

И перестали вѣрить докторамъ!

Гг. спеціалистамъ остается только развѣнчать его и доказать, что это только знахарь.

Если они могутъ это,— и въ особености если это такъ легко, по ихъ словамъ, сдѣлать!

Но развѣнчать публично, торжественно, на настоящемъ диспутѣ.

А не задушить новую идею келейно, въ своемъ кружкѣ.

Чтобы мы даже не могли слышать ея писка.

И затѣмъ объявить:

— Она была мертворожденною.

Диспуты-пародіи теперь въ модѣ.

Но пусть не на диспутѣ-пародіи, а на настоящемъ, свободномъ диспутѣ Галилей улыбнется г. Демчинскому:

— Въ своей теоріи вы забыли объ этомъ. Но все-таки жъ земля вертится!

А зачѣмъ же вы дѣлаете изъ г. Демчинскаго маленькаго Галилея?



Анекдотическое время.

На одной изъ „пятницъ акваперистовъ“ разыгрался слѣдующій анекдотъ:

Сѣли ужинать и, по обычаю, принялись за анекдоты.

Обыкновенные анекдоты, мужскіе.

Старый, почтенный художникъ всталъ и объявилъ, что онъ уходитъ:

— Среди художниковъ умѣстнѣе было бы говорить объ искусствѣ, чѣмъ разсказывать „мужскіе“ анекдоты!

Это вызвало оживленный обмѣнъ мнѣній.

Одинъ изъ молодыхъ художниковъ защищалъ анекдоты такими убѣдительными словами, которыя даже не во всякомъ анекдотѣ встрѣтишь.

Старый художникъ, защищаясь, взялъ стулъ въ видѣ аргумента.

Но до сраженія, слава Богу, не дошло.

Когда на слѣдующій день явились съ извиненіями къ старому, почтенному художнику, оказалось, что старый, почтенный художникъ отъ волненія и огорченія занемогъ.

„Такъ кончился пиръ ихъ бѣдою“.

Два года тому назадъ, въ одну изъ пятницъ, предвкушая и даже волнуясь, я подъѣзжалъ вечеромъ къ академіи.

Пятница, какъ на грѣхъ, была особенно „чреватой“.

— Вы будете сегодня въ Александринскомъ театрѣ? Новая пьеса.

— Нѣтъ.

— Вы въ Маріинскомъ? Тамъ тоже первое представленіе.

— Тоже нѣтъ. Я ѣду сегодня на „пятницу акварелистовъ“.

„Пятницы акварелистовъ“.

Сколько о нихъ приходилось читать, слышать, мечтать.

Попасть въ этотъ заколдованный кругъ.

Быть среди „необыкновенныхъ людей“.

Тутъ что ни человѣкъ, то талантъ. У всякаго въ душѣ искра Божья. У кого и пламя.

Унестись отъ прозы жизни въ интересы искусства.

Сколько я услышу, сколько увижу. Споры, разговоры объ искусствѣ.

Какія новыя идеи я вынесу отсюда? Во что моя вѣра будетъ поколеблена? Что новое заставитъ меня думать, грезить?

Нѣсколько человѣкъ рисовали съ натуры. Кто-то изъ артистовъ пѣлъ. Въ общемъ было скучно.

Наконецъ, усѣлись ужинать, и все ожило: полились анекдоты.

Нѣсколько человѣкъ, претендующихъ замѣнить „незамѣнимаго“ И. Ѳ. Горбунова, взапуски старались передъ нами, рѣзались, разсказывая анекдоты.

Было скучно, какъ вездѣ.

Впрочемъ, не вездѣ. „Внизу“ теперь интереснѣе, чѣмъ „наверху“.

Отчего это?

Въ обществѣ приказчиковъ стараются говорить „о высокихъ матеріяхъ“.

Въ обществѣ интеллигентныхъ людей пробавляются приказчичьими анекдотами.

Въ то время, какъ приказчики стараются возвыситься до интеллигенціи, интеллигенція старается принизиться до приказчиковъ.

Впрочемъ, художники не должны особенно огорчаться анекдотическимъ упадкомъ ихъ когда-то знаменитыхъ „пятницъ“.

Не они одни.

Недавно я отправился на обѣдъ беллетристовъ.

Тоже „соль“.

Въ кабинетѣ у „Донона“, за длиннымъ столомъ, молча обѣдало человѣкъ 20.

Было скучно, томительно скучно.

Ей Богу, это было похоже на спиритическій сеансъ.

Такъ и казалось, что длинный столъ сейчасъ пойдетъ по кабинету, духи начнутъ швырять бутылками, салфетки сами собой свяжутся въ узлы, а тарелки примутся стучать:

— Я... духъ... А...гр...а...ф...е...н...ы-ы-ы.

Было жутко.

Въ страшномъ молчаніи съѣли супъ, рыбу.

При гробовой тишинѣ отошла въ вѣчность баранина, и ее молча помянули краснымъ виномъ.

Затѣмъ тоскливо исчезли бобы. Рябчики появились было на тарелкахъ и молча исчезли.

Съ тоской всѣ готовы были приняться за мороженое.

Но въ эту минуту кто-то хихикнулъ.

На него оглянулись съ испугомъ:

— Чего это вы?

— Да вотъ Иванъ Ивановичъ... Ой, не могу!.. Анекдотъ!..

Все ожило:

— Иванъ Ивановичъ! Анекдотъ!

— Анекдотъ!

— Иванъ Ивановичъ!

И полились анекдоты.

И ожили всѣ, какъ оживаютъ завядшіе цвѣты, вспрыснутые живительной росой.

Нынче безъ анекдота—ничто.

Нынче безъ анекдота—нигдѣ.

Въ собраніи экономистовъ, просто на вечеринкѣ, въ театрѣ въ антрактѣ, въ ресторанѣ и дома за чайнымъ столомъ,—вездѣ только и слышно:

— А вы слышали анекдотъ?..

На что среды кн. Мещерскаго,—какое почтенное и многодумное собраніе, но и тамъ, судя по „Дневникамъ Гражданина“, только и дѣлаютъ, что разсказываютъ неприличные анекдоты о Россіи.

Отправляетесь вы на чествованіе какого-нибудь дѣятеля—васъ ловитъ кто-нибудь за фалды фрака:

— А вы слышали самый послѣдній анекдотъ?

— Анекдотъ! Анекдотъ!

И кругомъ васъ кучка людей.

Умеръ общественный дѣятель.

Не успѣли тѣло положить въ гробъ,—у гроба выростаетъ „другъ почившаго“:

— Мы знали покойнаго лично. Съ покойнымъ случился однажды слѣдующій анекдотъ...

И пошло!

Если гдѣ-нибудь вы видите группу людей, слушающихъ внимательно, сосредоточенно, — знайте, что имъ разсказываютъ анекдотъ!

Какъ распространена теперь эта страсть къ анекдоту!

Прежде довольно было всему Петербургу одного И. Ѳ. Горбунова.

Теперь въ Петербургѣ 20—30 патентованныхъ, извѣстныхъ анекдотистовъ, стремящихся завоевать славу И. Ѳ. Горбунова.

Прежде на весь Петербургъ и на всю русскую жизнь достаточно было одного „генерала Дитятина“.

Теперь— „генералъ Херасковъ“, „генералъ Таптыгинъ“,—сколько ихъ разсказываетъ анекдоты въ обществахъ, кружкахъ, на вечерахъ и вечеринкахъ?

Въ обществѣ появились особые спеціалисты по части анекдотовъ.

— Зачѣмъ вы пускаете къ себѣ такого-то?

— Да ужъ очень хорошо анекдоты разсказываетъ!

На анекдотъ зовутъ:

— Пріѣзжайте. Будетъ такой-то. Вы слыхали, какъ онъ анекдоты...

О человѣкѣ, опоздавшемъ на анекдотъ, жалѣютъ:

— Эхъ вы! Опоздали! А тутъ молодого человѣка привозили. Такъ анекдоты разсказываетъ!

Есть такіе гастролирующіе молодые люди.

— Кто онъ?

— А шутъ его знаетъ! Анекдоты разсказываетъ!

Если у васъ есть хорошій анекдотъ,—у васъ есть ключъ во много домовъ.

Скоро на визитныхъ карточкахъ будутъ печатать: „Анекдотистъ".

И на карточкѣ писать:

„Пріѣхалъ съ новымъ анекдотомъ".

Примутъ непремѣнно, и не въ очередь.

Анекдотъ по всякому поводу. И все — поводъ для анекдота.

— Говорятъ, въ неурожайныхъ губерніяхъ...

— Ахъ, кстати про неурожайныя губерніи. Вы слышали анекдотъ? У неурожайнаго мужика спрашиваютъ:

— Въ трактиръ ходишь?

— Хожу!

— Водку пьешь?

— Пью!

— Подати платишь?

— Замололъ!

— Правда мило?

— Вотъ, говорятъ, насчетъ школьной реформы.

— Ахъ, насчетъ школьной реформы...

И вамъ сейчасъ разсказываютъ о томъ, какъ директоръ говорилъ рѣчь воспитанникамъ „по циркуляру":

— Мнѣ приказано васъ, такихъ, сякихъ, любить, — и я буду васъ, такихъ, сякихъ, любить! Въ карцеръ васъ, каналій, всѣхъ запру,—а любить все-таки буду!

— Правда, смѣшно?

Все и вся интересуетъ всѣхъ только съ точки зрѣнія анекдота:

— А ну, какой изъ этого анекдотъ выйдетъ?

И сама жизнь наша превратилась въ одинъ сплошной анекдотъ.

Нельзя сказать даже, чтобъ очень приличный.

Муза исторіи густо покраснѣетъ, разсказывая его нашимъ потомкамъ.



Разбои на Волгѣ.

(Историческій очеркъ.)

Есть мѣста, отличающіяся особенно вреднымъ климатомъ.

Какъ насмѣхъ, они считаются именно мѣстами съ климатомъ особенно хорошимъ.

Монако, Ялта, Волга.

Подъ жгучими лучами полуденнаго солнца, въ часъ пурпурнаго заката, ароматною теплою ночью, когда по небу изъ темно-синяго бархата раскинется брильянтовое кружево звѣздъ,—отъ пальмъ, отъ благоухающихъ экзотическихъ цвѣтовъ поднимаются, хороводомъ кружатся въ воздухѣ миріады особыхъ монакскихъ микробовъ.

При теперешнихъ успѣхахъ науки можно быть увѣреннымъ, что этотъ микробъ будетъ найденъ.

Микробъ, который носится въ благодатномъ воздухѣ Монако и заражаетъ людей азартомъ.

Откуда взялись эти микробы?

Они родились, быть-можетъ, въ лужахъ крови въ роскошномъ вестибюлѣ игорнаго дома, въ лужахъ крови на площадкѣ, подъ знаменитою монакскою скалой, въ лужахъ крови на рельсахъ желѣзной дороги.

Они родились отъ крови тѣхъ американцевъ, русскихъ, англичанъ, французовъ, нѣмцевъ, которые пускали себѣ пулю въ лобъ, кидались со скалы, бросались подъ поѣздъ.

Я встрѣчалъ въ Монако москвича, знаменитаго когда-то „красавца-мужчину“, женившагося на очень богатой купчихѣ, получившаго послѣ ея смерти милліоны.

Здоровье, красота и деньги, — у него было все для веселья.

А онъ ходилъ въ этомъ красивѣйшемъ уголкѣ земного шара, въ толпѣ разряженныхъ красивыхъ женщинъ, мимо блещущихъ роскошью и весельемъ ресторановъ — унылый и мрачный.

— Что съ вами?

— Вчера проигралъ еще двѣсти тысячъ!

— Послушайте! Да изо всѣхъ глупостей, это — самая глупая. У человѣка тысяча, а ему хочется имѣть милліонъ. Онъ играетъ, — это не умно, но понятно. У васъ есть уже милліоны! Зачѣмъ вамъ играть?

— Глупо.

— Зачѣмъ же вы играете?

— А я знаю? У меня на весь свѣтъ знаменитая красавица-испанка. Веселое интересное общество, съ которымъ я завтракаю, обѣдаю, ужинаю, катаюсь, кучу. Съ утра веселье и любви сколько угодно. Но вотъ подходитъ вечеръ, и меня начинаетъ мутить: „Иди! Иди!“ Меня охватываетъ тоска: „Иди! Иди!“ Меня захватываетъ одно желаніе: „Въ казино“. Тутъ всѣ доводы разсудка безсильны. Я боленъ, я не могу разсуждать. Я иду, я играю, я проигрываю. И такъ каждый вечеръ. Это какъ малярія, которая схватываетъ васъ къ вечеру, аккуратно каждый день треплетъ, треплетъ и проходитъ... до слѣдующаго дня.

— Уѣзжайте!

— Не могу. Я боленъ. Я отравленъ. Я не могу оторваться отъ казино!

„Малярія“ длилась года два.

На третій я встрѣтилъ „красавца-мужчину“ посѣдѣвшимъ. Онъ сидѣлъ на скамейкѣ на бульварѣ, съ лицомъ человѣка, рѣшающаго вопросъ, что лучше:

„Застрѣлиться или повѣситься?"

— Опять проиграли?

Онъ улыбнулся:

— Нечего!

— Все?

— Все!

— Да зачѣмъ?! Зачѣмъ?!

— А я знаю?

Тысячи проигравшихся съ изумленіемъ думаютъ потомъ: зачѣмъ они играли, зачѣмъ?

— Воздухъ, знать, такой!

Это болѣзнь, происходящая отъ зараженія микробами, которые носятся въ этомъ благовонномъ, отравленномъ воздухѣ.

Въ Ялтѣ я зналъ одну барыню, пожилую, но еще очень красивую. Умная, прекрасно образованная, остроумная, живая, веселая,—она была душою нашего маленькаго общества, которое отдыхало и веселилось. Къ вечеру она обыкновенно говорила:

— У меня начинается мигрень!

Или:

— Мнѣ нужно написать нѣсколько писемъ!

И уходила.

Мы улыбались:

— Къ своему татарину!

Однажды я засталъ ее въ слезахъ, съ исцарапаннымъ лицомъ. Она рыдала страшно, неутѣшно.

— Что съ вами?

— До такой низости, гадости, подлости я еще никогда не падала. Меня избилъ Ибрагимъ.

— Какъ избилъ? .

— Кулаками, нагайкой! Лошадь такъ не бьютъ, какъ онъ меня билъ. Я должна объ этомъ вамъ разсказать! Пусть мнѣ будетъ стыдно передъ постороннимъ человѣкомъ! Пусть этотъ стыдъ, этотъ срамъ, позоръ будетъ

мнѣ наказаніемъ за то, что я пала такъ низко, гнусно, подло. Онъ избилъ меня за портсигаръ. Онъ захотѣлъ имѣть золотой портсигаръ съ моей надписью. Я заказала и подарила. Но портсигаръ оказался меньше того, который ему когда-то подарила какая-то московская купчиха. Онъ бросилъ портсигаръ мнѣ въ физіономію,—видите исцарапалъ. Бросился на меня съ кулаками, потомъ снялъ со стѣны нагайку....

— И вы?

— Я только молила, чтобъ онъ меня не убивалъ. Я боялась, что онъ меня убьетъ. Онъ былъ такъ разсерженъ. Онъ не помнилъ себя. Послушайте! Возьмите съ меня честное слово, что я больше не пойду къ Ибрагиму.

— Да я-то при чемъ же?..

— Нѣтъ! Нѣтъ! Возьмите! Честнаго слова самой себѣ никогда не сдержишь! А предъ постороннимъ человѣкомъ мнѣ будетъ стыдно. Возьмите!

— Извольте. Дайте мнѣ честное слово, что никогда больше не пойдете къ Ибрагиму!

— Даю вамъ честное слово, что я никогда больше не пойду къ Ибрагиму! Все кончено. Благодарю васъ!

Она произнесла это торжественно, какъ клятву.

А черезъ два дня она встала изъ-за стола, не ожидая конца обѣда, и сказала:

— Простите, господа. У меня опять начинается мигрень!

А еще черезъ два дня она снова рыдала. Ибрагимъ снова избилъ ее нагайкой за то, что она приревновала его къ какой-то амазонкѣ.

— А ваше слово? Ваше слово?

— Что же я подѣлаю, если я не могу держать слова даже передъ самой собой?!.. Клянусь вамъ, нѣтъ утра, когда бы я не говорила себѣ, просыпаясь: „Все кончено! Съ сегодняшняго дня“... И даю себѣ самое честное слово. А къ концу обѣда я встаю и, проклиная себя,—клянусь

что ненавидя себя,—почти противъ своей воли говорю: „Извините, у меня мигрень“. И иду. Я больна. Я отравлена.

Вся Алупка знала двухъ очень почтенныхъ съ виду дамъ, мать и дочь, которыя поднимали такіе скандалы, что сбѣгались всѣ сосѣди.

— Ты интриганка! Ты отбиваешь у меня Ахмета!

— Не смѣй такъ смотрѣть на моего Османа!

И добро бы, все это были писаные красавцы.

Это было бы пошло, но понятно.

А то встрѣчаю этой осенью въ Ялтѣ маленькаго, невзрачнаго, рябого татарина, съ золотой номерной бляхой.

— Имѣетъ своихъ лошадей, работниковъ!—поясняетъ съ завистью другой проводникъ.

— Этотъ?

— Барыня одна провинціальная пріѣхала этой весной. Десять тысячъ подарила. Молодая и красивая, мужъ, говорятъ, по своимъ мѣстамъ очень важная птица.

И навѣрное, „въ своихъ мѣстахъ“, тамъ это—неприступная провинціальная львица, готовая обдать леденящимъ холодомъ за всякое неосторожное слово, за всякій нескромный взглядъ.

Что жъ превращаетъ, даже „разсудку вопреки“, во временно исправляющихъ должность Мессалинъ нашихъ скромныхъ столичныхъ и провинціальныхъ матронъ?

— Воздухъ здѣсь такой! — плакала бѣдная дама, которую билъ Ибрагимъ.

При нынѣшнихъ успѣхахъ знанія смѣло можно надѣяться, что скоро откроютъ ялтинскаго микроба, который вызываетъ эпидемическія заболѣванія среди нашихъ бѣдныхъ дамъ.

— Я не могу слышать топота скачущей лошади. Это бросаетъ меня въ дрожь. Я не могу видѣть парочки, которая ѣдетъ съ горы. На меня налетаетъ рой воспо-

минаній!—говорила бѣдная дама, которую билъ Ибрагимъ.

Миріады ялтинскихъ микробовъ срываются со скалъ, на которыхъ крупными черными буквами начертано въ лавровомъ вѣнкѣ:

— Ибрагимъ и Маша.

Миріады микробовъ вылетаютъ изъ-подъ копытъ быстрой иноходью идущихъ лошадей.

Вылетаютъ, кружатся въ хороводѣ, разлетаются и заражаютъ бѣдныхъ, бѣдныхъ, бѣдныхъ дамъ!

Повышаютъ температуру, туманятъ голову и застилаютъ зрѣніе...

Волга — чудная рѣка.

Но причудливыми зигзагами ея береговъ по зеркальной, лазоревой глади написана безконечная разбойничья исторія. То не горы чернѣютъ по правому берегу Волги. То огромная библіотека изъ томовъ разбойничьихъ исторій.

И лѣса кудрявые — только переплеты этихъ томовъ.

Вотъ огромный утесъ, — огромный томъ съ разбойничьимъ романомъ. Вотъ маленькій утесъ, — маленькая повѣстушка, но тоже разбойничья и весьма поучительная.

Жигули, Столбичи, это — уже многотомная исторія разбоевъ на Волгѣ.

Тутъ каждый утесъ кистенемъ машетъ, и каждый пригорокъ кричитъ:

— Сарынь на кичку!

Здѣсь творилъ судъ и расправу атаманъ Степанъ Тимоѳеевичъ.

Въ этомъ ущельѣ жило двѣнадцать сестеръ. Всѣ разбойницы.

Вонъ какъ! На Волгѣ даже дамы разбоемъ занимались. Гдѣ жъ тутъ съ мужчинъ строго спрашивать?

Выходили двѣнадцать сестеръ, останавливали всякій стружокъ, бороться вызывали и, поборовши, дань спра-

шивали. Пока не прiѣхалъ въ утлой лодчонкѣ калика перехожiй.

Посмотрѣли сестры на перехожаго калику:

— Что же, съ тобой, что ли, тоже бороться?

Невзрачный мужичонка шапку снялъ:

— Коли милости вашей угодно! Поборемся.

Взялись непобѣдимыя сестры, для смѣха, поодиночкѣ съ нимъ бороться. Положилъ калика перехожiй двѣнадцать непобѣдимыхъ сестеръ рядкомъ на песокъ.

Диву дались двѣнадцать сестеръ:

— Откуда, изъ какихъ такихъ странъ этакiй богатырь пожаловалъ?

Усмѣхнулся калика перехожiй.

— Ну, какой я богатырь! Сами видите! На своей сторонѣ самый лядащiй.

Ужаснулись сестры:

— Ну, ужъ ежели ты самый лядащiй! Что же какъ другiе изъ твоей стороны возьмутъ да придутъ?!

И со страха разбой кинули.

А то Богъ бы знаетъ, сколько бы еще разбойничали сестры, если бы къ нимъ такой товарищъ прокурора не пожаловалъ.

Здѣсь, по этимъ ярамъ гулялъ Кудеяръ-богатырь.

Кудеяръ-богатырь, который „сорокъ лѣтъ разбойничалъ, ни одной капли христiанской крови не пролилъ“. Все такъ, за горло душилъ.

Согласитесь, воспоминанiя, — даже при поѣздкѣ на казенномъ путейскомъ пароходѣ внизъ по Волгѣ, — не особенно поучительныя.

Среди старыхъ волгарей есть легенда, что не умеръ атаманъ Степанъ Тимоѳеевичъ. Что живетъ онъ въ неприступномъ бору, около Жигулей. Сѣдой какъ лунь, борода до земли, умереть никакъ не можетъ,—земля его не принимаетъ. Сторожитъ онъ завѣтные клады и жи-

ветъ схоронившись. А какъ время ему придетъ,—опять на святую Русь объявится.

— Живъ Стенька Разинъ, только не показывается А живъ.

Какъ всякая легенда, это—наивно.

Но что-то все-таки тутъ есть.

Стеньки Разина нѣтъ, но микробъ Стеньки Разина живъ.

И не въ видѣ старца древняго въ дремучемъ бору живетъ Стенька, а въ видѣ микроба рѣетъ и вьется на Волгѣ.

Кудеяръ, сестры-разбойницы померли. Кости ихъ истлѣли. А отъ праха ихъ зародились микробы и заражаютъ людей.

Что это такъ,—мы видимъ на гг. инженерахъ.

Вотъ и сейчасъ въ Нижнемъ-Новгородѣ московская судебная палата дѣлаетъ операцію двумъ такимъ заболѣвшимъ.

Содержаніе обвинительнаго акта, въ двухъ словахъ, въ слѣдующемъ.

Атаманъ Александровъ собралъ вокругъ себя удалыхъ добрыхъ молодцевъ: подрядчиковъ, канцелярскую путейскую вольницу, и каждый проплывавшей мимо казенной тысячѣ они кричали:

— Сарынь на кичку!

А есауломъ у него былъ свѣтъ инженеръ Шнакенбургъ младъ.

Чѣмъ не волжская исторія?

Жаль, что всѣ дамбы атамана Александрова всегда размывало водой, а то мы имѣли бы по Волгѣ столько же „Александровскихъ“ дамбъ, сколько Разинскихъ утесовъ.

Какъ же это, однако, могло случиться?

Г. Александровъ — человѣкъ съ высшимъ образованіемъ. Будучи въ институтѣ инженеровъ путей сообщенія, онъ, вѣроятно, и самъ безъ волненія говорить не

могъ и другихъ безъ волненія слышать не въ состояніи былъ, когда рѣчь заходила объ общественной пользѣ, общественномъ служеніи.

— Деньги казенныя—деньги народныя.

А деньги народныя, это — святыня!

Вѣроятно, его возмущало, искренно, до глубины души возмущало всякое извѣстіе о малѣйшемъ хищеніи народнаго достоянія.

Да и г. Шнакенбургъ.

Воспитанника института инженеровъ путей сообщенія, вѣроятно, волновало и возмущало каждое извѣстіе о всякомъ корыстномъ и безконтрольномъ пользованіи народнымъ достояніемъ.

— Народныя деньги—святыя деньги.

Тутъ нужна осторожность въ распоряженіи каждою копейкой. Все должно быть какъ за стекломъ, — видно и ясно.

Какое поистинѣ волшебное превращеніе!

Люди когда-то пылали, люди горѣли, а вотъ пришли на Волгу и...

Есть что-то въ этой рѣкѣ, — есть что-то для всякаго инженера, который къ ней подходитъ.

„Въ старину живали дѣды!“ поютъ ему утесы и горы.

— Смѣлѣе, смѣлѣе!—шепчутъ вѣковые лѣса.

Волны плещутся о камни, и въ плескѣ ихъ слышится русаличій смѣхъ двѣнадцати сестеръ:

— Эхъ ты, простофиля!

А красавица-рѣка, пышно раскинувшись, разметавшись въ лазоревомъ ложѣ своемъ, говоритъ:

— Возьми!

Ну, инженеръ слабъ — и „заболѣваетъ“.

Это микробъ.

Это какой-то особый микробъ, потому что не теперь только, — всегда Волга дѣйствовала на инженера такъ. Всегда инженеръ „заболѣвалъ“.

Съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ появились на Волгѣ инженеры.

Около Камышина вамъ показываютъ „инженерскій утесъ“.

Славѣ утеса 200 ужъ лѣтъ. Дѣло было еще при Петрѣ.

Петръ Великій выписалъ на Волгу инженера. Вѣроятно, нѣмца. Вѣроятно, выбралъ хорошаго, — Петръ умѣлъ выбирать людей.

Но стоило хорошему нѣмцу, будучи инженеромъ, пріѣхать на Волгу,—какъ онъ „заболѣлъ“.

И, выражаясь громко, „направилъ Волгу въ свой карманъ“.

Слухи о хищеніяхъ инженера на Волгѣ дошли до столицы, и инженера потребовали въ столицу „на судъ“.

Въ то время негдѣ было взять трехъ адвокатовъ, а потому инженеръ взялъ тройку степныхъ коней.

Сѣлъ одинъ въ тарантасъ, разогналъ коней и вмѣстѣ съ тройкой бухнулся въ Волгу съ крутого утеса.

Такова исторія перваго хищенія перваго инженера на Волгѣ.

Это было при Петрѣ.

Вонъ когда еще на Волгѣ первый Шнакенбургъ завелся!

Вонъ съ какихъ поръ измѣнилось теченіе Волги, и великая русская рѣка течетъ въ инженерскіе карманы! И 200 лѣтъ этого ея новаго русла исправить не могутъ.

Что же дѣлать?

Одинъ волжскій пароходчикъ серьезно совѣтовалъ:

— Мѣнять казенныя деньги на пятаки — и валить ихъ въ Волгу.

— Какъ такъ?

— А по ариѳметикѣ. Если бы всѣ деньги, которыя истрачены на Волгу, размѣнять на пятачки, — особенно если на старинные, большіе — этими пятачками можно бы устелить все русло Волги отъ Твери до Астрахани. И

текла бы Волга по мѣдному руслу, никакихъ перекатовъ незнаючи.

Другіе рекомендуютъ:

— Отдавать волжскихъ инженеровъ подъ судъ не „послѣ“, а „до“.

— То-есть какъ это?

— А такъ! Когда еще ничего не сдѣлалъ. Вмѣстѣ съ назначеніемъ на Волгу отдавать инженера одновременно подъ судъ и слѣдствіе. Пусть ведетъ все дѣло подъ наблюденіемъ товарища прокурора и присмотромъ судебнаго слѣдователя. Инженеръ дамбу строитъ, а слѣдователь слѣдствіе производитъ: а не производится ли сія постройка изъ матеріала, годнаго для обвинительнаго акта? Способъ единственный.

— Мы возлагаемъ надежду на науку. Если 200 лѣтъ, инженеры страдаютъ на Волгѣ одною и тою же болѣзнью наука въ концѣ концовъ откроетъ микробъ этой болѣзни.

И тогда дѣло очень просто.

Отправляя инженера на Волгу, ему будутъ дѣлать предохранительную „противоразинскую“ прививку.

И тогда пускай микробъ Стеньки Разина сколько угодно вьется надъ его головой.

Пусть шепчутъ утесы:

— Дерзай!

Пусть шумятъ лѣса:

— Чего жъ ты зѣваешь?

Пусть соблазняетъ рѣка:

— Возьми!

Вся эта дурная компанія разбойничьихъ утесовъ, разбойничьихъ лѣсовъ, разбойничьей рѣки не страшна будетъ „привитому“ инженеру.

А до тѣхъ поръ... 200 лѣтъ съ самаго перваго инженера длится это... Такъ „ужли же Волга-матушка да вверхъ потечетъ“.

Оскудѣніе центра.

(Сцена въ 1 дѣйствіи.)

Дѣйствующія лица.

Центръ— больной.
Петербургъ—нервный.
Докторъ Вересаевскаго толка.
Докторъ Вельяминовскаго толка.

Обстановка бѣдная.

Центръ лежитъ и охаетъ.

Центръ. Ой, батюшки! Животы подвело! Ой, родимые!..

Петербургъ (*входитъ, не снимая шубы, смотритъ на больного издали*).—Это вы такіе непріятные звуки издаете?

Центръ. Ой, милые...

Петербургъ. Перестаньте! Только нервы разстраиваете! Кричите такъ, что сосѣдямъ слышно! Ужасно у насъ непріятно! Какъ что случилось, сейчасъ ахать и охать! Это отъ невоспитанности!

Центръ. Оскудѣлъ я ужъ больно...

Петербургъ. Оскудѣли, а кричите! Это вредно! Только себя переутомляете! Оскудѣли—и не теряйте силъ: молчите.

Центръ. Да вѣдь запищишь, ежели...

Петербургъ. Ахъ, оставьте пожалуйста! Просто дурная привычка! Всѣ нынче пищатъ! Просто мода такая Ужасно пренепріятно! Хоть бы гдѣ-нибудь румяное этакое, сдобное, пышное встрѣтить. (*Мало-по-малу оживляется.*) Окраиночка этакая, знаете! Пышка разсыпчатая! Такъ отъ нея это здоровьемъ, здоровьемъ дышитъ! Ущипнуть хочется! Ну, прямо съ ней поиграть хочется! Прелесть! Думаешь съ ней этакъ пошутить. „Веселое созданье ты, живое". За подбородочекъ взять, „козу рогатую" двумя пальцами ей сдѣлать! (*Упавшимъ голосомъ.*) А она: „Ахъ, оставьте! Мнѣ не до того, я оскудѣла!" Всѣ оскудѣли! Всѣ ноютъ, плачутъ, киснутъ, прямо противно! Нервы только разстраиваютъ!

Центръ. Докторъ, батюшка, пропишите что...

Петербургъ. Ахъ, оставьте меня! Какой я докторъ? Я самъ нервный! Вы мнѣ своимъ нытьемъ всѣ нервы разстроили! Оставьте, оставьте меня! Даже невралгія отъ вашего нытья дѣлается. Ой, батюшки, дернуло! Придется пойти домой и въ постель лечь! Вѣчно разстроятъ! И сами вы кислый, и слова у васъ кислыя, и духъ отъ васъ какой-то кислый! Фу! Фи!

Центръ. Оскудѣмши, значитъ...

Петербургъ. Главное, не охайте, — сохраняйте свои силы! До свиданія! Совсѣмъ разстроился. (*Уходитъ.*)

Центръ. На кислоту осерчалъ! (*Подумавъ.*) Оно кисловато! Двистительно!

Докторъ-вересаевецъ. (*Входя. Лицо нервное.* Гдѣ больной? Здѣсь больной? Вы больной?

Центръ. Оскудѣмши, значитъ...

Вересаевецъ (*глядя на него, ерошитъ на себѣ волосы*). „Оскудѣмши!" Великое слово! „Оскудѣмши!" Хотя теперь, глядя на чужія страданія, займемся самоанализомъ! (*Горячо.*) Это не вы оскудѣли, это мы оскудѣли! Мы! Мы! Мы! А? Глядя на такія страданія, чѣмъ

мы можемъ помочь? Чѣмъ? Мы — несчастные, мы — оскудѣвшіе духомъ! (*Плачетъ.*)

Центръ. Докторъ! Да вы не плачьте!

Вересаевецъ. Нѣтъ, буду плакать! Волосы на себѣ рвать буду! Голову при васъ объ печку разобью! Да! Смотрите, истощенный, слабый, оскудѣвшій организмъ! А могъ бы быть сильнымъ, здоровымъ, могучимъ. А отчего онъ такимъ сталъ? Отчего? Какъ мы довели до этого? Сами не знаемъ! Хватайтесь теперь за голову! (*Хватается за голову.*) Отчего? Рвите на себѣ волосы! (*Вырываетъ у себя клокъ волосъ.*) Вотъ! (*Вырываетъ еще клокъ волосъ.*) Вотъ!.. Вотъ!.. Вотъ!..

Центръ. Докторъ, да не убивайтесь такъ! Можетъ, я еще какъ-нибудь...

Вересаевецъ. Нѣтъ! буду убиваться! Буду! Какъ это случилось? Какъ проглядѣли? Какова исторія болѣзни? Мы даже исторіи не знаемъ! Что мы знаемъ по исторіи? „Въ 862-мъ году призвали варяговъ". Только и всего. Въ гимназіяхъ живемъ подсказываніемъ! Не учимся! Что я дѣлалъ въ гимназіи? За горничными бѣгалъ! Сочиненія списывалъ! Уроковъ не училъ! За что мнѣ пятерки ставили? За что? (*Рыдаетъ и бьется головой объ стѣну.*)

Центръ. Докторъ! Баринъ! Стѣнка!

Вересаевецъ (*вскакивая*). Побѣгу да головой въ прорубь! Отъ самоанализа! (*Убѣгаетъ.*)

Центръ. И шапку забылъ. Баринъ болѣзный, сказать нечего, и оченно нашу болѣзнь къ сердцу принимаетъ. Да только... Ой, подвело! Ой, голубчики, подвело!

Докторъ-вельяминовецъ (*входя*). Здравствуйте, больной! Охаете? Охайте, батенька! Больному это полагается! Больной, значитъ, такъ сказать, въ полной парадной формѣ! Охайте! Ну-съ! На что жалуетесь?

Центръ. Ой, оскудѣніе, батюшка...

Вельяминовецъ. Оскудѣніе? Это хорошо. Оскудѣніе. Какъ питаніе?

Центръ. Ой, родимые, никакого питанія...

Вельяминовецъ. Никакого питанія? Очень хорошо-съ! Функціи какъ?

Центръ. Никакихъ функціевъ!

Вельяминовецъ. И функцій нѣтъ? Такъ и слѣдовало ожидать! Силы?

Центръ. Какія же мои теперь силы!

Вельяминовецъ. Все какъ по-писаному! Болѣзнь по всей формѣ. Недостатковъ никакихъ! Все налицо!

Центръ. Дѣлать-то что?

Вельяминовецъ. Дѣлать? А въ такихъ случаяхъ медицина наша предписываетъ припарочки. Припарочки-съ! Да-съ! Изъ газетной бумаги припарочки тепленькія-съ!

Центръ. Да прикладывали...

Вельяминовецъ. И продолжайте-съ! И продолжайте на доброе здоровье-съ! Возьмите газетныхъ статеекъ! Припарочку-съ!

Центръ. Другихъ средствій-то нѣту?

Вельяминовецъ (*разводя руками*). Другихъ средствъ наша медицина пока не знаетъ. Единственное! Какъ только, знаете, какой-нибудь этакій нарывчикъ общественный, — сейчасъ припарочка изъ газетной бумажки. Оно мягчитъ. Размягчитъ и успокоитъ. А потомъ само собой пройдетъ. Такъ вотъ вамъ средство: теплыя припарочки изъ газетной бумаги. А затѣмъ будьте здоровы, счастливы. (*Уходитъ.*)

Центръ. Опять однѣ припарки?.. Акулина! Акулина! Клади, что ль, хоть припарки!



У Макарья.

(Трагедія въ 1 дѣйствіи.)

Дѣйствующія лица:

Торговецъ—малый разбитной, волосы въ скобку, руки всегда разставлены на 15 вершковъ другъ отъ друга, какъ будто аршинъ отмѣриваетъ.

Россійскій покупатель—собою худъ, одежиной рванъ, голосомъ тихъ, въ движеніяхъ связанъ. Говоритъ, словно все время въ чемъ-то извиняется. Чешется.

Лавка въ три раствора.

Торговецъ (*стоя у притолоки*). Иголки, нитки, кружева, булавки, прошивки, разные дамскіе товары... Господинъ, пожалуйте! Пожалте, господинъ! У насъ покупали.

Покупатель (*сконфуженно улыбаясь, чешетъ затылокъ*). Двиствительно... Случалось... Покупывалъ... Допрежде...

Торговецъ (*становясь бокомъ, снимая картузъ, отставляя руку*). Взойдите, господинъ! Балыки, желѣзный товаръ, скобяной товаръ, рогожка лучшая, ситцы. Милости просимъ!

Покупатель. Не по дяламъ... милый!.. Покупать-то, то-есть, не по дяламъ, молъ!

Торговецъ (*картузъ на отлетѣ*). Извольте посмотрѣть! Сукна есть хорошія, мыло, вино разныхъ вкусовъ

льняные товары, книжный товаръ. Зайдите въ лавочку! Что пондравится!

Покупатель (*мнется*). Извѣстно, ндравится... Не тае только... Безъ надобности, стало!

Торговецъ. Кажный человѣкъ завсегда надобности имѣетъ.

Покупатель. Оно двиствительно... (*Нерѣшительно входитъ.*)

Торговецъ (*становясь за прилавокъ, разставляетъ руки на 15 вершковъ и облокачивается*). Изъ пушного товара что не прикажете ли? Соболя есть великолѣпные, куница первый сортъ. Лисицу чернобурую не обожаете ли? Бобрами служить могу. Скунсъ, енотъ лучшій!

Покупатель (*улыбаясь довольно глупо*). Каки тамъ соболя! (*Машетъ рукой.*) Ты, милый, соболя-то за границу отправляй! Потому оно для расчетнаго балансу хорошо. „Во, молъ, какъ у насъ отпускная торговля развивается! Вывозъ-то какой! Процвѣтаніе страны!“ За границу, молъ, соболя. А сами-то мы въ кошачьихъ мѣхахъ проходимъ. Заячья лапка у тебя есть?

Торговецъ. И кошка нынче, извините, кусается. И заячья лапка за границу пошла.

Покупатель (*почесывая спину*). А ежели кошка кусается,—стало, не для насъ... Денегъ, милый, на кошку-то нѣтъ!.. И заячья лапка, ежели за границу пошла,—пущай идетъ! Пущай и заячья лапа расчетный балансъ поправляетъ!.. (*Глядитъ по полкамъ.*) Песьихъ мѣховъ какихъ у тебя на шубу нѣтъ?

Торговецъ. Какъ-съ изволите говорить?

Покупатель (*сконфуженно*). Дворняги, молъ, на воротникъ не подберешь? Попушистѣе!

Торговецъ (*съ извиняющейся улыбкой*). Собачьяго товару сейчасъ нѣту-съ! Не дѣлаемъ-съ! Но такъ надѣемся, что на слѣдующую ярмарку собачьихъ мѣховъ для внутренняго употребленія привеземъ! По требованью

почтенныхъ покупателей, всегда удовлетворяя насущнымъ потребностямъ страны.

Покупатель. Ладно! (*Чешетъ затылокъ.*) Безъ шубы зиму прохожу. Одна-то зима-то не въ счетъ, чай!

Торговецъ (*нагибаясь и конфиденціально*). Изъ исподняго чего не прикажете ли? Льняные хорошіе препараты есть.

Покупатель (*машетъ обѣими руками и добродушно смѣется*). Какое, братецъ ты мой, намъ еще исподнее носить?! Моды такой нѣтъ! Намъ, братецъ, на голо бы тѣло что надѣть! Вотъ ужъ ты льняной-то товаръ за границу сыпь! Оно опять для расчетнаго балансу хорошо. Потому процвѣтанье! За границей оно, двиствительно, такая мода есть, чтобы исподнее. А по нашимъ то мѣстамъ не слыхать чтобы!

Торговецъ (*швыряя на прилавокъ куски ситцу*). Изъ мануфактуры чего предложить не позволите ли? Ситцы есть веселенькаго рисунка.

Покупатель. Не къ лицу, молъ, намъ веселенькаго-то! Ты въ заграницу, въ заграницу, милый, трафь! Для расчетнаго балансу! Мы-то и такъ потрафили, — а чтобы расчетный баланецъ выходилъ!

Торговецъ (*недовольно*). Дозвольте! Какіе пустяки болтать изволите? Даже непонятно! Оно, конечно, хорошо, что вы патріотъ своего отечества и объ расчетномъ балансѣ заботитесь!

Покупатель. Животъ, молъ, за расчетный балансъ положилъ! Потому гордость! (*Чешетъ животъ.*)

Торговецъ. А только русская мануфактура въ западную Европу не идетъ!

Покупатель. А ты ее, милый, въ Персію сбудь! Въ Персію! Персъ, братъ, все сноситъ! Аль-бо въ Бухару въ какую ни на есть! А намъ ни къ чему! Прошлый годъ, стало-быть, закупилися! Рубаху, стало-быть, себѣ сшили! Прошлый годъ-то!

Торговецъ (*недовольно*). По новѣйшимъ требованіямъ современной науки полагается каждый годъ рубаху шить. Потому отъ этого въ рубахѣ гигіена заводится!

Покупатель (*чешетъ шею*). Оно, извѣстно... Желательно бы... Желательно, молъ... А только въ прошломъ году закупились... Рубаху сшили! Потратились, молъ. Ни къ чему намъ! Въ заплаточкѣ походимъ! А ты ее въ Персію, въ Персію.

Торговецъ (*строго*). Изъ книжнаго товара, что не потребуется ли? Календари самые вѣрные!

Покупатель (*простодушно*). Не курящіе мы. Не требуется.

Торговецъ. Дозвольте! Нешто календарь для этого?

Покупатель. Сосѣдъ у насъ есть. Такъ тотъ, двиствительно, что займается! Куритъ! Двиствительно, что календари покупаетъ! (*Съ хвастовствомъ.*) Не токма, что календари,—газету на собачьи ножки выписываетъ! А мы не пріучены, молъ. Не балуемся!

Торговецъ (*насупясь*). Читать можно книгу!

Покупатель (*улыбаясь*). Скажешь!

Торговецъ. Во многихъ странахъ теперь книги читаютъ!

Покупатель. Такъ ты ее за границу-то! За границу! Для балансу!

Торговецъ (*звѣремъ*). Не читаютъ за границей порусски! Не умѣютъ!

Покупатель (*самодовольно*). А еще хвастаются: грамотные!

Торговецъ (*мрачно*). Изъ предметовъ первой необходимости чего не прикажете ли? Желѣзный товаръ. Въ кажномъ домѣ надобность. Гвоздь, борона желѣзна, для ведра дужка, кровельные сорта!

Покупатель (*чешетъ подъ мышками*). Милый! Не по дяламъ, молъ, желѣзомъ-то крыть.

Торговецъ (*даже блѣднѣя отъ злости*). Дужка, напримѣръ, для ведра желѣзная!

Покупатель. Господскій товаръ предлагаешь! Что наша баба за аристократка, чтобъ желѣзныя ведра носить? Аристократкамъ продавай!

Торговецъ (*съ тихимъ бѣшенствомъ*). Гвоздь!

Покупатель (*машетъ рукой*). И-и! Деревянный-то оно сподручнѣе. Сгнилъ — перемѣнилъ. Оно и все! И никому не завидно! А желѣзный-то гвоздь заведешь,— всякому лестно! Зарѣжутъ еще. „Богатъ, молъ, сталъ, желѣзными гвоздями себя тѣшитъ"! Заграничный товаръ предлагаешь! Намъ попроще чего! За границу, молъ, его, за границу!

Торговецъ (*сквозь зубы*). Не покупаютъ!

Покупатель (*добродушно*). Такъ ты въ амбаръ. Желѣзо, чай, не сгніетъ. Подождешь! А тамъ желѣзную дорогу строить будутъ,—и сойдетъ!

Торговецъ. Чего же вамъ-съ? Человѣкъ вы, какъ я по всѣмъ вашимъ примѣтамъ вижу, праведный! Постами-то что ѣсть будете? Изъ рыбныхъ что товаровъ не облюбуете ли? Стерлядей не прикажете ли? Стерлядь есть мѣрная, въ аршинъ и болѣе. Севрюжка хороша. Лещъ съ подлещиковъ. Судакъ малосоленъ хорошъ. Бѣлуга. Икра паюсная, конторская. Икра свѣжая. Дробь, а не икра! Съ такой икрой на охоту ходить! Изъ ружья стрѣлять! Желаете отпробовать?

Покупатель (*ласково улыбаясь*). Слюной даже прошибло. Не расписывай! За границу, братъ, отправляй. Пущай разумѣютъ языцы, кака-така наша рыбина. Какой въ ей скусъ. За границей-то все подъѣдятъ! А намъ для расчетнаго баланцу хорошо!

Торговецъ. Наладили! (*Глаза отъ злости налились кровью.*) Что жъ, такъ ничего и не купите? Нанюхали только? Въ лавкѣ наслѣдили!

Покупатель. Зачѣмъ не купить? Купимъ! (*Чешетъ вездѣ, гдѣ, по его мнѣнію, нужно.*) Нѣтъ ли у тебя, братецъ, воблы сушеной? Дай-ка рыбину. О постахъ буду ѣсть. Да ты мнѣ ее мочалочкой завяжи. Все подпояшусь!

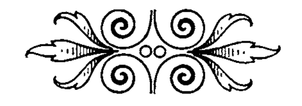
Торговецъ (*швыряя на прилавокъ воблу*). Больше ничего не требуется?

Покупатель. Не по дяламъ. (*Достаетъ изъ-за онучи двѣ копейки.*)

Торговецъ (*сплевывая*). Покупатель!

Покупатель (*робко и извиняясь*). Прощенья просимъ... Допрежде-то, молъ... случалось... покупывали... Допрежде-то. А теперь не тае... (*Бочкомъ выходитъ изъ лавки.*)

Занавѣсъ.



Расчетный балансъ.

Это было въ доброе не старое время.

Человѣкъ, собираясь прокатиться по Волгѣ, думалъ въ глубинѣ живота своего:

— Поѣдимъ!

Въ Васильсурскѣ подъ корму подходила косовая лодка—и начинался торгъ, другими словами, ругань.

— Самъ жри!—оралъ пароходный поваръ въ не совсѣмъ чтобы бѣломъ колпакѣ.—Что ты мнѣ маломѣрокъ-то суешь, чортъ, дьяволъ, лѣшманъ?

— Иванъ Ѳедосеевичъ!—мягко и съ укоризной отвѣчалъ, стоя на носу, рыбакъ въ красной рубахѣ, которая надувалась и хлестала на вѣтру, какъ парусъ.— Иванъ Ѳедосеевичъ! Напрасно рыбу обижать изволите! Никогда рыба маломѣркомъ не была. Двѣнадцать вершковъ безъ четверти стерлядь, а вы въ нее такимъ словомъ! Грѣшно вамъ, Иванъ Ѳедосеевичъ!

— Двянадцать вяршковъ! Двянадцать вяршковъ!— дразнился поваръ.—Сказано меньше аршина къ пароходу не подходи! Станетъ первый классъ двѣнадцати вершковую стерлядь ѣсть!

— Господи!—сокрушенно вздыхалъ рыбакъ.—Да что они съ аршиномъ, что ли, ѣдятъ?!

— Народъ торговый!—резонно отвѣчалъ поваръ.— Глазъ наметанный! Его въ полвершкѣ не обмишулишь!

— И-и, Господи!—снова вздыхалъ рыбакъ и сачкомъ доставалъ со дна лодки изъ садка на этотъ разъ ужъ аршинную стерлядь.

А у пассажира при этихъ разговорахъ разыгрывалась „фантазія въ желудкѣ“.

— Покажи стерлядей!

Официантъ приносилъ въ рѣшетѣ свернувшуюся толстымъ черным кольцомъ стерлядь и спрашивалъ съ готовностью палача, какъ будто она въ чемъ была виновата:

— Какъ съ ей поступить прикажете?

Стерлядь взбрыкивала, извиваясь, летѣла вверхъ и вновь падала въ рѣшето, на этотъ разъ на спину.

Она тяжко и медленно дышала, и при каждомъ дыханіи ходуномъ ходилъ ея словно глазетовый бѣлый съ золотомъ жирный животъ.

— Чисто овчинниковской работы! — вздыхалъ официантъ.

Пароходъ шелъ внизъ по рѣкѣ.

Мимо плыли горы, безконечные луга, дремучіе лѣса, урочища, полныя легендъ, раскинувшіяся на версты села съ десятками мельницъ, а въ пароходной кухнѣ, словно въ застѣнкѣ, жарились, варились, бѣлымъ ключомъ кипѣли, шипѣли и ворчали въ маслѣ аршины и аршины стерлядей.

Поваръ самъ приходилъ въ столовую „брать заказы“.

— Свари-ка мнѣ, братецъ, пожалуй, ухи!—задумчиво и меланхолически говорилъ объѣвшійся пассажиръ.

— Завтрашняго дня перваго Спаса! — пробуждалъ поваръ благочестивыя воспоминанія.—По этому случаю кулебячки не разрѣшите ли?

— Сдѣлай и кулебячки! Со стерлядочкой!

— Съ чѣмъ же еще?!—пожималъ плечами поваръ.

Кулебяка шла къ столу раскраснѣвшаяся, словно ей стыдно было, что она такъ жирна.

А нижняя, пропитанная жиромъ, корочка шипѣла.

Словно сердилась:

— Этакую жирную особу безпокоятъ, носятъ!

— Не кулебяка, а змѣя!—говорилъ офиціантъ, ставя на столъ шипящую красавицу.

Какъ перлы, разсыпалась по тарелкѣ визига, сѣрѣло въ ней стерляжье мясо, и все это было пропитано золотистымъ растаявшимъ жиромъ.

Когда же поднимали крышку съ миски, тамъ оказывалась не уха, а горячее, расплавленное золото.

Ухи не съѣдалось всей.

— Остуди!—говорилъ пассажиръ.— Ужотка царскій студень будетъ. Поѣмъ на ночь.

Поваръ конфиденціально склонялся къ уху:

— Рака допустить дозволите?

— Допусти!—радостно разрѣшалъ пассажиръ.

Рака допускали къ стерляди, а онъ въ благодарность окрашивалъ застывшую въ студень уху въ нѣжно-красноватый цвѣтъ.

А тамъ шли: солянка изъ стерлядей жидкая, солянка изъ стерлядей московская на сковородкѣ, стерлядка паровая, блюдо изъ блюдъ—стерлядь по-американски.

И пассажиръ сходилъ, спустя четыре дня, въ Царицынѣ, чтобъ цѣлый годъ не притрогиваться къ стерлядямъ!

Теперь не то.

Къ повару надо спускаться внизъ на кухню.

Поваръ не кажетъ глазъ наверхъ. Словно стыдно ему. Словно дѣлаетъ онъ въ кухнѣ какое-то нехорошее дѣло.

— Нѣтъ ли стерлядокъ хорошихъ?—спрашиваетъ пассажиръ на волжскомъ пароходѣ.

— Стерлядями хвалиться не буду! Порціонная стерлядь нынче пошла!

— Что жъ стерлядей, что ли, нѣтъ?

— Стерлядь есть, пассажира нѣтъ! — угрюмо отвѣчаетъ бѣлый меланхоликъ. — Кончили стерлядей ѣсть! „Не по дѣламъ“, говорятъ. Порціонную за 55 копеекъ спрашиваютъ. Порціонныя есть. Хорошими служить не могу!

— На пристани взять надо!

Поваръ только безнадежно машетъ рукой:

— Къ намъ, къ пароходу, хорошій рыбникъ и не подъѣзжаетъ! Мелкоту беремъ! Хорошаго товара не ѣдятъ!

— Да что же, дорога, что ли, стерлядь?

Поваръ презрительно усмѣхается:

— Какое тамъ дорога? За три цѣлковыхъ такую подамъ,—въ Москвѣ двадцать пять заплатить надо. А только и три рубля нонѣ всякому тяжко. „Не по дѣламъ— быть,—милый“!

Зато всѣ первоклассные парижскіе рестораторы объявили, что съ этой зимы они будутъ угощать почтенную интернаціональную публику:

— Знаменитыми русскими стерлядями и знаменитыми русскими судаками!

Въ Café de Paris повалитъ паръ отъ янтарной ухи, въ Armenonville'ѣ понесутъ на блюдахъ аршинныхъ стерлядей, облитыхъ краснымъ томатовымъ соусомъ.

Строятся, говорятъ, спеціальные вагоны бассейны, чтобъ возить нашихъ стерлядей въ Парижъ живыми.

И газеты будутъ радоваться и ликовать и славословить:

— Новый предметъ отпускной торговли! Расчетный балансъ будетъ еще лучше!

Странная это радость!

Это все равно, что человѣкъ сегодня продалъ бы съ себя на толкучкѣ сюртукъ, завтра жилетъ, послѣзавтра самыя панталоны,—да еще радовался бы:

— Ахъ, какую я оживленную торговлю веду!

Печалиться, казалось бы, скорѣе слѣдовало, что намъ даже трехрублевая стерлядь самимъ не по карману!

— Ну,—говоритъ опечальный пассажиръ,— дай хоть икры свѣжей, что ли!

Поваръ снова мнется:

— Икрой тоже похвалиться не могу! Настоящей икры нѣту. Платимъ дорого—два, два съ полтиной фунтъ—сами. Но настоящей икры нѣту. Настоящую икру нѣмецъ съ французомъ да англичанинъ ѣдятъ! Вся икра изъ Астрахани на Вѣну идетъ!

Зато въ Парижѣ нѣтъ теперь ресторана, гдѣ бы не было отличной свѣжей „русской икры", и нѣтъ маломальски сноснаго парижанина, который не лакомился бы ею передъ завтракомъ.

Тоже въ расчетномъ балансѣ статья!

Да что стерляди, что икра! Предметъ все-таки хоть и не большой, но роскоши.

— Яицъ всмятку дайте!—тоскливо приказываетъ пассажиръ.

Яйца тухлыя.

— Теперь, извините-съ,—говоритъ официантъ,—отъ Ярославля до Астрахани нигдѣ хорошихъ яицъ не найдете! Яйца идутъ за границу. Прасолы весь хорошій товаръ для заграничныхъ покупателей скупаютъ. А на мѣстѣ остается бракъ.

— Что ты, братецъ, врешь? Какъ такъ, кромѣ тухлыхъ, яицъ нѣтъ?

Вы на пристани подходите къ бабѣ:

— Хорошій товаръ?

— Гдѣ ужъ хорошу-то быть? — простодушно отвѣчаетъ баба.—Хорошо-то яичко нынче нѣмецъ ѣстъ. Къ нему возятъ. Такъ товаромъ, который залежался, торгуемъ!

И ѣстъ вся Волга „бракъ всмятку".

Если вы будете въ Парижѣ, рекомендуется вамъ зайти въ „Русскую торговую палату".

Она помѣщается на rue de la Paix, гдѣ всѣ шикарныя портнихи, гдѣ шныряютъ всѣ самыя шикарныя кокотки.

Это пріятно.

Въ палатѣ засѣдаетъ премилый народъ, который можетъ разсказать вамъ всѣ парижскія новости: кто вчера ужиналъ у Максима, съ кѣмъ такая-то живетъ и почему такой-то такую-то бросилъ.

„Русская торговая палата" получаетъ казенную субсидію и выпускаетъ отчеты о „дѣятельности":

„Такой-то членъ палаты получилъ почетнаго легіона. Тому-то данъ съ бантомъ, а тому на шею".

Въ торговомъ отдѣлѣ отчета изъ года въ годъ восхваляется все одна и та же заслуга палаты передъ отечествомъ:

„Палата занялась яичнымъ вопросомъ. Благодаря дѣятельности палаты, развился отпускъ яицъ изъ Россіи".

И палата съ гордостью добавляетъ въ концѣ статьи:

„Новый предметъ экспорта отлично отразился на итогахъ нашего расчетнаго баланса".

Каждый годъ, когда публикуются цифры расчетнаго баланса, этотъ день бываетъ днемъ радости и ликованія:

— Цифра вывоза — показатель процвѣтанія страны. Мы все вывозимъ и вывозимъ!

Забывается при этомъ, что вывозится не избытокъ, а послѣднее. Мы молимся этому божеству, которое называется „расчетнымъ балансомъ".

Какихъ-какихъ жертвъ мы не приносимъ! Питаемся тухлыми яйцами, чтобъ свѣжія продать за границу, отказываемся отъ лакомаго куска, чтобъ полакомились иностранцы, ѣдимъ хлѣбъ съ мякиной, чтобъ хорошій хлѣбъ весь продать.

Приносимъ жертвы и еще радуемся.

Что ужъ совсѣмъ забавно!

Мнѣ кажется, что день, когда опубликовываются цифры расчетнаго баланса, справедливѣе долженъ былъ бы быть днемъ всеобщей печали.

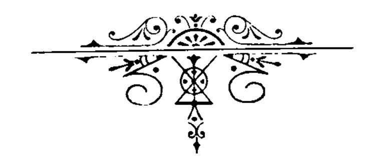
Плакать въ такой день приличнѣе, чѣмъ предаваться веселью.

И чѣмъ громче, чѣмъ крупнѣе цифра нашего вывоза, тѣмъ глубже, сильнѣе и искреннѣе должна быть общая печаль.

Это будетъ логичнѣе.

Вѣдь это значитъ:

— Другіе будутъ ѣсть, а не мы!



Послѣ Нижняго.

(Трагедія.)

Дѣйствующія лица:

Аркадій Счастливцевъ, актеръ и пѣшій путешественникъ.

Титъ Титычъ Брусковъ, московскій 1-й гильдіи купецъ, мануфактуръ-совѣтникъ и тоже пѣшій путешественникъ.

Погорѣлая баба.

Дѣйствіе происходитъ по совершенномъ окончаніи ярмарки въ первыхъ числахъ сентября.

Сцена представляетъ полотно Нижегородской желѣзной дороги. Съ одной стороны выгорѣвшій въ прошломъ году лѣсъ, съ другой—выгорѣвшая въ этомъ году деревня. Посрединѣ дорога, называемая „Владимиркой". Вообще пейзажъ неутѣшительный. Аркадій Счастливцевъ и Титъ Титычъ Брусковъ, съ котомочками за плечами, идутъ по шпаламъ другъ другу навстрѣчу, сталкиваются и чуть не стукаются лбами.

Брусковъ. Аркашка?!

Аркадій (*радостно*). Какъ есть весь тутъ, Титъ Титычъ!

Брусковъ. Откуда и куда?

Аркадій. Изъ Москвы въ Нижній. На сезонъ. А вы-съ?

Брусковъ (*со вздохомъ*). А я изъ Нижняго въ Москву!

Аркадій (*съ удивленіемъ*). Вы пѣшкомъ?

Брусковъ (*гнѣвно*). Въ спальномъ вагонѣ международнаго общества, въ отдѣльномъ купэ! Не видишь, что спрашиваешь?!

Аркадій. Нѣтъ-съ... я такъ-съ... Для моціона, молъ, пѣшкомъ идете? Для здоровья то-есть? Или по обѣщанію?

Брусковъ (*мрачно*). Отъ протестовъ!.. Сядемъ, Аркадій!

Аркадій. Гдѣ же-съ?

Брусковъ. Обгорѣлыхъ пней-то мало? Чего-чего... (*Садятся.*) На что, братъ, поѣдешь? Когда въ карманѣ, вмѣсто денежныхъ знаковъ,—документъ. А на томъ документѣ написано: „Ходилъ я, нотаріусъ, но дома его не нашелъ"... Вотъ и весь мой видъ! А какъ я въ свое время жилъ!

Аркадій. Хорошо-съ?

Брусковъ (*воодушевляясь*). Какъ я кутилъ! Какъ я кутилъ! Дымъ по ярмаркѣ коромысломъ шелъ! Арфистокъ въ шампанскомъ купалъ,—по сто рублей платилъ, чтобъ лѣзла. Стрюцкихъ заставлялъ живымъ стерлядямъ головы откусывать. Официантамъ морды французской горчицей, первый сортъ, мазалъ. Съ Откоса куплетистовъ турманомъ пускалъ и за разорванные фраки наличными платилъ! (*Съ вдохновеніемъ.*) Сижу я разъ у Барбатенки. Помнишь? Только было въ градусы вошелъ, въ зеркало бутылкой Ледеру нацѣлился, а Николай Густавовичъ, — полицеймейстеръ въ Нижнемъ былъ, — тутъ какъ тутъ. Положилъ это онъ мнѣ руку на плечо. „Ты,—говоритъ,— у меня, — говоритъ, — давно на примѣтѣ, — говоритъ". (*Утирая слезу.*) Вспомнить лестно! А нынѣ? Лишенъ! Всего лишенъ! Съ товаромъ и безъ денегъ! По шпаламъ иду! Каково это: съ купеческой-то душой да по шпаламъ!

Аркадій. Нынче, дѣйствительно, Титъ Титычъ, такого оживленія на ярмаркѣ нѣтъ!

Брусковъ (*махая рукой*). Какая ярмарка! Канитель!

Аркадій. Нынче и арфистки ужъ нѣтъ! Воспрещена!

Брусковъ. И хорошо, что воспрещена! Для нея же лучше! Все одно, по такимъ дѣламъ съ голода бы сдохла! И въ шампанскомъ бы нынче не выкупали! Такъ бы и ходила ярмарку не мытая.

Аркадій. Нынче, Титъ Титычъ, вездѣ нравственность вводятъ. Нынче о нравственности большое попеченіе имѣютъ!

Брусковъ (*сердясь*). Нравственность! Нравственность! А ежели по векселямъ не платить,—это нравственно? Нѣтъ, ты мнѣ по векселю въ срокъ заплати! Вотъ это я понимаю—нравственность! Скоро вотъ совсѣмъ денежныхъ знаковъ ни у кого не будетъ,—всѣ поневолѣ станутъ нравственны. Нравственность!.. (*Послѣ паузы.*) Ты вотъ что, Аркадій... Я хотѣлъ тебѣ сказать... Помнится мнѣ, мы съ тобой въ послѣдній разъ на ярмаркѣ у Наумова въ гостиницѣ встрѣтились...

Аркадій. У Наумова, какъ же, въ двухсвѣтной!

Брусковъ (*басомъ*). Ты у меня тогда сто рублей занялъ. До завтра, на честное слово!

Аркадій (*безпечно*). Все можетъ быть-съ!

Брусковъ (*глядя въ сторону и тихо*). Такъ не можешь ли хоть ты... въ счетъ долга... немного... по пятаку за рубль...

Аркадій (*весело смѣясь*). Нашли, Титъ Титычъ, у кого спрашивать! Какія же у актера могутъ быть деньги? У актера теперь марки, а не деньги!

Брусковъ. И имущества у тебя никакого нѣтъ?

Аркадій. Какое же у меня можетъ быть имущество? Узелокъ съ фарсами. Съ французскаго, съ нѣмецкаго,—вообще русскія пьесы. Такъ они гроша мѣднаго не стоятъ.

Брусковъ (*со вздохомъ*). Такъ! Ни денегъ ни имущества! (*Еще разъ вздыхая.*) Современно и въ порядкѣ вещей!

Аркадій. А у васъ, Титъ Титычъ, въ узелочкѣ что?

Брусковъ (*хлопая по узелку рукою*). Векселя. Протестованные!

Аркадій (*беспечно*). И охота вамъ такую дрянь съ собой носить!

Брусковъ. Все-таки иногда отъ скуки хоть векселя почитаешь! Имена-то какія подъ ними! Имена-то!

Аркадій. Не платятъ?

Брусковъ (*мрачно*). Кто нынче платитъ!

Аркадій. Завели нынче, Титъ Титычъ, пренепріятную манеру не платить денегъ! Все больше громкими словами отдѣлываются! Громкихъ словъ сколько хочешь, а денегъ ни сантима. Вотъ хоть бы наше дѣло взять! Въ старину было куда проще. Актеръ ты, — и говорятъ про тебя: „актерствуетъ", купецъ — „купечествуетъ", военный — „воюетъ". А теперь всѣ „государственнымъ служеніемъ" занимаются. Я вотъ въ фарсѣ вторымъ комикомъ служу, по сценѣ, — извините меня, — безъ пьедесталовъ при всей публикѣ хожу. А про меня на съѣздахъ, въ комиссіяхъ говорятъ: „государственнымъ служеніемъ занимается!" Артистъ! Купецъ фабрику имѣетъ, — „двигаетъ промышленность, государственное служеніе!" Да что, Титъ Титычъ, купецъ! Газетчикъ, рецензентъ даже! На что послѣдній человѣкъ! И про того теперь говорятъ: „Публицистъ! Государственное служеніе!" Хотя правовъ-то имъ, Титъ Титычъ, не даютъ! Нѣтъ, шалишь, братъ, мамонишь, на грѣхъ наводишь! Намъ даютъ, а имъ нѣтъ! Потому мы, актеры, тихіе, а они въ газетахъ лаются! И вездѣ эти самыя громкія слова. „Вы артистъ! Ваше дѣло — государственное служеніе!" А только денегъ при этомъ все равно не платятъ. А я, Титъ Титычъ, такъ понимаю. Ежели я тоже государственнымъ служеніемъ занимаюсь, такъ и пусть мнѣ каждое 20-е число изъ казны жалованье платятъ! А громкими словами сытъ не будешь!

Брусковъ (*со вздохомъ*). Насчетъ громкихъ словъ ты правильно. Много нынче громкихъ словъ развелось. И у насъ тоже. „Всеобщій кризисъ“ или еще „временно затруднительныя обстоятельства“, опять-таки: „неизбѣжныя всеобщія жертвы“. (*Оживляясь.*) Дозвольте! Жертву я очень даже хорошо понимаю! И завсегда жертву жертвовать готовъ. Такое дѣло купеческое. На пріютъ тамъ, либо на малолѣтнихъ жуликовъ, либо на дѣвицъ, которыя заблудящія. Пущай господа балуются! Я со своей стороны жертву отъ барыша завсегда принести готовъ и медаль получить тоже. Но помилте! Ежели миткаль — 4 съ половиной копейки аршинъ! Это ужъ не жертва, а разореніе!

Аркадій (*съ разсужденіемъ*). Не поймешь, отчего это такъ плохо нынче у всѣхъ дѣла идутъ! Взять наше дѣло тоже! Ну, какъ тутъ театру существовать можно, когда всѣ люди рецензентами подѣлались!

Брусковъ. Какъ всѣ люди рецензентами?

Аркадій. Ей Богу-съ! Пріѣзжаемъ мы этимъ лѣтомъ въ городъ одинъ съ поѣздкой. Ждемъ публики. Приходитъ городской голова, — безплатный билетъ пожалуйте: „Я рецензентъ, въ мѣстной газетѣ пишу“. Члены городской управы — рецензенты. Служащіе контрольной палаты — сплошь рецензенты. „И должность, — говорятъ, — наша такая, контрольная, къ рецензированью располагаетъ! И всѣ по безплатнымъ билетамъ! Да что! Прокуроръ приходитъ: „Я въ столичныя газеты про васъ рецензіи посылаю!“ А? Прокуроръ! Ему бы этихъ рецензентовъ сажать, а онъ самъ занимается! Познакомился, наконецъ, съ акцизнымъ съ однимъ. Одинъ не рецензентъ въ городѣ оказался. „Что бы, — говорю, — вамъ въ театръ сходить!“ — „Вотъ еще, — говоритъ, — я лучше въ винтъ по маленькой сяду. Тутъ выиграть можно, а въ театрѣ что выиграешь? Заплатилъ за мѣсто, — пиши пропало. А что играли, я завтра въ газе-

тахъ прочту. Нынче столько рецензій пишутъ!“ И точно! Взглянешь въ газеты, — однѣ рецензіи. Только про театръ нынче и пишутъ! По-моему, даже непатріочно. Словно у насъ, кромѣ театра, ничего въ отечествѣ и достопримѣчательнаго нѣтъ! Ну, хорошо, однако! У насъ потому дѣла не идутъ, что публики платной нѣту, все сплошь — одинъ рецензентъ! А у васъ?

Брусковъ (*мрачно*). У насъ изъ-за мужика остановка. Мужикъ разбаловался, всѣ привычки потерялъ! Старинныя, дѣдовскія, почтенныя! Ужъ не говорю про нашъ, про мануфактурный товаръ! Не то, чтобъ женѣ къ именинамъ, какъ по закону слѣдуетъ, ситцу тамъ или бумазеи на юбку купить, — рыбы сушеной и той по постамъ не ѣстъ!

Аркадій. По-моему, Титъ Титычъ, это даже ужъ и грѣхъ!

Брусковъ. Извѣстно, не во спасенье! Судакъ сушеный такой, что дай лавочному мальчишкѣ, ѣсть не станетъ, взглянуть мерзко, — и того не покупаетъ! „Дорого-ста намъ-ста, мы-ста о постѣ и безъ рыбки“. Избаловался, ѣстъ что хочетъ, — и пользуется: такую дрянь жрать началъ...

Аркадій. По-моему, Титъ Титычъ, тутъ не иначе какъ тлетворныя ученія виноваты. Мужикъ, я такъ думаю, потому сушеную рыбу ѣсть пересталъ, что, изволите видѣть, за послѣднее время — вегетаріанство...

Брусковъ. Да ужъ тамъ что бы ни было, а только въ эту ярмарку даже рыбой не расторговались. Никогда не было. Завсегда страна солененькое любила. А ты, промежду прочаго, этотъ разговоръ брось. Потому, по теперешнимъ дѣламъ, о съѣстномъ говорить, — только слюна бьетъ. Говори о чемъ-нибудь противномъ, — все не такъ ѣсть хочется. Поговоримъ, напримѣръ, о лягушкахъ. Ежели лягушку, къ примѣру, скатать, разрѣзать, — вотъ, небось, слякоть! Тфу!

Аркадій (*мечтательно*). Лягушку, конечно, если разрѣзать, такъ слякоть, а только поѣсть все-таки бы не мѣшало!

Брусковъ (*входя въ азартъ*). Хорошо бы теперь, Аркадій, соляночку изъ стерлядей...

Аркадій (*потирая руки и визгливо*). А къ ней разстегайчики. И чтобъ разстегайчики были съ семушкой!

Брусковъ (*сплевывая*). Можно и съ семушкой. А за симъ поросеночекъ, какъ ему по-поросячьему чину быть полагается — съ кашкою. А въ кашку мелко порубить яичекъ, да печеночки въ нее, печеночки, да перемѣшать хорошенько! А сверху мозговъ изъ кости кружочками!

Аркадій (*чуть не плача*). Титъ Титычъ! Перестаньте Христа ради! Слюна задушитъ!

Брусковъ (*съ рѣшимостью, вставая*). Идемъ!

Аркадій. Куда-съ?

Брусковъ. Куда влечетъ насъ жалкій жребій нашъ. (*Подходятъ къ уцѣлѣвшей избѣ.*)

Брусковъ (*нараспѣвъ жалобно*). Подайте, православные, странникамъ, актеру и купцу, мануфактуръ-совѣтнику...

Погорѣлая баба (*выглядывая изъ окна*). Проходите, проходите, милые! Проходите, что ли-ча!

Аркадій. Тетенька! Подайте! Они вамъ на это вексель выдадутъ!

Погорѣлая баба. Богъ подастъ на вексель, милые, Богъ! (*Захлопываетъ окно.*)

Брусковъ (*мрачно*). Слышалъ?

Аркадій (*убито*). Слышалъ.

Брусковъ. И никогда при мнѣ впередъ этого слова не произноси. „Вексель“! А ежели когда захочешь произнести, такъ лучше самъ пойди и удавись. Понялъ? Озвѣрѣю и убью!

Занавѣсъ.

Въ Хересѣ.

— C'est drôle ça!— сказалъ мой другъ, полтавскій помѣщикъ.

Русскіе за границей всегда говорятъ и думаютъ на сквернѣйшемъ французскомъ языкѣ.

— Не угодно ли вамъ изъяснять ваши мысли по-русски?—предложилъ я.

Мы шли по душистымъ улицамъ Хереса, словно снѣгомъ усыпаннымъ опавшими цвѣтами бѣлыхъ акацій.

И когда поднимали головы, изъ темной зелени намъ улыбались красные апельсины, которые болтались, словно зажженные маленькіе китайскіе фонарики среди вѣтвей.

— Это забавно!— перевелъ свои мысли на русскій языкъ полтавскій помѣщикъ.—Я думалъ, это можетъ случиться только съ мухой. Вдругъ,—я попалъ въ Хересъ.

— Скверный каламбуръ!

Надо сказать, что только что передъ этимъ мы посѣтили главную достопримѣчательность города,—погреба.

Погреба, гдѣ дремлетъ въ колоссальныхъ бочкахъ великолѣпный хересъ.

Намъ предлагали пробовать, и мы пробовали съ добросовѣстностью обстоятельныхъ туристовъ.

Пробовали Romano, Nectar.

Словно изъ живого тѣла кровь, намъ доставали изъ глубины бочки пробу темно-алаго, почти чернаго душистаго москателя.

Мы пили эту густую кровь земли, дыша запахомъ меда.

Мы пили.

И теперь чувствовали подъ ногами землетрясеніе.

— Зайдемъ въ погребокъ,— сказалъ полтавскій помѣщикъ,—чтобъ я могъ сидя изложить все, что меня волнуетъ!

— Зайдемъ!

И мы зашли въ „venta“, гдѣ рядами другъ на другѣ покоились бочки, а надъ головой, словно сталактиты, спускались съ потолка бараньи туши, налитыя виномъ.

Въ одну изъ тѣхъ „ventas“, гдѣ донъ-Кихотъ, по колѣно въ красномъ винѣ, сражался, поражая мечомъ туго налитые мѣха.

Струя хереса золотомъ сверкнула, когда открыли пробку бочки, и тихо затеплилась въ стаканахъ тончайшаго стекла.

— Ужасно!— воскликнулъ полтавскій помѣщикъ.— Ужасно, до чего у насъ нѣтъ національнаго самолюбія. У испанцевъ есть отличное національное вино „хересъ“. „Хересъ“, который создаетъ имъ всемірную славу, и они назвали въ честь него „Хересомъ“ городъ!

— Тысяча извиненій и маленькая поправка. Вино названо по имени города, а не наоборотъ!

— Все равно! Не прерывайте нить моихъ мыслей! У нихъ есть вино „малага“—и городъ Малага! Во Франціи славится „бордо“, и есть городъ „Бордо“. А у насъ?

Полтавскій помѣщикъ посмотрѣлъ на меня съ презрѣніемъ.

— Что за имена у нашихъ городовъ? Есть городъ „Сапожокъ“. Глупо! Есть даже городъ „Острогъ“. Предосудительно! „Карасубазаръ“. Невнятно! „Тамбовъ“. Безсмысленно! Я васъ спрашиваю, что такое: „Тамъ! Бовъ! Тамъ! Бовъ!“ И нѣтъ города „Водки“.

Онъ мрачно смотрѣлъ въ бокалъ хереса.

— Наша водка знаменита во всемъ мірѣ. Во всемъ мірѣ ее знаютъ, хотя бы по наслышкѣ. Мы славимся ею. Она знаменита не меньше хереса, не меньше бордо,—и ужъ куда знаменитѣе малаги! И нѣтъ города въ честь нея. А есть городъ „Москва". Что такое „Мосъ ква!" Что это значитъ? Какое слово? Говорятъ, финское.

Онъ ударилъ кулакомъ по столу.

— Довольно чухонскихъ словъ! „Чай"—слово англійское, отъ „Чайна", что по-англійски значитъ Китай. „Вино"—слово латинское, „кнутъ"—слово татарское. „Москва"—слово чухонское. Тогда какъ „водка"—слово русское! Отъ „вода". Уменьшительное, ласкательное! Сокращенное „водичка", сокращенное „водочка". „Водка". И нѣтъ такого города! И нѣтъ города „Монополіи"!

— „Монополія"-то ужъ слово греческое!

— Греческое, но привилось. Натурализовалось! Какъ иностранка, которая вышла замужъ за русскаго. И дѣти у нея будутъ русскіе и родить она будетъ русскихъ. Сама она иностранка, а внутри у нея сидитъ русскій. Такъ и „монополія"! Привилась, натурализовалась, пустила корни, внѣдрилась, не вырвешь! Безъ монополіи больше нельзя себѣ представить страны. „Монополія"—слово такое же русское, какъ „водка". И я требую, чтобы были названы города въ честь національнаго напитка, по примѣру заграницъ. Какъ „Хересъ" въ Испаніи, какъ „Бордо" во Франціи! Чтобъ были города „Водка", „Монополія". Это говоритъ сердцу!

— Какіе же города вы проектируете переименовать?

— Главнѣйшіе! Москву и Петербургъ! Москву переименовать въ „Водку", Петербургъ въ городъ „Монополію".

Въ бокалахъ тончайшаго стекла золотистымъ свѣтомъ теплился хересъ. Надъ бокаломъ тихо угасалъ духомъ мой полтавскій другъ.

Еще проектъ *).

— Еще идея! Еще идея!

— Пустите! Не душите меня! Не душите! Караулъ!

Такая борьба происходила только что между моимъ другомъ полтавскимъ помѣщикомъ и мною въ „Hôtel de Madrid“, въ Севильѣ.

— Были вы на пѣтушиномъ бою?

— Разумѣется.

— Странно, какъ мы не видѣли другъ друга. Впрочемъ, это такъ увлекательно. Ну, что?

— Есть польская поговорка, которая говоритъ приблизительно такъ: „вельки смрадъ та невеличка потѣха“! Много страданья и мало удовольствія.

— Дѣйствительно, собственно говоря, чортъ знаетъ что! Эта крошечная арена, надъ которой вихремъ крутятся перья и пухъ. Пара окровавленныхъ пѣтуховъ, которые бьютъ другъ друга неизвѣстно за что, неизвѣстно почему, съ невѣроятной, слѣпой ненавистью. Въ мертвой тишинѣ стукъ клюва о косточку черепа, когда онъ продалбливаетъ противнику черепъ и добирается до мозга, топчетъ ногами, бьетъ крыльями смятаго, истекающаго

*) Авторъ затрудняется его занумеровать. Съ тѣхъ поръ, какъ напечатанъ послѣдній 1001-й, — вѣроятно, успѣло поступить отъ разныхъ лицъ еще 1000 проектовъ къ „подпятію сельскохозяйственной промышленности“. А можетъ-быть, и болѣе. Всѣ такого же достоинства.

кровью врага, выклевываетъ ему глаза и, наконецъ, оретъ торжествующее „ку-ка-ре-ку“, стоя на тепломъ трупѣ. „Ку-ка-ре-ку“ побѣдителя. Чисто бой гладіаторовъ! Ха-ха-ха! Вѣдь такія маленькія существа, а сколько у нихъ, у маленькихъ, страданья, боли, любви къ жизни и злобы къ другимъ. Чортъ знаетъ, какъ въ сущности глупъ свѣтъ, въ которомъ разлито столько глупой злобы!

— Это ужъ философія!

— А публика! Публика въ это время! „Ставлю два дуро, что онъ больше не поднимется!“ — „Три дуро, что взлетитъ еще разъ!“ — „Пять дуро, — съ трехъ разъ выклюнетъ глазъ!“ Песочные часы, которые ставятъ на барьеръ. „Десять дуро, что черезъ пять минутъ все будетъ кончено!“ До послѣдняго издыханія. „Два дуро, что дрыгнетъ ногой еще разъ!“ — „Какой? Правой или лѣвой?“—„Ставлю на правую!“—„Три дуро, что еще разъ приподниметъ голову!“ Пари на предсмертныя судороги. Собственно, это гораздо умнѣе, чѣмъ играть въ тотализаторъ. Въ наше время лучше повѣрить деньги пѣтуху, чѣмъ человѣку. Пѣтухъ и жокей! Каналья и жуликъ жокей, который мошенничаетъ, задерживаетъ лошадь, дѣлаетъ кроссинги. А пѣтухъ, — нѣтъ, братъ, у пѣтуха все на совѣсть! Пѣтухъ честный человѣкъ! Онъ послѣдняго пера не пожалѣетъ! Онъ бьетъ, такъ бьетъ! Глазъ вонъ, черепъ вдребезги! Онъ взялся за дѣло и дѣлаетъ! Такихъ людей нынче нѣтъ. Жизни не пожалѣетъ, а свою обязанность исполнитъ! Начистоту говоря, изъ двуногихъ нынче совѣсть только у птицъ и осталась. Собираюсь внести въ первое же земское собраніе проектъ ходатайства о повсемѣстномъ разрѣшеніи пѣтушиныхъ боевъ!

— Это жъ для чего?

— А въ видахъ поднятія сельскохозяйственной промышленности. Для поощренія куроводства. Тотализаторъ

для поощренія богатыхъ бездѣльниковъ или спекулянтовъ, занимающихся коннозаводствомъ. Бой быковъ—для поддержки помѣщиковъ и подъема скотоводства. И, наконецъ, пѣтушиные бои для поднятія простого народнаго хозяйства и поощренія куроводства. Бабье дѣло, говорите? Надо и бабу поощрить! Пусть всѣ будутъ поощрены! А, батенька, народъ, это — нива, это—земля, на которой мы растемъ какъ цвѣты, и которая питаетъ наши корни. Надо и о народѣ позаботиться. Поливать надо почву! Чтобъ мы же махровѣй расцвѣли.

Въ голосѣ его звучали меланхолія и нѣжность.

— Да вы знаете,—воспламенился онъ,— сколько стоитъ хорошій бойцовый пѣтухъ? Сто пезетъ—35 рублей. Двѣсти пезетъ — 70 рублей! Триста, четыреста! Былъ великій пѣтухъ...

Голосъ его звучалъ торжественно.

— Онъ убилъ въ своей жизни 672 пѣтуха! Ему даже имя дали! Его звали „донъ-Оссуно“. И „донъ-Оссуно“ стоилъ 10,000 пезетъ!!! А? Лестно вырастить на своемъ дворѣ пѣтуха, который можетъ стоить 3,500 рублей? Съ какимъ увлеченіемъ предадутся наши бабы куроводству! Какіе доходы посыплются! Бабы въ великолѣпныхъ понявахъ, въ шелковыхъ полушалкахъ! Деревни, унылыя теперь русскія деревни, оглашены веселымъ пѣніемъ пернатыхъ пѣвцовъ!..

И увлеченный восторгомъ, онъ даже спѣлъ самъ какъ пернатый пѣвецъ:

— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!

— Доходы отъ бойцовыхъ пѣтуховъ поднимутъ экономическое благосостояніе деревни. О, пѣтухъ важный экономическій факторъ! Хотя потомъ можно будетъ пріучить и куръ драться! Въ экономическихъ интересахъ! Для подъема благосостоянія! Цыплята, яйца, это ужъ въ видѣ безплатной преміи! Вотъ когда, mon cher, сбудется доброе желаніе Генриха IV, веселаго короля.

Онъ однажды послѣ хорошаго обѣда и отличнаго Аи, которое онъ такъ полюбилъ и въ честь котораго сложилъ даже пѣсенку: „Ay le bon vin“, онъ однажды воскликнулъ: „Я хотѣлъ бы, чтобы у каждаго крестьянина была къ обѣду курица!“ Какъ просто тогда рѣшается продовольственный вопросъ! Что? Неурожай? Ржи нѣтъ? „Жена, жарь цыплятъ! Вари супъ изъ курицы! Пулярку подъ бѣлымъ соусомъ!“ Пулярка, mon cher, не лебеда!

— Ку-ка-ре-ку!

— Смѣйтесь! А это идея! Я люблю свою страну и думаю о ней всегда,—даже когда пѣтухи дерутся. Къ тому же, чортъ возьми, это не тотализаторъ. Не иностранное изобрѣтеніе. Старинная русская любимая потѣха,—нынѣ, къ сожалѣнію, едва уцѣлѣвшая въ нѣкоторыхъ замоскворѣцкихъ трактирахъ,—да и то втайнѣ. Пѣтушиные бои, это—возвращеніе къ старинѣ, къ своему, къ исторіи, къ устоямъ, домой!

— Знаете что? Уѣзжайте вы изъ Испаніи. А то тутъ вамъ такія идеи приходятъ!

Полтавскій помѣщикъ поблѣднѣлъ.

— А что? Развѣ опасно?

— Ничего опаснаго. Но не свойственно столько идей имѣть! Уѣзжайте! Нехорошо. Не годится!

— Что жъ я вѣдь, кажется, только насчетъ ходатайства и поощреній. Кажется, ничего предосудительнаго. Ходатайства и поощренія... Чѣмъ же больше заниматься?



Манташіада.

Герой дня — г. Манташевъ.

Впрочемъ, это невѣрно.

Г. Манташевъ былъ героемъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

Будущій историкъ, когда будетъ писать о пораженіяхъ русской публики, назоветъ эти года „Манташевскими".

— Это было еще до Манташева.

— Это было при Манташевѣ.

— Это было хоть и послѣ Манташева, но публика снова была поражена на биржѣ. Публика неисправима.

Историческая дата!

Къ стыду и къ сожалѣнію, я никогда даже не видѣлъ г. Манташева.

Да это было и невозможно.

Онъ былъ всегда такъ окруженъ, что разсмотрѣть г. Манташева было невозможно.

Вы только чувствовали трепетнымъ сердцемъ, что близко, около васъ, въ центрѣ этой толпы, проходитъ „онъ", „самъ", „ille", какъ говорили римляне.

— Фонтанъ! — какъ подобострастно шептали кругомъ.

Вы догадывались объ его близости, скользя взглядомъ по согнутымъ подъ прямымъ угломъ спинамъ.

Когда онъ шелъ по коридору театра, — впереди бѣжали люди съ испуганными лицами и расталкивали народъ:

— Манташевъ! Манташевъ!

Какъ будто за ними шелъ звѣрь, ребенокъ или римскій папа.

Затѣмъ вы видѣли движущіяся спины, чтобъ выразиться не точно, но мягко. Люди шли странно, порачьи.

Особое искусство!

Можетъ-быть, они практиковались дома: какъ ходить передъ Манташевымъ.

И весь этотъ ураганъ проносился мимо, съ головами, устремленными къ центру, съ согнутыми спинами. Мнѣ казалось даже, отмахивая любопытную публику фалдочками фраковъ.

Такъ ходятъ табуны въ степяхъ.

Головы въ центръ табуна. Съ какой стороны ни подойдите, — одни крупы.

И человѣкъ, который захотѣлъ бы увидать Манташева, обойдя кругомъ, увидалъ бы только цѣлую звѣздочку фалдочекъ.

Я не видалъ г. Манташева, и ничего не могу разсказать вамъ о немъ.

Слыхалъ только, что г. Манташевъ не кончилъ университета, потому что не поступалъ въ гимназію.

Но я зналъ цѣлую уйму людей, которые говорили:

— Со слѣдующей недѣли перестаю платить за обѣды.

— Почему?

— Пріѣзжаетъ Манташевъ.

И не потому, чтобъ это были люди, которые не въ состояніи сами платить за свои обѣды.

Ихъ не радовало, что за нихъ заплатятъ.

Но за нихъ заплатитъ:

— Манташевъ!

Какое счастье!

Мнѣ разсказывалъ одинъ изъ нихъ:

— Большой оригиналъ этотъ Манташевъ! Ужинали вчера вчетверомъ. Манташевъ спрашиваетъ: „Будемъ ѣсть рябчиковъ?“ Говоримъ: „Будемъ“. Спросилъ на четверыхъ двухъ рябчиковъ, раздѣлилъ руками и положилъ всѣмъ на тарелки.

Я чувствую, что профанирую разсказъ, передавая его печатно. Тутъ все былъ тонъ!

Только приближенный шахскаго двора можетъ такъ разсказывать:

— Повелитель вселенной обглодалъ баранью косточку и положилъ мнѣ на тарелку: „обсоси!“

— Манташевъ ѣдетъ! — для Петербурга, что это было!

Кажется, мнѣ кто-то разсказывалъ:

— Благодаря Манташеву, не удалось жениться.

— Какъ такъ?

— Назначили свадьбу передъ масленицей. Вдругъ извѣстіе: пріѣзжаетъ Манташевъ. До свадьбы ли тутъ! Сказалъ роднымъ невѣсты. Тѣ согласились отложить. А тамъ масленица, Великій постъ. На пятой недѣлѣ невѣста влюбилась въ другого! Не во-время пріѣхалъ и помѣшалъ жениться.

И что всего замѣчательнѣе, кажется, молодой человѣкъ, который мнѣ это разсказывалъ, не имѣетъ никакого отношенія ни къ нефтянымъ ни къ биржевымъ дѣламъ.

Но быть знакомымъ съ Манташевымъ!

Кажется, были даже визитныя карточки:

„Иванъ Ивановичъ Ивановъ, знакомый Манташева“.

„Ѣду ли ночью по улицѣ темной“, въ Петербургѣ вы могли зайти въ первый попавшійся незнакомый домъ, гдѣ освѣщены окна, и послать такую карточку:

„Знакомый Манташева“.

Васъ приняли бы немедленно.

Если бы это была свадьба, родители приказали бы новобрачному уступить вамъ свое мѣсто.

Если бъ это были именины, прогнали бы съ мѣста виновника или виновницу торжества и стали бы чествовать васъ.

Если бы, наконецъ, вы позвонились въ домъ, гдѣ ни одно окно не освѣщено,—ничего не значитъ!

„Знакомый Манташева“.

Хозяева вскочили бы съ постели, освѣтили всѣ окна, моментально созвали знакомыхъ и стали бы праздновать свадьбу, именины или что-нибудь подобное.

Да что „знакомый Манташева“.

Это я хватилъ слишкомъ, надо сознаться.

Если бъ кто-нибудь въ манташевскіе годы написалъ такой громкій титутъ на своей визитной карточкѣ, не имѣя къ тому основаній,—его, я увѣренъ, привлекли бы къ отвѣтственности:

— За присвоеніе непринадлежащаго званія.

И судъ, я убѣжденъ, отнесся бы очень строго къ такому наглецу.

Я ухаживалъ въ Петербургѣ за одной дамой. Разсказывалъ ей объ Индіи, Китаѣ, Японіи. Какъ Отелло „о каннибалахъ злыхъ, которые ѣдятъ другъ друга“.

„Съ участьемъ мнѣ внимала Дездемона“.

Какъ вдругъ однажды какой-то прыщъ, невзрачный, прескверный, сѣвши около дамы, ни съ того ни съ сего въ рединѣ самаго увлекательнаго моего разсказа о браминахъ, баядеркахъ и чудесахъ, которыя дѣлаютъ факиры, вставилъ:

— А вотъ Манташевъ...

Дама моментально отвернулась отъ чудесъ, баядерокъ, факировъ, браминовъ и меня.

Она вся превратилась въ трепетъ и вниманіе.

— А вы знакомы?

Прыщъ приподнялся съ мѣста и отвѣчалъ съ достоинствомъ:

— Я знакомый знакомаго Манташева!

Съ тѣхъ поръ мое дѣло было проиграно разъ и навсегда.

Я разсказывалъ о Саррѣ Бернаръ, объ Эдиссонѣ, объ Эдуардѣ VII, котораго видалъ, когда онъ былъ принцемъ Уэльскимъ, въ Парижѣ, — прыщъ произносилъ:

— А вотъ Манташевъ, такъ тотъ...

Дама поворачивалась ко мнѣ спиной, кушала его глазами, и отъ любопытства у нея полымемъ вспыхивали уши.

„Знакомый знакомаго“.

Меня какъ-то въ банкѣ заставили слишкомъ долго дожидаться денегъ по переводу.

Тогда я пошелъ на героическое средство:

— Я знакомый знакомаго одного знакомаго г. Манташева!

Мнѣ выдали, кажется, на пять рублей больше чѣмъ слѣдовало.

И притомъ немедленно.

А дверь, кажется, мнѣ отворялъ вмѣсто швейцара самъ директоръ и взялъ двугривенный на чай, чтобъ сдѣлать изъ этого двугривеннаго женѣ брошку на память.

Все это происходило такъ въ лучшемъ обществѣ.

Да и кто нынче играетъ на биржѣ?

Главнымъ образомъ лучшее общество. Барство и чиновники.

Купцы предпочитаютъ другіе способы наживы.

У барства и чиновниковъ страсть къ биржѣ, это— икота послѣ крѣпостного права.

При крѣпостномъ правѣ баринъ говорилъ:

— Я, милостивый государь мой, дворянинъ, и посему на меня работаютъ. И священная обязанность моя заключается въ томъ, чтобъ, не давая вдаваться въ праздность и лѣность, заставлять на меня работать. Ибо на семъ все зиждется!

И поднималъ палецъ.

Чиновникъ мечталъ:

— Деревеньку, и пускай на меня работаютъ!

Крѣпостное право пало, но потребность въ крѣпостномъ правѣ, — у одной стороны, — осталась.

И люди увидали въ акціяхъ новый видъ оброка.

Вотъ причина, почему гг. Манташевы имѣютъ такой огромный успѣхъ въ „лучшемъ обществѣ“.

Желаніе играть навѣрняка.

Отсюда эта нѣжность къ „знакомому знакомаго со знакомымъ“.

Отсюда эта притягательная сила знакомства хотя бы въ четвертой степени. Хотя бы даже пятиюродное знакомство!

Все-таки, кажется, какъ будто у человѣка на фракѣ есть нѣсколько брызгъ отъ „фонтана“.

И блескъ этихъ брызгъ ослѣплялъ больше, чѣмъ блескъ всѣхъ звѣздъ.

— Знакомый знакомаго знакомаго знакомаго...

Все-таки отъ человѣка какъ будто пахнетъ нефтью.

Это былъ самый модный запахъ.

И чтобъ имѣть успѣхъ у дамъ, надо было душиться нефтяными остатками.

О, это время „фонтаніады“.

Въ Петербургѣ ко мнѣ зашелъ одинъ знакомый литераторъ:

— Хотите вмѣстѣ писать пьесу?

— Идетъ.

— Названіе „Мужчины отъ Кюба“.

— Великолѣпно. Если увѣковѣчена „Дама отъ Максима“, почему не увѣковѣчить „Мужчинъ отъ Кюба“? Это тоже типъ.

— Ну, знаете, такъ какъ особенно-то серьезно неудобно задѣвать,—напишемъ въ формѣ фарса.

— Въ формѣ фарса, такъ въ формѣ фарса. Напишемъ въ формѣ фарса эту высокую комедію изъ русской жизни!

— Такъ что-нибудь легонькое! Qui pro quo. Помѣщикъ, что ли. У него въ деревнѣ въ саду фонтанъ. Говоритъ: „Надо, между прочимъ, купить трубы для фонтана“. Услыхавъ знакомое слово, его спрашиваютъ: „А у васъ есть фонтанъ?“ — „Есть“. Отсюда путаница. Его принимаютъ за владѣльца нефтяного фонтана.

— Садимся и пишемъ.

Мы сѣли.

Мой пріятель написалъ:

„Дѣйствіе I. Явленіе I. Вечеръ. Залъ у Кюба. Полно. Кавалеры и дамы. Входитъ владѣлецъ фонтана...“

Я всталъ.

— Баста! Больше ничего написать нельзя!

— Какъ такъ?

— Всѣ задавлены. Наивный вы человѣкъ! Вы пишете: „Входитъ владѣлецъ фонтана“. И спрашиваете: „Что послѣ этого происходитъ?“ Что послѣ этого можетъ происходить? Ничего! Всѣ кидаются. Столы летятъ кувыркомъ, посуда вдребезги. Кавалеры, дамы, — все давитъ другъ друга. Что жъ дальше? Этого не одинъ театръ не поставитъ!

Мой другъ подумалъ:

— Вы правы. Дѣйствительно, такъ должно происходить, разъ появился человѣкъ съ фонтаномъ. Этого нельзя изобразить на сценѣ!

И пьеса не была написана во избѣжаніе давки на сценѣ.

Манташевъ былъ тѣмъ человѣкомъ, около котораго люди давили другъ друга:

— Фонтанъ!

И вдругъ оказывается, что главный фонтанъ г. Манташева билъ не гдѣ-то тамъ на Кавказѣ, а у насъ изъ кармана.

Г. Манташевъ открылъ нефтеносный слой въ нашихъ тощихъ карманахъ и сверлилъ, сверлилъ, сверлилъ.

И мы этого не замѣчали.

И мы же ему кланялись!

Сверленіе нефтеносныхъ дыръ въ нашихъ карманахъ происходило при помощи бухгалтеріи.

Я всегда боялся бухгалтеріи.

Въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ самъ „отецъ бухгалтеріи“ г. Езерскій на одномъ изъ процессовъ на отчаянный вопросъ прокурора:

— Да что же, наконецъ, такое, эта самая бухгалтерія? Наука или искусство?!

Подумалъ и отвѣтилъ:

— Бухгалтерія, это — искусство!

Ужъ если самъ отецъ такъ о дочери отзывается!

Когда мнѣ приходится входить въ банкъ или просто въ крупное промышленное учрежденіе, — я иду спокойно.

Но только, проходя мимо бухгалтера, я невольно уклоняюсь на полшага въ сторону.

Какъ въ звѣринцѣ.

Вы мужественно проходите мимо запертыхъ медвѣдей. Хоть бѣлыхъ, хоть черныхъ. Вамъ все равно!

Пусть слонъ протягиваетъ къ вамъ хоботъ, вы даже протянете ему руку, если разстояніе не менѣе двухъ саженъ.

Вы даже оглянетесь на льва. Онъ прищурился и вы прищурились:

— Въ клѣткѣ. И не боюсь...

Но, проходя мимо полосатаго бенгальскаго тигра, вы почему-то невольно дѣлаете хоть четверть шага въ сторону.

Хоть и въ клѣткѣ!

Но ужасно непріятно, что имѣется „такая гадость“.

Директоръ банка! Очень милый господинъ. Если быть знакомымъ, можно выкурить всегда очень хорошую сигару.

Кассиръ. Мастодонтъ, который получаетъ съ сосѣда сто тысячъ и выдаетъ вамъ десять рублей съ однимъ и тѣмъ же видомъ:

— А мнѣ въ высокой степени наплевать, отдаешь ты или получаешь.

Клеркъ. Тоже славный малый. Разбитной, живой и франтъ. Отъ него пахнетъ слегка увеселительнымъ садомъ, загороднымъ ресторанамъ. Его можно спросить, прищуривъ одинъ глазъ:

— Какая „шансонетка“ нынче больше въ ходу?

И онъ всегда дастъ на этотъ счетъ даже болѣе точныя свѣдѣнія, чѣмъ относительно сегодняшняго курса.

Но бухгалтеръ!

Когда я прохожу мимо того отдѣленія, надъ которымъ крупными золотыми буквами по черному фону написано:

— Бухгалтерія.

Я чувствую, какъ послѣдняя рублевая бумажка свертывается у меня въ карманѣ, словно береста на огнѣ.

Не знаю, почему, но всякій разъ, когда я вижу бухгалтера, погруженнаго въ гроссъ-бухъ, мнѣ приходитъ въ голову:

„Злой чеченъ ползетъ на берегъ,
Точитъ свой кинжалъ“.

Что онъ сдѣлаетъ въ области своего искусства при помощи ловкости и проворства рукъ съ тѣмъ вкладомъ, который я сейчасъ внесу?

Можетъ-быть, окажется, что я окажусь долженъ банку сто тысячъ рублей!

Напишетъ „nostro“, и конченный я человѣкъ.

— Бухгалтеръ все можетъ! — какъ воскликнулъ экспертъ тоже въ одномъ процессѣ.

Лучшая бухгалтерія—итальянская бухгалтерія. Какъ и кинжалы.

Я думаю, что ее изобрѣлъ предокъ Муссолино.

Въ бухгалтеріи „точили“.

„Единственно при помощи быстроты и ловкости рукъ“ что-то откуда-то списывали, потомъ куда-то приписывали, затѣмъ на что-то отписывали.

А въ результатѣ публика потеряла,—одни говорятъ, десять, другіе—пять, но все-таки милліоновъ.

Пять или десять милліоновъ публикиныхъ денегъ провалились въ отверстіе манташевскаго фонтана безо всякой надежды быть когда-нибудь выброшенными обратно.

Все, что меня утѣшаетъ въ этомъ общественномъ несчастіи, это—прыщъ! Тотъ самый прыщъ, который съ такимъ достоинствомъ рекомендовался:

— Знакомый знакомаго г. Манташева!

Какъ онъ прыгаетъ теперь, когда люди соскабливаютъ съ визитныхъ карточекъ профессію:

— Знакомый Манташева.

— Ты что жъ это? — спрашиваетъ его моя Дездемона.—Теперь...

„Знакомый знакомаго Манташева“. Конечно, они давнымъ-давно на ты.

— Женщина отдаетъ тебѣ все! Мужъ играетъ на Манташева. Проигрываетъ жалованье, свое, жалованье своихъ знакомыхъ. Занимаетъ деньги! Я проигрываю кольца, серьги, браслеты. Дѣтскія серебряныя запонки и чайныя ложечки, негодный ты человѣкъ! Еще бы, въ семьѣ есть „знакомый знакомаго Манташева“. Черезъ него мы знаемъ все! А ты!

Вмѣсто правды говорилъ мнѣ бухгалтерію?! Бухгалтерію любимой женщинѣ?!

Пари, что прыщъ вывертывается:

— Позволь, душечка! Рѣшительно не понимаю, о чемъ ты говоришь! Душечка, ты путаешь! Это не я! Я говорилъ тебѣ про Индію, про Китай, про Сарру Бернаръ. Когда же я говорилъ, что я знакомый знакомаго Манташева?! Я?! Никогда! Это тотъ, высокій, дылда, непріятнаго такого вида... ну, этотъ... литераторъ, который за тобой ухаживалъ! Это онъ говорилъ, что онъ знакомый знакомаго Манташева! Онъ!!! Ты насъ спутала! Онъ долженъ былъ предупредить тебя! Онъ! Журналистъ! Это его обязанность! Онъ во всемъ виноватъ!

И я увѣренъ, что дама, совершенно искренно считаетъ меня источникомъ всѣхъ несчастій.

— Журналистъ! И не предупредилъ! Какова гадость!

„Не съ чего, такъ съ бубней“.

У насъ принято ругать журналистовъ:

— Журналистика занимается пустяками и не предупреждаетъ публику о серьезныхъ опасностяхъ. На кой шутъ существуютъ эти люди!

Мы на скамьѣ подсудимыхъ по обвиненію „въ бездѣйствіи власти“.



Интервью.

Онъ съ любовью посмотрѣлъ на сигары, предложилъ одну мнѣ, другую взялъ себѣ. Провелъ ею у себя подъ носомъ, понюхалъ. Поднесъ ее къ уху, слегка прижалъ пальцами, послушалъ хрускъ, какъ свернута. Досталъ изъ стола шести сортовъ машинки для отрѣзанья. Выбралъ изъ нихъ ту, которая пронзала сигару внутрь. Пронзилъ. Зажегъ шведскую, деревянную, спичку, далъ ей догорѣть до половины. Съ легкимъ свистомъ пропустилъ нѣсколько разъ воздухъ чрезъ сигару взадъ, впередъ,—продулъ ее. И втянулъ струйку огня. Струйка синеватаго дыма, дрожа, поднялась въ воздухѣ. Регалія задымилась великолѣпно.

— Я живу, — сказалъ онъ, еще разъ взглянувъ на сигару,—въ Сорренто. Вы знаете, что сказалъ Гёте про Неаполитанскій заливъ? — „Здѣсь можно дѣлать только одно: жить". Передо мной лазурный заливъ, дымится Везувій, бѣлой полосой, словно пѣна прибоя, сверкаетъ Неаполь. Неаполь! На который „надо взглянуть и умереть". А передо мной каждый завтракъ метръ-д'отель ставитъ стеклянную посуду, на которой написано: „Херсонская губернія. Столовое вино". И я каждое утро читаю „Новое Время". Очевидно, мнѣ никогда не отвыкнуть отъ дурныхъ привычекъ!

Онъ „комически" вздохнулъ:

— Будемъ говорить объ этой непріятности.

Этотъ разговоръ происходилъ въ Сорренто въ „Imperial hôtel Tramontano“.

„Довольно счастливъ я въ товарищахъ моихъ“. То моимъ сосѣдомъ по номеру былъ германскій канцлеръ фонъ-Бюловъ, и не было возможности нанять лошадей,— всѣ лошади были заняты подъ экстренную почту „исправляющаго должность Бисмарка“, то его мѣсто занялъ русскій, одинъ изъ „нашихъ банковскихъ дѣльцовъ“. Faiseur большого полета.

Его имя?.. Но „къ чему торопиться, — вѣдь и такъ жизнь несется стрѣлой“. Вы прочтете его имя, и не разъ въ судебныхъ отчетахъ. Но въ свое время.

Канцлера я оставилъ въ покоѣ, но къ „банкомету“ явился за интервью.

— Вы хотите знать мое мнѣніе о харьковскомъ процессѣ?—переспросилъ онъ и пожалъ плечами.—Въ этомъ мнѣніи нѣтъ ничего экстраординарнаго. Этого и надо было ожидать! Ah!—даже вздохнулъ онъ на французскій манеръ. — Отдавать банковскихъ дѣятелей на судъ гг. судей, это—все равно, что отдавать трудъ химиковъ, ну, напримѣръ, на судъ астрономовъ. Не правда ли, выйдетъ чепуха? Это совсѣмъ другая спеціальность!

Онъ улыбнулся высокоснисходительно:

— Гг. судьи думаютъ, что мы все время должны быть озабочены вопросомъ: „А согласно ли это съ уложеніемъ о наказаніяхъ?“ Тогда какъ мы должны быть озабочены другимъ вопросомъ: „Какъ выдать гг. акціонерамъ побольше дивиденда?“ Банковскій дѣятель, который бы только и думалъ, что объ уложеніи о наказаніяхъ!

Онъ вздохнулъ съ глубокимъ сожалѣніемъ о такомъ банковскомъ дѣятелѣ и добавилъ даже наставительно:

— Онъ уподобился тому рабу лѣнивому и лукавому, который, изъ-за страха, спряталъ талантъ въ землю. Но гг. судьи меня не удивляютъ. Они судятъ съ другой

точки зрѣнія. Если бъ ихъ заставить самихъ заняться банковскими дѣлами...

Онъ засмѣялся.

— Они натворили бы въ банковскихъ дѣлахъ такой же чепухи, какую банковскіе дѣльцы натворили въ области закона. Да! Судьи меня не удивляютъ. Тому три года тюрьмы, тому два. Это ихъ спеціальность... Хотя enfin...

Онъ заботливо поглядѣлъ на сигару. Но пепелъ держался крѣпко.

— Это чуть не круговая порука всѣхъ служащихъ въ банкѣ. Всѣ виноваты! Ха, я воображаю себѣ банкъ! Учетный комитетъ говоритъ: „Учесть вексель такого-то!" А бухгалтеръ отвѣчаетъ: „Ну, нѣтъ-съ, знаете ли, такой-то, мнѣ не нравятся его операціи. Докажите сначала, что онѣ солидны! Не желаю изъ-за рискованныхъ операцій сидѣть въ тюрьмѣ!" Въ концѣ концовъ и артельщикъ въ кассѣ: „И мнѣ ужъ потрудитесь доказать, что этотъ вексель вѣрный. А то и мнѣ въ тюрьму? Не выдамъ по ордеру, пока не докажутъ и мнѣ кредитоспособность!" Ха-ха! Военныя дѣла исключены изъ вѣдома гражданскихъ судовъ и отданы спеціальнымъ. Потому что штатскіе въ военныхъ дѣлахъ ничего не понимаютъ. Ну, а въ спеціально банковскихъ дѣлахъ...

Онъ развелъ руками и разсмѣялся снова:

— Предполагается, что всякій понимаетъ! Но разъ такъ,—такъ. Повторяю, въ приговорѣ гг. судей меня ничто не удивляетъ. Одному — три года тюрьмы, другому—два. Это съ ихъ точки зрѣнія такъ. Но кто бы меня могъ удивить, это—публика! У нея-то откуда эта кровожадность и требованіе „серьезнаго" приговора и радость по поводу него?

Публика своимъ злорадствомъ могла бы еще заставить меня удивиться, если бъ я ясно не видѣлъ, что тутъ ошибка гг. защитниковъ. Среди нихъ были прета-

лантливые люди, и рѣчамъ г. Гольдштейна и Куперника могли аплодировать сколько угодно. Но они сдѣлали огромную ошибку!

Онъ говорилъ наставительно:

— Ошибка—допустить въ толкованіяхъ „преступленія", что подсудимые вмѣстѣ съ покойнымъ Алчевскимъ дѣлали какое-то общественное дѣло, возбуждая къ жизни промышленность! Этого публика никогда не проститъ! Кражу — проститъ. Растрату — проститъ. Присвоеніе — проститъ. Но „а вы хотѣли общественное дѣло дѣлать!"— этого никогда не проститъ. Это уже звучитъ укоромъ. Это звучитъ гордостью. „Что жъ ты за цаца такая выискался?—думаетъ обиженная публика.—Мы всѣ живемъ, никто ни о какихъ „общественныхъ дѣлахъ" не думаетъ! Ты что одинъ за праведникъ выискался? Промышленность „пробуждать" желалъ. Ну и посмотри, братецъ, каково ее пробуждать!" И довольна, когда „пробудителя" упрячутъ. „Не старайся быть выше другихъ!" Публика, вообще единственно чего простить не можетъ, это— „заботы объ общественныхъ интересахъ". — „Кто тебя просилъ заботиться-то?—спрашиваетъ она.— На это начальство есть. А ты что за выскочка? Живемъ же мы... хуже тебя, что ли"... Вотъ, напримѣръ... pardon...

Онъ сдѣлалъ ко мнѣ очень мягкій жестъ сигарой, чтобъ не уронить пепелъ:

— Вы, гг. журналисты. Отчего васъ не любитъ публика? „Объ общественномъ благѣ заботятся, — скажи, какой выискался". Россійская публика не любитъ „такихъ". Которые заботятся не о своемъ брюхѣ, а объ „общественномъ интересѣ". Это звучитъ ей, повторяю, укоромъ, оскорбленіемъ. Она не прощаетъ этого, какъ не прощаютъ оскорбленія. Это худшее преступленіе въ ея глазахъ. Въ банкѣ исчезли деньги...

Онъ пожалъ плечами и взглянулъ вверхъ, словно призывая небеса во свидѣтели.

— Что же тутъ такого?

— Общественныя деньги! Деньги, неизвѣстно кому принадлежащія. Одна ступень отъ казенныхъ денегъ. А про казенныя деньги еще Alexandre Herzen сказалъ: „Три вещи присвоивать никогда у насъ не считалось кражей: чужую собаку, чужую книгу и казенныя деньги“. У человѣка семья, у человѣка дѣти, — онъ присвоилъ себѣ неизвѣстно кому принадлежащія деньги! Десять человѣкъ позавидуютъ, двадцать умилятся: „Хорошій отецъ!“ Никто не разсердится: „Это водится, водилось, да и будетъ такъ вестись“. Всякій посочувствуетъ: „Съ одной стороны свои дѣти, съ другой — чужія деньги. Кого предпочесть?“ Тысячи людей въ глубинѣ души подумаютъ: „И я бы такъ же сдѣлалъ!“ Но вы не украли эти деньги, а хотѣли на нихъ какое-то „общественное дѣло“ сдѣлать. Всякій оскорбленъ. „А! Ты на чужія деньги въ благодѣтели своего отечества хотѣлъ вылѣзть? Да кто тебя просилъ? Да твое ли это дѣло?“ И всякій почувствуетъ себя обиженнымъ, словно вы его на голову покушались перерасти. Унизить его желали! Всякій завопитъ: „Этакъ-то легко! Этакъ-то и я бы въ благодѣтели своего отечества вылѣзъ!“ И общественный приговоръ оскорбленнаго общественнаго мнѣнія готовъ. Всякая попытка сдѣлать что-нибудь въ „общественныхъ интересахъ“ есть оскорбленіе обществу. Вы замѣтьте, никого у насъ не сопровождаютъ такимъ гиканьемъ, уханьемъ, свистомъ, какъ сверзившагося, даже только споткнувшагося общественнаго дѣятеля. „Ты гордъ былъ,—не ужился съ нами“. Въ обществѣ, гдѣ каждый думаетъ только о себѣ, не слѣдуетъ говорить ни о какомъ „общественномъ интересѣ“! Вездѣ надо говорить на языкѣ страны. И со стороны защиты, какъ бы талантлива она ни была, большая ошибка объявить своихъ кліэнтовъ не просто ворами, а людьми, которые „хотѣли что-то сдѣлать въ общественныхъ интересахъ...“

Онъ взглянулъ вдохновенно.

— Предположимъ невозможное. У меня бы въ банкѣ оказалось „неблагополучно“. Что бы я сдѣлалъ? Окружилъ бы себя дѣтьми. Даже напрокатъ прнананялъ бы. И вмѣнилъ бы защитнику въ обязанность сказать только: „Вотъ онъ, вотъ его дѣти, вотъ что онъ укралъ. Для кого? Для дѣтей. Что ему было выбирать? Чужія деньги принести въ жертву своимъ дѣтямъ или, Господи...“ Тутъ бы его голосъ долженъ былъ задрожать. „Или, подобно тѣмъ идольскимъ родителямъ, собственныхъ дѣтей принести въ жертву Молоху—деньгамъ?“ Всѣ содрогнулись бы. И каковъ бы ни былъ приговоръ суда, — это дѣло другое!—но общество не было бы противъ меня. Кто швырнулъ бы камень? „Хорошій отецъ!“ Кто швырнулъ бы камень въ „хорошаго отца“? Да!—заключилъ онъ со вздохомъ.—Это была большая ошибка со стороны защиты—взвести на своихъ кліэнтовъ, кромѣ обвиненія въ небрежномъ обращеніи съ деньгами, еще и обвиненіе въ желаніи „заботиться о дѣлахъ общественнаго значенія“.

Сигары были уже докурены, мы вышли уже изъ отеля и шли горной тропинкой, направо и налѣво были площадки, засѣянныя южнымъ темно-пурпурнымъ клеверомъ.

— Клеверъ! — умиленно воскликнулъ банковскій faiseur. — Знаете что! Одна головка клевера больше говоритъ мнѣ о Россіи, чѣмъ всѣ наши пустыя газеты. Гдѣ есть все про Португалію, и почему г-жа Лухманова плохая писательница, и что въ какомъ театрѣ играли и будутъ играть, — и ничего про Россію. Когда я хочу здѣсь, на чужбинѣ, представить себѣ Россію, я беру не наши газеты, а голову клевера, и мну ее въ рукахъ и нюхаю...

Онъ размялъ цвѣтокъ клевера и съ упоеніемъ вдохнулъ.

— На меня дышитъ ширью родныхъ полей. Это ихъ запахъ, ихъ ароматъ. „Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!" Какая прелесть. Такъ бы и съѣлъ!

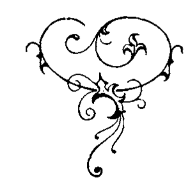
— Кого? Россію?—боязливо спросилъ я.

Онъ расхохотался.

— Клеверъ!

И на правахъ старой дружбы слегка толкнулъ меня въ плечо:

— Farçeur!



Отцы и дѣти.

У меня есть сынъ. Единственный. Ему 21 годъ. Онъ студентъ и живетъ въ комнатѣ, которую, по старой привычкѣ, зовутъ „дѣтской“.

Жена такъ и говоритъ горничной:

— Маша, пойдите въ дѣтскую и позовите Ивана Петровича пить чай.

„Иванъ Петровичъ“ и „дѣтская“!

Люблю ли я сына?

Больше всего на свѣтѣ.

Для него я работаю. Состояніе, которое я нажилъ трудомъ, отказывая себѣ во многомъ,—для него.

— Все ему достанется! — говоримъ мы другъ другу съ женой.

И эта мысль наполняетъ меня теплымъ и счастливымъ чувствомъ.

Если бъ съ нимъ случилось несчастіе, — это бы меня убило.

И вотъ, когда я началъ думать о своихъ отношеніяхъ къ сыну, — оказалась преудивительная вещь.

Оказывается, что съ этимъ существомъ, самымъ близкимъ, самымъ дорогимъ мнѣ въ жизни, я говорю меньше, чѣмъ съ людьми, которые мнѣ совершенно безразличны, совсѣмъ неинтересны, даже противны!

Съ любымъ изъ моихъ сослуживцевъ я говорю въ теченіе дня гораздо больше! Съ какимъ-нибудь Сидо-

ромъ Сидорычемъ, идіотомъ изъ идіотовъ, я разговариваю куда больше, чѣмъ съ моимъ сыномъ!

И Сидора Сидорыча я знаю гораздо больше, чѣмъ моего собственнаго сына!

Когда мы встрѣчаемся съ сыномъ, у насъ обыкновенно рты бываютъ чѣмъ-нибудь набиты.

Мы жуемъ или пьемъ.

Полтора часа обѣдъ. Полчаса вечерняго чаю.

А когда все прожуемъ, сынъ подходитъ ко мнѣ и матери.

— Merci, papa. Merci, maman.

И уходитъ въ „дѣтскую" сфинксомъ для меня.

Въ моемъ домѣ живетъ сфинксъ!

И этотъ сфинксъ—мой собственный сынъ.

Жена очень любитъ сына. Любитъ до безумія.

Но эта любовь всегда возбуждала во мнѣ улыбку.

Она любитъ, какъ скульпторъ любитъ свое созданіе.

Когда онъ ѣдетъ куда-нибудь съ нею, она оглядываетъ его съ нѣжностю и гордостью:

— Вотъ каково у меня произведеніе!

Когда онъ поздно не возвращается, когда уходитъ съ товарищами, она ужасно безпокоится.

Такъ скульпторъ боится, — не разбили бы его твореніе!

Это совершенно „скульптурная любовь".

Она считаетъ сына, конечно, первымъ красавцемъ въ мірѣ. И очень гордится.

— У него мой носъ, мои глаза, мои брови, мои губы.

Хотя, собственно-то говоря, сынъ похожъ на меня.

Когда онъ былъ маленькимъ, у насъ изъ-за этого происходили горячіе споры!

— Ну, гдѣ жъ это твой носъ? — возмущалась она.

— Подожди, дай подрости!

— Вылитый мой портретъ!

— Вылитый я!

Это былъ споръ двухъ скульпторовъ.

Кто создалъ это произведеніе?

Спорили изъ-за подписи подъ нашей статуей.

— Я хочу, чтобъ сынъ мой относился ко мнѣ съ довѣріемъ и уваженіемъ, какъ къ человѣку просвѣщенному и передовому.

И выписываю „Вѣстникъ Европы“ и „Русское Богатство“.

Однажды „Иванъ Петровичъ“ — всѣ въ домѣ такъ зовутъ сына — обратился ко мнѣ:

— Папа, я тебя хотѣлъ спросить, зачѣмъ ты выписываешь эти журналы? Они лежатъ неразрѣзанными!

Я смутился, сконфузился, даже покраснѣлъ.

— Ты отлично знаешь, что отецъ занятъ дѣлами. Мнѣ некогда читать. А вотъ поѣду за границу, — захвачу ихъ съ собой, на досугѣ прочитаю.

Онъ засмѣялся.

— Папахенъ! Милый! Неужели ты повеѕешь съ собою цѣлую библіотеку старыхъ журналовъ?

Я вышелъ изъ себя. Я разсердился. Я наговорилъ ему массу рѣзкостей.

Прежде дѣти были въ повиновеніи у родителей. Это, можетъ-быть, глупо. Можетъ-быть, деспотично.

Теперь родители должны находиться въ полномъ повиновеніи у своихъ дѣтей? Это еще глупѣе!

Скоро родители должны будутъ спрашиваться:

— Скажи, милый сыночекъ, можно мнѣ сдѣлать то-то? Ты не разсердишься?

— Можно мнѣ, сыночекъ, пойти туда-то? Ты меня отпускаешь? Можно мнѣ прочитать такую-то книжку? Ты дозволяешь?

А дѣти будутъ запрещать, разрѣшать и распекать:

— Этого тебѣ читать не слѣдуетъ. Это глупо, а этого ты все равно не поймешь. Ты не пойдешь больше

въ клубъ, — ты не умѣешь себя вести! Ты пойдешь въ театръ, — эту пьесу тебѣ можно посмотрѣть! Пожалуйста молчи, когда молодежь разговариваетъ! Сколько разъ тебѣ говорили? Когда молодежь говоритъ, старшіе должны молчать и слушать!

Это деспотизмъ! Это чортъ знаетъ что! Деспотизмъ молодежи!

Сынъ слушалъ меня съ удивленнымъ лицомъ.

— Папа, милый! Что съ тобой? Да развѣ я тебя хотѣлъ обидѣть. Я только насчетъ журналовъ, которыхъ ты не читаешь, а зачѣмъ-то выписываешь...

Онъ поцѣловалъ меня и сказалъ:

— Если это дѣлается для меня, то зачѣмъ? Я тебя и такъ люблю!

Я готовъ былъ заплакать. Странно. Я чувствовалъ себя передъ сыномъ маленькимъ мальчикомъ, котораго старшій поймалъ въ хитрости и простилъ.

Я готовъ былъ заплакать отъ слабости.

Я почувствовалъ, что въ моихъ отношеніяхъ къ нему,—ну, вотъ хотя бы въ этихъ журналахъ, которые выписываются „чтобъ онъ видѣлъ", есть что-то заискивающее передъ нимъ.

Странныя нынче отношенія между отцами и дѣтьми!

Я работаю для него, но я еще долженъ въ этомъ извиняться. Выписывать какіе-то журналы.

— Ты не думай, что я совсѣмъ ужъ погрязъ въ дѣлахъ! Нѣтъ, братъ, я и по части духовной жизни...

Я всегда долженъ словно за что-то просить прощеніе.

Когда я говорю въ его присутствіи,—я стараюсь подчеркнуть, что думаю, какъ передовой человѣкъ.

— Ты не думай, молъ, что я совсѣмъ ужъ свинья.

И я прошу, прошу, прошу за что-то прощенія у моего сына. Непрестанно! Оправдываюсь, извиняюсь, извиняюсь, оправдываюсь въ чемъ-то!

За что? Въ чемъ?

У насъ бываютъ гости, и разъ здѣсь стоитъ молодой человѣкъ,—по теперешней дурацкой манерѣ, разговоръ сейчасъ же сходитъ:

— Что такое теперешніе молодые люди?

Всѣ сокрушенно вздыхаютъ.

— Ахъ, теперешніе молодые люди!

Думаютъ, что это очень поучительно для молодыхъ людей.

Я внимательно слѣжу за сыномъ.

Какъ-то кто-то завелъ обычную волынку о распаденіи семьи.

— Нѣтъ теперь больше семьи. Какая теперь семья?

Я замѣтилъ, какой взглядъ, полный величайшаго презрѣнія, кинулъ на него мой сынъ.

Этотъ взглядъ говорилъ:

— Мерзавецъ! Какую дрянь ты бормочешь грязной, мокрой красной тряпкой, которая болтается у тебя во рту!

И когда мой сынъ, уходя спать, подошелъ по обыкновенію поцѣловать меня въ щеку, я крѣпко сжалъ его руку. Онъ отвѣтилъ мнѣ крѣпкимъ, мужественнымъ пожатіемъ руки.

Мы не сказали ни слова.

Мы только смотрѣли другъ другу въ глаза.

И этимъ крѣпкимъ, дружескимъ рукопожатіемъ мы скрѣпляли какъ будто твердую крѣпость нашей семьи.

Мои глаза наполнились слезами.

— Мой милый мальчикъ!

Онъ улыбнулся мнѣ и нагнулъ свою милую русую голову къ моей рукѣ.

— Твой мальчикъ...

Я отдернулъ руку и крѣпко обнялъ его.

А все-таки это безпокойство! Это безпокойство!

Въ другой разъ одинъ тоже дуракъ поднялъ вопросъ:

— Что теперь за молодежь! Вотъ мы, когда были!

Я поймалъ взглядъ сына.

Онъ глядѣлъ на насъ, хваставшихся „какой молодежью мы были“, даже безъ ироніи. Въ его взглядѣ былъ просто вопросъ:

— Что же изъ васъ вышло, мои друзья?

И мнѣ вдругъ стало стыдно, совѣстно передъ сыномъ, что изъ меня, мечтателя, вышелъ самый обыкновенный буржуй.

И самая любовь моя къ сыну, „къ моему творенію“, показалась мнѣ любовью не особенно высокой пробы. Экая, подумаешь, добродѣтель!

Въ моемъ домѣ есть судья. Который судитъ меня, судитъ непрестанно.

И я долженъ передъ нимъ извиняться, оправдываться, вилять.

И этотъ судья—„мое твореніе“.

И подсудимый—я.

Я, отдавшій ему всю жизнь. Я—подсудимый!

Что такое мой сынъ?

Какъ-то года два назадъ, когда въ его присутствіи зашелъ разговоръ о матеріяхъ важныхъ, и мы при молодомъ человѣкѣ, желая показать себя, разлиберальничались, онъ сказалъ, взволнованный, съ горящими глазами. Онъ—пылкій мальчикъ.

— Всеобщій переворотъ. Ничего нѣтъ легче. Пусть всякій начнетъ переворотъ съ себя. Пусть всякій передѣлаетъ себя. И тогда завтра же на свѣтѣ воцарятся добро и справедливость!

Кто-то засмѣялся:

— Ну, знаете, каждый начнетъ себя передѣлывать по-своему,—такого надѣлаютъ... Такими экземплярами наполнится міръ!

Ваня блѣднѣлъ все сильнѣе и сильнѣе.

— Зачѣмъ? Путь указанъ.

— Всѣмъ? Одинъ?

— Да.

— Кѣмъ?

— Христомъ. Любите ближняго. Не имѣйте ничего своего. Не прибѣгайте къ насилію.

Онъ толстовецъ.

Съ годъ тому назадъ одинъ изъ моихъ друзей, старый либералъ-народникъ, пустился говорить объ этомъ непочатомъ углѣ—русскомъ деревенскомъ людѣ.

— Вотъ новина! Вотъ черноземъ еще не вспаханный! Какіе клады таятся въ немъ! И когда эти сокровища, которыя таятся въ его дремлющемъ сознаніи, откроются...

Я съ ужасомъ замѣтилъ презрительную улыбку, которая скользнула по губамъ моего сына.

— Добрые земледѣльцы! Мелкіе собственники въ душѣ. Трусливые зайцы! Боящіеся сдѣлать шагъ впередъ,— какъ бы не потерять ихъ грошовую „собственность"!

Мой сынъ—марксистъ.

Какая же изъ этихъ волнъ захватитъ его и унесетъ?

Господи, не дай погибнуть моему мальчику!

Какъ бы мнѣ хотѣлось проникнуть въ его душу, во всѣ его мысли.

Какъ я завидую, мучительно завидую каждому изъ его товарищей. Съ ними онъ говоритъ какъ съ равными.

Они знаютъ все. Его мысли, его сомнѣнія, его малѣйшія намѣренія.

И ничего этого не знаю я. Я, его отецъ!

Жена,—та спокойна.

— Что ты? Оставь его. Мальчикъ, какъ мальчикъ.

Но мнѣ страшно. Мнѣ страшно. Мнѣ до ужаса страшно.

Какъ-то я пошелъ въ „дѣтскую" именно тогда, когда у него сидѣли товарищи.

Было накурено, шумно и весело.

Когда я пришелъ,—стало скучно.

Я наотмашь пожалъ имъ всѣмъ руки и усѣлся съ самымъ товарищескимъ видомъ.

— Ну-съ, о чемъ, господа, идетъ споръ? Дайте вспомнить старину!

Разговоръ не клеился. Я былъ лишнимъ среди нихъ. Не стѣснялъ, не мѣшалъ. Просто былъ лишній. Какъ старикъ или маленькій ребенокъ бываетъ лишнимъ въ кругу молодежи.

Они переглядывались.

И въ ихъ взглядахъ я читалъ:

— Скоро ли этотъ папахенъ уйдетъ?

Вотъ слово, которое я ненавижу.

„Папахенъ".

Сынъ сталъ меня такъ звать съ тѣхъ поръ, какъ перешелъ въ университетъ.

Въ этомъ словѣ есть что-то ласково-ироническое, нѣжно-уничтожающее.

Словно я сталъ маленькимъ въ его глазахъ.

Маленькимъ выдумываютъ ласкательныя и забавныя клички!

И у меня никогда не хватало духа протестовать и потребовать, чтобы онъ меня такъ не звалъ.

Я боялся показаться мелочнымъ, глупообидчивымъ и вздорно требовательнымъ.

Какъ же меня звать? „Родитель"?

Итакъ, тогда „папахенъ", посидѣвъ минутъ десять, ушелъ.

И когда за мной закрылась дверь,—я съ горемъ услышалъ, какъ шумъ, смѣхъ, споръ снова поднялись тамъ, у нихъ...

Вѣдь не подслушивать же мнѣ было у двери!

На-дняхъ я, наконецъ, не выдержалъ и сказалъ моему сыну:

— Ваня, намъ надо съ тобой объясниться!

Онъ разсмѣялся.

— Что это ты, папахенъ? Какъ въ пьесѣ! „Объясниться“. Это въ современныхъ пьесахъ очень принято это выраженіе! Жена подходитъ къ мужу, мужъ къ женѣ, отецъ къ сыну: „намъ необходимо объясниться“! „Объясниться насчетъ нашихъ настроеній“. Итакъ, насчетъ какихъ же „настроеній“ угодно тебѣ, папахенъ, „объясниться“. Объясняйся! Настроенный сынъ твой тебя слушаетъ!

Я замѣтилъ:

— Не смѣйся. Я говорю серьезно. Рѣчь идетъ о твоемъ духовномъ „я“. О твоихъ мысляхъ, вѣрованіяхъ. Я—твой отецъ и хотѣлъ бы...

Онъ сталъ вдругъ совершенно серьезенъ.

— Ахъ, это вотъ о чемъ. Отецъ, я самъ хотѣлъ поговорить съ тобой объ этомъ. Неужели ты думаешь, я не замѣчаю, какъ ты безпокоишься, волнуешься, тревожишься.

— Ну, и что же?

Сынъ обнялъ меня.

— Отецъ. Ты увѣренъ, что я тебя люблю? Увѣренъ? Ну, и все. И будетъ съ тебя.

— Но я хотѣлъ бы...

— Ты хотѣлъ бы, чтобы твой сынъ былъ точной твоей копіей? Желаніе всѣхъ родителей! Чтобы я и сейчасъ, двадцатилѣтній юноша, думалъ, чувствовалъ, видѣлъ какъ ты, мой пятидесятилѣтній старичокъ? Да? Чтобъ былъ твоимъ точнымъ образомъ и подобіемъ. Но подумай, папахенъ, что было бы съ міромъ, если бы дѣти представляли собой точное, второе изданіе ихъ отцовъ. Вѣдь міръ не двинулся бы никогда ни на шагъ. Если бъ Каинъ и Авель были во всемъ точными копіями Адама и Евы,—мы и по сію пору ходили бы въ одеждѣ изъ листьевъ!

— Ваня, мнѣ не до шутокъ.

— И я не шучу, отецъ. Смотри. Первый и величайшій изъ творцовъ—Самъ Творецъ. Онъ создалъ человѣка по образу и подобію Своему, но далъ ему свободную волю. „Дальше будь тѣмъ, чѣмъ хочешь". Ты добрый и честный человѣкъ. Довольствуйся тѣмъ, что я буду тоже добрымъ и честнымъ человѣкомъ на всякомъ пути, который себѣ изберу. Изберу самъ, свободно!

— Ага! И я, по-твоему, не имѣю права участвовать...

— Въ выборѣ пути для меня? Въ выборѣ образа мыслей? Въ выборѣ симпатій, антипатій? Въ выработкѣ взглядовъ? Но какой же совѣтъ ты можешь мнѣ подать? Я его знаю заранѣе. „Будь такимъ, какъ я". Всѣ родители скажутъ одно и то же. Знаешь, папа, мнѣ кажется, что матери любятъ своихъ дѣтей болѣе осмысленной любовью, чѣмъ отцы. Мама, напримѣръ. Она очень любитъ меня и довольна тѣмъ, что я на нее похожъ. Что у меня ея носъ, ея глаза, ея брови. Но вѣдь она не требуетъ, чтобъ я во всемъ уже былъ совсѣмъ, какъ она. Чтобъ я носилъ юбки, длинные волосы...

— Ты смѣешь смѣяться надо мной? Мальчишка! Дрянь!

Я былъ взбѣшенъ. Мнѣ хотѣлось сказать ему что-нибудь обидное, злое, заставить его страдать.

— Слушай ты, мальчишка!

Его лицо было полно досады. Онъ пожалъ плечами.

— Добавьте еще: „неблагодарный"!

— Да, да! Неблагодарный! Я въ свое время былъ такимъ же, какъ и ты! И такъ же отвѣчалъ своему отцу. Но мой отецъ былъ крѣпостникъ. Это было другое время. Я не знаю, чѣмъ теперь увлекаетесь вы,—мы естественными науками. И тамъ искали законное общежитіе. Когда отецъ замѣтилъ мнѣ, что я не таковъ, какимъ онъ хотѣлъ бы меня видѣть,—я отвѣтилъ ему „умной" тирадой. „Человѣкъ самое нелѣпое изъ существъ, потому что онъ единственное, которое желаетъ во что бы то ни стало

уклониться куда-то въ сторону отъ законовъ природы. Посмотрите, во всемъ животномъ мірѣ, — родители пекутся о дѣтяхъ до тѣхъ поръ, пока дѣти не окрѣпли физически. А дальше лети, бѣги, ползи куда хочешь!“ Мой отецъ заплакалъ: „Что же, ты хочешь, чтобъ мы жили, какъ животныя?“ Для меня это были смѣшныя слезы. „Слезы ретроградa“. И вотъ теперь это мнѣ наказаніе за тогдашнее! Въ сынѣ я наказанъ за отца.

Онъ снова пожалъ плечами.

— Ты самъ говоришь. Изъ поколѣнія въ поколѣніе повторяется одно и то же.

— Да, да! Одно и то же! Неблагодарность, это—единственное, на что мы можемъ, должны разсчитывать отъ дѣтей. Растить ихъ, холить, лелѣять, работать на нихъ, не спать изъ-за нихъ ночей отъ тревоги, — и въ одинъ прекрасный день получить за все, за все въ отплату, въ награду—неблагодарность!

— Если это всегда, со всѣми отцами, — значитъ, это законъ жизни! Его же не прейдеши.

— Слушай же ты! Выросшій щенокъ! Вотъ тебѣ мое проклятіе!

Я не помнилъ себя, что говорилъ.

— Вотъ мое проклятіе! Придетъ день, придетъ часъ,— и какъ я теперь къ тебѣ, какъ мой покойный отецъ ко мнѣ, такъ и ты обратишься къ твоему сыну. Съ тѣми же словами. И твой сынъ отплатитъ тебѣ за меня. Онъ скажетъ тебѣ: „Не твое дѣло!“ И это будетъ местью за меня.

Сынъ улыбнулся смѣло и вызывающе:

— Ну, и пусть! Пусть скажетъ: „Не твое дѣло!“ Я отвѣчу ему: „Да, ты правъ. Это, дѣйствительно, не мое дѣло!“

Слезы душили меня.

— Нѣтъ, врешь, врешь, мальчишка! Тогда старый, со слезами въ горлѣ, ты не отвѣтишь этого... ты

не отвѣтишь... не отвѣтишь... Ты тоже заплачешь... какъ я...

Сынъ кинулся передо мной на колѣни.

— Папа... Папа...

Я отвернулся и ушелъ.

Мнѣ надо было проходить черезъ комнату моей старухи.

— Что вышло?—обезпокоилась она.

— Пойди къ *твоему* сыну!—крикнулъ я ей.

Она пожала плечами:

— Не говори глупостей!

Но неужели сынъ правъ?

И то, что мы называемъ „неблагодарностью дѣтей“, есть только непреложный законъ жизни?



Въ Татьянинъ день.

Ахъ, Господи Боже мой! Ты мнѣ уголовный фракъ подаешь! Дай тотъ, который по гражданскимъ дѣламъ... постарѣе. Ну, вотъ! Слава Тебѣ Господи... До свиданія, цыпленочекъ! Обѣдать? Нѣтъ, обѣдать буду въ Эрмитажѣ. Да развѣ же ты забыла? Татьянинъ день сегодня... Да мнѣ бы и самому, признаться, не хотѣлось, да неловко... традиція, знаешь... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Духовъ не надо. Праздникъ демократическій! Молодежь, понимаешь, горячая... Ну, и выпившая. Слово имъ скажу Можетъ, качать будутъ. Услышатъ, что отъ меня духами, — могутъ бросить... Да нѣтъ, душечка, не безпокойся. Теперь какая „Татьяна"? Теперь, строго говоря, и никакой Татьяны-то нѣтъ. Такъ! Традиція!.. Ахъ, прежде? Это дѣйствительно! На пальму лазалъ, это— вѣрно. И въ бассейнѣ купался! Все помнишь?.. Нѣтъ, теперь! нѣтъ! Теперь не то!.. Да ей Богу же, ни въ одномъ глазу!.. Рано! Рано!.. Ну, какія тамъ пѣвицы!

— Онисимъ, въ Эрмитажъ. Да не въ театръ, дура. Въ ресторанъ... Можешь ѣхать домой. Меня не дожидайся.

— Здравствуй, Герасимъ!.. И тебѣ также!.. Тфу, то бишь, спасибо, спасибо, голубчикъ. А много празднующихъ-то? Ого! И Иванъ Ивановичъ ужъ здѣсь? И Петръ Петровичъ? А Семенъ Семенычъ? И Семенъ Семенычъ?! Чортъ, вѣчно опоздаю. Отдѣльно положи! Отдѣльно! Смотри, не перепутай! Соболья. То-то!

— Иванъ Иванычу! А, Семенъ Семенычъ! Съ праздникомъ, коллега! Съ Татьяной-съ, Петръ Петровичъ, съ Татьяной-съ. Да, какъ вамъ сказать?! Года два еще, пожалуй, протянется! Конкурсное дѣло оно... Кто это, Козьма Прутковъ, кажется, еще сказалъ: „двѣ вещи трудно окончить, разъ начавъ дѣлать: вкушать пріятную пищу и чесать, когда чешется“. А конкурсное дѣло, оно всегда чешется. Хе-хе! Шутникъ, Никифоръ Ѳедоровичъ. За ваше-съ!

— Мнѣ бы, собственно, не слѣдовало. У меня, знаете ли, Остроумовъ нашелъ... За ваше-съ!.. Я Виши пью.

— Сеня! Голубчикъ! Лѣтъ-то, зимъ-то сколько! Постарѣлъ-то какъ! Ай-ай-ай! Да неужели учительствуешь? Ахъ, бѣдняга, бѣдняга! А юриспруденцію по боку? Не повезло? Географію преподаешь? А! Жизнь-то какъ! Какъ разметала? А? Съ удовольствіемъ, братъ, выпью! Со старымъ-то закадыкой?! Вотъ рекомендую, братъ, салатъ Оливье. Это изъ дичи. Да ты это не отбрасывай! Это, братъ, трюфель! Да ты съѣшь, съѣшь. Хорошо? То-то и оно-то! Чеаэкъ! Рейнской у васъ лососины нѣтъ? Ахъ, географія, географія! Вотъ рекомендую! Каждый, братецъ ты мой, слой своимъ жиркомъ переложенъ. Такъ сказать, не рыба, а бутерброты, самой природой приготовленные! Рекомендую. Поѣсть? Поѣсть люблю. А прежде? Челыши помнишь? А Петька? Кирсановъ Петька! Веселый былъ малый, горячая голова! Гдѣ теперь Петька?! Ахъ, жизнь, жизнь, всѣхъ пораскидала! Выпьемъ за молодость, за Петьку! Да неужто онъ? Этотъ? Лысый? Петь... Петя! Господи! Господи!

Ахъ, вы въ газетахъ пишите? Ну, и какъ это... то-есть, я хотѣлъ сказать... въ смыслѣ заработка... ничего?.. Pardon, мнѣ вотъ съ предсѣдателемъ надо...

Какъ изволите видѣть... Покорнѣйше благодарю, и жена! Ваше превосходительство, выпьемъ!.. Татьянинъ день!.. Ну, что такое рябиновая? Ваше превосходитель-

ство, казенной? Всѣ мы казенные, и водка казенная! In vino veritas! И правда казенная! А это, ваше превосходительство, Сеня. Закадыка мой, ваше превосходительство! Сеня! Географію учитъ! А? Ваше превосходительство? Россія-то? Силы на что тратятся? А? Силы,—и географіи учатъ! Ваше превосходительство, еще рюмочку! Одну! За силы, за гибнущія силы! А?

Ушелъ, — и чортъ съ нимъ. Бюрократія. А я свободной профессіи! Свободной и наливай водки! Свободной, мнѣ ни къ кому подлизываться не надо! Нѣтъ, братъ, шалишь, меня не перервешь! Свободной! Сеня! Г. Кирсановъ!.. Петръ... Петръ... Какъ его по отчеству?.. Вы хоть и враждебнаго лагеря, но выпьемъ! За старое! За молодость! За Alma mater! Дай Богъ, чтобъ ея традиціи вы высоко несли и въ журналистикѣ! Чтобъ и на этомъ пути вы не забывали!.. Да вы не обижайтесь! Печать, это—святое дѣло! Къ ней нужно дотрогиваться чистыми руками! Чистыми-съ! Чистыми-съ! Вамъ говоритъ старый студентъ! Старый студентъ Московскаго университета!.. И буду себя бить въ грудь! И никакого скандала... И выпьемъ. И вотъ я тебя поцѣловалъ, и его поцѣлую. И закушу колбасой.

Колбаска! Господи! Помнишь, братъ? Петька! Помнишь? Бронная, колбаса, идеалы! Сеня! Давай колбасу поцѣлуемъ. Плачу, братъ, плачу! Святыя слезы! Святыя, да! И колбаса святая! И молодость святая!

„Куда, куда вы удалились“...

Ну, не буду пѣть! Не нужно, и не нужно! А колбасу я уважаю! Символъ! Вѣрили, пока колбасу ѣли! А теперь, братъ, устрицы насъ съѣли! Устрицы! И омаръ съѣлъ! Гдѣ омаръ? Дать мнѣ сюда изъ него салатъ! Я его съѣмъ!

Омара я презираю, — потому омаръ подлецъ, а колбасу уважаю, потому что она честная! Омаръ — подлецъ, а колбаса — честная! И дать мнѣ сюда колбасы! Ахъ,

копченая! Я и копченую уважаю! И копченую на Бронной ѣлъ!.. На Бронной! Великое слово: на Бронной... Вы, молодой человѣкъ, какого курса? Ахъ, второго! А мы, молодой человѣкъ, вѣрили! Мы вѣрили! юноша! Вѣрили! Мы въ свое время, юноша... Выпьемъ съ тобой на брудершафтъ!.. Мы въ ваши годы на Бронной жили! На Бронной! Ко мнѣ Глашенька ходила. Бѣлошвейка — Глашенька. Въ веснушкахъ она была. Въ веснушкахъ носъ у нея! Не встрѣчали? А вообще дѣвица доброкачественная. И выхожу я противъ Глашеньки подлецъ! Подлецъ я! Понимаете, подлецъ! Налей подлецу водки!

„Gaudeamus igitur"...

Желаете, я на Глашенькѣ женюсь? Да! И женюсь! Разведусь съ женой. Она у меня умная, она пойметъ, передовая женщина! Жена у меня ангелъ! А я съ ней разведусь. Непремѣнно разведусь! А Глашенька теперь, небось, въ богадѣльнѣ. А я, — мнѣ все равно! Я долженъ! Я и въ богадѣльню приду, въ ноги ей поклонюсь. Какъ Нехлюдовъ въ „Воскресеніи" у Толстого! Да! Послать Толстому телеграмму: „Развожусь съ женой, женюсь на Глашенькѣ. Уррра!"

Я и не ору. И Михайловскому телеграмму! Всѣмъ телеграммы. Я, молодой человѣкъ... Позвольте, какъ же вы можете быть на второмъ курсѣ, когда у васъ сѣдая борода? И почему вы не въ формѣ, а въ бѣломъ? Ахъ, это официантъ! Все равно! Дайте и официанту водки! Пусть пьетъ! Я, братъ, Михайловскаго вотъ какъ помню! Я только названія забылъ, а я помню! Стой! Какъ? „Дарвинъ и Оффенбахъ". Видишь, какъ помню?! Я, братъ, на „Дарвинѣ и Оффенбахѣ" воспитанъ! Я всосалъ! Дать ему водки! Пусть и онъ! Что жъ изъ того, что онъ человѣкъ! Человѣкъ! Это звучитъ гордо! Это не ты, не я, не онъ! Это ты, я, онъ, Наполеонъ... еще кто? Гладстонъ! Чемберленъ! Человѣкъ! Человѣкъ!.. Ни-

чего мнѣ не нужно! Что вы сбѣжались? Я просто какъ Горькій! Послать Горькому телеграмму! Пусть пріѣзжаетъ! Желаю съ Горькимъ обѣдать! Нѣтъ, не желаю итти за столъ. Съ Горькимъ желаю! На какомъ основаніи „Мѣщане“? Почему „Мѣщане“? Отчего онъ ругается? Нѣтъ, у насъ съ Горькимъ большой разговоръ будетъ! Посадите меня рядомъ съ Горькимъ! Ахъ, нѣтъ Горькаго? Нѣту Горькаго? Въ такомъ случаѣ, я въ супъ окурокъ. Это что? Потажъ а ля кремъ? А я въ него окурокъ! И въ рыбу окурокъ положу! И во все окурокъ положу! Я протестую! Протестую! Въ Пензенской губерніи неурожай кормовыхъ травъ, а вы въ это время супъ-потажъ ѣсть можете? Чеаэкъ! Дай сюда мнѣ тарелку супа! Я въ него плюну! Пусти меня на столъ, я имъ все это со стола скажу! Нѣтъ, ты меня за фалды не держи! Что фалда? Фалда лакейское! Хочешь, я самъ себѣ фалду оторву? Не желаю съ сегодняшняго дня ничего лакейскаго! И не желаю! На столъ желаю! А фалда вотъ тебѣ! На! Подавись! На столъ, и на столъ! А ты стулъ изъ-подъ меня не выдер...

Позвольте, почему вездѣ ноги? Ни одного лица и однѣ ноги! Всѣ вверхъ ногами стали? Почему ноги? И почему здѣсь темно? Ахъ, подъ столомъ?! Понимаю! Понимаю! Протестующую личность подъ столъ спрятали?! Неудобно вамъ? Неудобно? Подлецы! Подлецы!! Ну, да я и подъ столомъ ходить буду. Желаете, я со всѣхъ сапоги снимать буду? Всѣхъ босяками сдѣлаю? Всѣхъ? „На днѣ“, значитъ я! Отлично! Вотъ нога! Сейчасъ сниму сапогъ. Разъ!

Ахъ, и вы подъ столъ? Вы какого выпуска? Ахъ, 83-го?! А я 87-го. Очень пріятно познакомиться! Желаете со мной брудершафтъ пить! „На днѣ“! Ха-ха-ха! „На днѣ“! Хотите, мы отсюда Горькому телеграмму пошлемъ? Бумаги нѣтъ? Все равно! На полу пишите! Сюда пусть телеграфистъ придетъ и отстукаетъ. Пишите! Пишите

на полу! Желаете, я сейчасъ съ четверенекъ встану и столъ опрокину? Пусть, подлецы, не пьютъ, когда ближній, когда братъ во тьмѣ на четверенькахъ ходитъ. Подлецы!

На какомъ основаніи меня за ногу? Ахъ, вытащили?! Покорнѣйше васъ благодарю! Не желаю домой! Мой домъ — вселенная. Пусти, я вотъ этого поцѣлую, который говоритъ! Браво! Браво! Браво! Хочу кричать и кричу! И жена, мнѣ это все равно, что она тамъ скажетъ! Жена — буржуазка! Обстановка, лошади, — презираю! Моя жена — человѣчество! Мой ребенокъ — будущее! А! Ты думалъ, что я конкурса веду! Нѣтъ, братъ, я не одни конкурса! Что такое жена? Самопроизвольный аппаратъ для продолженія рода! Не желаю я съ самопроизвольнымъ аппаратомъ жить! Не желаю! Дарвинъ что по этому поводу говоритъ? Нѣтъ, ты мнѣ скажи, что Дарвинъ говоритъ, а не по лѣстницѣ меня веди. По лѣстницѣ всякій дуракъ можетъ!.. Вотъ и скатился, и раньше тебя.

Вы тоже Максимъ Горькій? Ахъ, вы не Максимъ, вы Онисимъ. Вы, значитъ, подмаксимокъ... какъ онъ?.. Позвольте, почему же въ поддевкѣ, ежели вы не писатель? Ахъ, вы швейцаръ!

Не хочу калоши! Къ чорту калоши! Я босякъ! Ахъ, для тебя? Для тебя все, что угодно! Хочешь, я сейчасъ тебѣ свою шубу подарю? Хочешь? Вотъ! Не желаю шубы надѣвать. Желаю студенческое пальто надѣть. Студентъ я, старый студентъ! Да!

Ахъ, въ Прагу? Въ Прагу, такъ въ Прагу. Я радъ за границу! Мнѣ душно здѣсь, душно! Понимаешь? Мнѣ простору нѣтъ въ Россіи! Я здѣсь конкурса веду, а тамъ я министромъ бы былъ. Всѣ министры за границей изъ адвокатовъ. Въ Прагу я хочу! Прага! Симпатично! Младочехи! Я люблю младочеховъ. Знаешь, братъ, заѣдемъ на телеграфъ, дадимъ младочехамъ телеграмму: „Старые

студенты, справляя Татьянинъ день, желаютъ вамъ полной свободы языка!“ Ей Богу, заѣдемъ! Младо-чехи рады будутъ! Очень рады! Пошлемъ! 15 копеекъ слово! Чортъ съ ними съ 15 копейками. Вотъ три рубля. Пошлемъ.

Ахъ, это ужъ Прага? Скажите, какая улучшенность путей сообщенія. Прага! Пошлемъ въ Петербургъ телеграмму: „Благодаря за ускореніе путей сообщенія“... Ей Богу, пошлемъ! Вотъ сядемъ за столъ и напишемъ! Чеаэкъ! Телеграфныхъ бланковъ и шампанскаго! Какъ нѣтъ телеграфныхъ бланковъ? Въ Татьянинъ день и нѣтъ телеграфныхъ бланковъ? Почему такой безпорядокъ по почтово-телеграфному вѣдомству? Дать телеграмму въ Петербургъ... Это что за младо-чехъ?

Лицо знакомое, а гдѣ васъ помнилъ, не увижу! Ахъ, вы мой помощникъ! Очень пріятно! Я васъ знаю! Вы по дѣлу о взысканіи съ купчихи Ергуновой 32 рублей 75 копеекъ на однѣ копіи и гербовыя марки 17 рублей 95 копеекъ израсходовали? Я васъ отлично знаю! Ахъ, вы позабыли? А я помню-съ! Я все помню-съ! Вы мнѣ ремингтоновую барышню рекомендовали, а она взяла авансъ въ 22 рубля 40 копеекъ и не явилась?! Я вамъ это въ счетъ запишу! Нда-съ! Нѣтъ, ты постой! Я хочу показать, какъ я къ помощникамъ отношусь! Я какъ отецъ! Да! Хотите я вамъ всѣ свои конкурсныя дѣла передамъ? Желаете? Все, все берите! Мнѣ ничего не надо! Мнѣ только 22 рубля 40 копеекъ подайте! Чеаэкъ! Шампанскаго! Рѣчь имъ! Я имъ рѣчь сейчасъ скажу! Младо-чехи! Какое вы имѣете право съ совѣтомъ спорить? Вамъ говоритъ старый студентъ! Мы выходили судебныя учрежденія, и на нашихъ рукахъ они возросли! Да! Вотъ на этихъ рукахъ! Видите эти руки?! Вотъ онѣ! И мы преемственно передаемъ судебныя учрежденія на положеніи наслѣдства въ ваши руки, господа! Берите же ихъ чистыми руками! Чистыми! Чистыми, господа!

Вамъ говоритъ старый студентъ! Давайте всѣ мыть руки въ шампанскомъ! Чеаэкъ, шампанскаго!

„Gaudeamus, igitur,
Juvenes dum sumus"...

Что жъ что народъ! И пускай народъ слушаетъ, какъ я пою!

**„Укажи мнѣ такую обитель,
Я такого угла не видалъ!.."**

Народъ любить надо! Мы на его шеѣ выросли! Хочешь, я сейчасъ народу въ ноги кланяться буду? Видишь, барыня, возьму и поклонюсь! И дворнику дамъ въ ухо! Ты не смотри, что я конкурса веду, у меня, братъ, убѣжденія! Да, убѣжденія!

Но интересно бы знать, почему такъ холодно! И по какому случаю на лошадяхъ везутъ? Ахъ, понимаю! Въ Сибирь везутъ! Въ Сибирь,—такъ въ Сибирь! Позвольте васъ спросить, г. ямщикъ, вы не изъ якутовъ будете? Ахъ, вы отъ Ечкина! Скажите, съ какимъ комфортомъ! Отъ Ечкина! Прекрасно понимаю. Для скорости! Очень пріятно!

Позвольте! Позвольте! Позвольте! Почему въ Сибири и вдругъ пальмы?! Ахъ, понимаю! На Сахалинъ черезъ Цейлонъ! „Стрѣльна"? Скажите, пожалуйста, „Стрѣльна"! Вотъ пріятная неожиданность! Я имъ рѣчь! Только не прижимайте меня, господа, къ пальмѣ, потому что это вовсе не древо познанія добра и зла. Это кто плаваетъ? Стерляди. Дай мнѣ стерлядь въ руку! Со стерлядью желаю рѣчь сказать! Чеаэкъ! Стерлядь дай! А то въ морду! Вотъ такъ! Ничего, что скользкая. Господа! Коллеги! Татьянины дѣти! Вы видите передъ собой разительный контрастъ: рыба и адвокатъ! Господа! Передъ вами съ вещественнымъ доказательствомъ преступленія въ рукахъ стоитъ обвиняемый... и потерпѣвшій! По независящимъ отъ него обстоятельствамъ, онъ свершилъ великое преступленіе предъ собою и предъ обществомъ... Ты,

братъ, не безпокойся! Ты не дергай! Я до „Стрѣльни“ прочухался. Я ничего такого не скажу!.. Какъ Акоста, „онъ въ истины обѣтованный край шелъ“, онъ пошелъ съ высокими думами, съ прекрасными задачами, но, дойдя до конкурса, остановился и далѣе не пошелъ!.. Да не ори ты „ура“! „Увы“ кричать надобно... Онъ возжегъ пылающій факелъ отъ алтаря святѣйшей и непорочнѣйшей изъ весталокъ—Татьяны и принесъ въ міръ этотъ факелъ погасшимъ, распространяя только вонь и чадъ. Онъ ли погасилъ факелъ, непогоды ли погасили священный огонь, но чадъ и смрадъ принесъ онъ туда, гдѣ воздухъ и безъ того душенъ и спертъ. Общечеловѣческую совѣсть, за неудобствомъ, онъ замѣнилъ профессіональной этикой, карманной, складной, портативной!.. Не дергай! Въ Татьянинъ день все говорить можно!.. Вотъ въ чемъ обвиняется онъ, но онъ же и потерпѣвшій! Онъ пришелъ въ міръ, окрашенный золотистымъ сіяніемъ солнца правды, свѣта, добра. И что жъ ослѣпило его? Золотистый блескъ стерляжьяго жира! Вотъ я выкусываю у живой стерляди изъ спины кусокъ! Вотъ онъ этотъ золотистый жиръ, который его ослѣпилъ. Ему захотѣлось ѣсть стерлядей,—и стерляди съѣли его! Много мы жремъ стерлядей, но сколько стерляди съѣли нашего брата! „Пойми ты, пойми ты! — скажу я, какъ Максъ Холминъ въ „Блуждающихъ огняхъ“,—живую душу стерляди съѣли!“ Вотъ въ чемъ трагедія защитника вдовъ и сиротъ, доказывающаго, что битье человѣка по голому тѣлу ремнемъ до тѣхъ поръ, пока „субъектъ“ не упадетъ мертвымъ, „не есть истязаніе!..“ Татьянинъ день, это—не только праздникъ радости для русской интеллигенціи. Это день итоговъ. Это нашъ „судный день“. И сквозь золотистый блескъ шампанскаго, сквозь звонъ бокаловъ, крики и пѣсни, — трагическій вопль сердца услышитъ чуткое сердце. Какъ блудные сыновья, приходимъ мы въ этотъ день къ нашей

святой Татьянѣ, и она смотритъ на насъ мученическими, полными скорби глазами. „Что сдѣлали вы, рабы лукавые и лѣнивые, изъ своихъ талантовъ?“ Alma mater! Alma mater! Не мы одни виноваты, что свѣтильники наши погасли! Въ непогоду несли мы ихъ, когда вѣтеръ тушилъ пламя! Кругомъ раздавалися крики: „не заботьтесь ни о чемъ другомъ! Пусть всякій заботится и думаетъ только о себѣ!“ Воздухъ дрожалъ, словно въ страхѣ дрожалъ отъ этихъ криковъ, и колебалъ и гасилъ наши свѣтильники, возженные отъ твоего неугасимаго огня, alma mater. Мы пьемъ въ этотъ день, и въ этомъ пьянствѣ, какъ во всякомъ русскомъ пьянствѣ, есть много трагедіи. И вотъ она, муза трагедіи русской общественной жизни, — вотъ она передъ вами! Не въ классической тогѣ, величавая, со строгимъ прекраснымъ лицомъ, — а во фракѣ съ оборванной фалдой, со стерлядью въ рукахъ, пьяная, жалкая. Гг. присяжные засѣдатели, обвиняемый виновенъ, но по обстоятельствамъ дѣла онъ заслуживаетъ снисхожденія. А потому дозвольте ему выпить, чтобъ виномъ залить глотку кричащей совѣсти, которая въ этотъ день привыкла вопить: „Что ты былъ и что сталъ и что есть у тебя?“ Господа, выпьемъ! Чеаэкъ! Шампанскаго! Еще шампанскаго! Еще!..

И лежу и буду лежать трупомъ, а надо мной пусть мавзолей воздвигнутъ. „Здѣсь покоится прахъ человѣка, который спалъ, а въ Татьянинъ день проснулся. И проснувшись,—немедленно померъ!“ Пусть такъ и напишутъ! Такъ и напишутъ! А всѣ пусть читаютъ и плачутъ! А я буду лежать мертвый,—и все! И въ гробъ меня будете класть пальцы мнѣ въ фигу сложите! И всѣ будутъ плакать, а я лежать и фигу показывать! И все! Желаю умереть! Нѣтъ, ты меня къ „Яру“ не зови, я на тотъ свѣтъ хочу! Хочешь со мной на тотъ свѣтъ? Чеаэкъ! Яду! И бенедиктину не хочу, а дай мнѣ яду! Ахъ, это ваша рюмка? Виноватъ! Это я вашъ кремъ-де-

ваниль выпилъ? Въ такомъ случаѣ! Чеаэкъ! Не надо стрихнину, кремъ-де-ванилю давай полдюжины. И къ „Яру“ я поѣду. Потому что вы хорошій человѣкъ, и я съ хорошимъ человѣкомъ куда угодно могу! Дай я тебя, дурашка, поцѣлую. Выпьемъ на брудершафтъ! Ура, и кончено! А на сюртукъ плюнь! Ты этотъ сюртукъ сохрани. Его кто закапалъ? Садись въ сани! Садись въ сани,—говорятъ тебѣ, а я буду сзади на полозьяхъ стоять и за твои волосы держаться. Тебѣ сюртукъ человѣкъ шестидесятыхъ годовъ закапалъ! Я вѣдь, собственно, человѣкъ шестидесятыхъ годовъ. Я только родился поздно, но я шестидесятникъ! Больно? Ну, и чортъ съ тобой, если ты такая баба, что тебя нельзя даже за волосы взять. Это на ухабахъ такъ дергается. Ну, да ладно, сяду съ тобой рядомъ. А у „Яра“ я скажу, я имъ скажу! Пусть чтутъ! Я, братъ, пьянъ, пьянъ, а знаю, гдѣ что сказать! Нда! Вотъ онъ „Яръ“. Я скажу!

Господа! Старикъ у васъ проситъ вниманія? Человѣкъ... Не тебя, дура!.. Человѣкъ шестидесятыхъ годовъ проситъ вниманія? Можно помолчать? Господа, вы не смотрите, что я моложавъ. Я хорошо сохранился. А я шестидесятникъ. Господа, я одной ногой стою въ могилѣ... Позвольте, какъ такъ? Почему „обѣими у „Яра“, хоть и не особенно твердо“? Надъ старикомъ смѣяться? Надъ сѣдинами? Молодежь, надъ сѣдинами! Сеня! Надъ сѣдинами посмѣялись! Дожилъ! Казнь! Надъ человѣкомъ шестидесятыхъ годовъ! Сеня! Сеня! Осрамленные! Униженные! Согласенъ шубу надѣть! И калоши давай! И калоши надѣну! Я все надѣну, я все сдѣлаю, что скажутъ! Я старъ, я изъ ума выжилъ! Сеня! Смѣются! Посмѣялись! Ѣдемъ! Посмѣялись. Надъ шестидесятыми-то годами...

Позвольте, по какому случаю дома? Сударыня... Ахъ, вы моя жена?! Очень пріятно!.. Желаете со мной на брудершафтъ выпить? Высшіе женскіе курсы и все такое прочее....

ОГЛАВЛЕНІЕ.


Цѣна 1 руб.